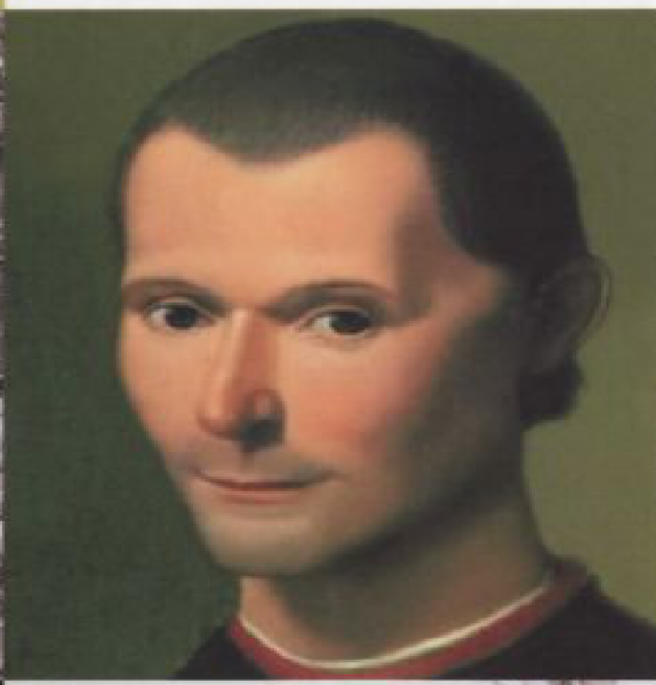
МАКИАВЕЛЛИ



Кристиана Жиль

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Одно из достоинств книги о Никколо Макиавелли в том, что в ней нет и намека на пугавший многих на протяжении столетий таинственный «макиавеллизм». Зато есть человек — Никколо Макиавелли, флорентийский чиновник, проживший нелегкую жизнь и не получивший при ней того, что ему с лихвой досталось после смерти, — всемирной славы. Он всегда поступал в соответствии с обстоятельствами и по-своему их оценивал. Если учесть это, то многое становится понятным в его неоднозначных творениях.

Кристиана Жиль, преподаватель классической литературы, посвятила себя писательству, отдав предпочтение теме итальянского Возрождения.

- Кристиана Жиль
  -
  - БЕССМЕРТНАЯ СЛАВА «ОБЫКНОВЕННОГО» ЧЕЛОВЕКА
  - К ЧИТАТЕЛЮ
  - РОЖДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
  - СЛУЖАЩИЙ СИНЬОРИИ
  - УРОКИ ПИЗЫ
  - ЧЕЛОВЕК-БУФЕР
  - НА ПОБЕГУШКАХ У РЕСПУБЛИКИ
  - COMMEDIANTE… TRAGEDIANTE[25]
  - МАСКИ
  - «НАЧИНАНИЯ…»
  - КОГДА ПАПА РИМСКИЙ ИДЕТ НА ВОЙНУ
  - «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
  - «РАДИ ЧЕСТИ И СПАСЕНИЯ РОДИНЫ»
  - ТАЙНЫЙ АГЕНТ
  - ГОСПОДИН ПОСРЕДНИК
  - ГАСИЛЬНИК ДЛЯ ЦЕРКОВНОГО СОБОРА
  - МОЛНИЯ
  - ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ
  - БЕЗРАБОТНЫЙ
  - «СВИНАРНИК»
  - УТРАЧЕННЫЕ НАДЕЖДЫ
  - ВОЗРОЖДЕНИЕ
  - «ИСТОРИК, КОМИК…»
  - «…И ТРАГИК»

- КОНЕЦ ЭПОХИ
- МИФ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
  - Геополитическое положение Италии на заре XVI века
  - Государственное устройство республики, которой служил секретарь Макиавелли
  - Хроника Флоренции от восстановления республики (1527) до ее окончательного падения (1531–1532)
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ
- БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29

- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73

- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108

Кристиана Жиль
Никколо Макиавелли

Никколо Макиавелли (1469–1527).

БЕССМЕРТНАЯ СЛАВА «ОБЫКНОВЕННОГО» ЧЕЛОВЕКА

О Макиавелли столько уже написано, что, кажется, было бы непростительной самонадеянностью вознамериться сочинить «свою», то есть совершенно оригинальную, не похожую ни на что из ранее созданного книгу. Разумеется, это не означает, что тема закрыта: о Макиавелли писали, пишут и будут писать — творец «макиавеллизма» вечно актуален, и каждая эпоха найдет, что сказать о нем. Это касается как узко специальных исследований, так и книг, рассчитанных на широкий круг читателей. Правда, автор, стремящийся казаться оригинальным, столкнется с почти непреодолимым препятствием, поскольку испытанный прием перелицовки (попытаться черное представить белым и наоборот) здесь не срабатывает — достаточно поработали как творившие демонический образ Макиавелли, так и возносившие его на пьедестал недосягаемой высоты. Для характеристики главного героя своей книги К. Жиль избрала, казалось бы, неожиданный ракурс, рисуя образ обыкновенного человека — этим определением открывается авторское обращение к читателю, им же книга и заканчивается.

Уже стало дурной модой «снижать» образ исторических знаменитостей, пытаться представить их «обыкновенными» людьми из «крови и плоти» (разумеется, из крови и плоти — из чего же еще?). При этом остается совершенно непонятным, почему даже спустя сотни лет помнят именно этих «обыкновенных» людей, тогда как миллионы других бесследно канули в бездну времени. К. Жиль настойчиво убеждает читателей, что ее герой — обыкновенный человек, однако фактический материал не менее упорно сопротивляется автору: что это за обыкновенный человек, занимающий высокий государственный пост, выполняющий ответственные дипломатические поручения Флорентийской республики, общающийся с папами римскими, королями и князьями, в прямом смысле слова вершащий судьбы государств и народов, творящий историю? Правда, в ответ на этот аргумент могут резонно возразить, что мало ли было в истории политиков и государственных деятелей, о которых сейчас с трудом вспомнят даже специалисты-историки. Верно, не эта деятельность обессмертила Никколо Макиавелли. Он — автор знаменитого трактата «Государь», можно сказать, автор единственной книги, поскольку все остальное написанное им не идет ни в какое

сравнение с нею: как справедливо отмечает К. Жиль, Макиавелли писал плохие стихи, а его серьезные сочинения не находили отклика за пределами круга его близких друзей. Действительно, не будь «Государя», Макиавелли был бы сейчас знаменит не более, чем Салютати, Бруни, Пальмиери, Ринуччини, Гвиччардини и многие другие, чьи имена не вызывают никаких ассоциаций у подавляющего большинства представителей даже образованной публики.

Не вдаваясь в дальнейшую полемику по вопросу о том, каким — обыкновенным или необыкновенным — человеком был Никколо Макиавелли, хочу отдать должное автору этого биографического сочинения, предлагаемого ныне российским читателям. К. Жиль постаралась и в достаточной мере преуспела в своем стремлении показать Макиавелли не просто как исторического деятеля и политического мыслителя, а прежде всего как человека — на службе, в кругу семьи, в общении с друзьями и подругами, с сильными мира сего. Местами автору удается рассказывать о своем герое даже увлекательно, хотя я и не стал бы спорить с теми, кто, наверное, скажет, что можно было бы написать и еще более интересно. Думается, что К. Жиль больше заслуживает не порицания, а похвалы, поскольку приверженность к исторической правде перевешивает в ней желание поразвлечь публику — ей хватило благоразумия не соперничать по этой части с Александром Дюма.

Быть может, именно потому, что К. Жиль, отказавшись от намерения добавлять к несметному множеству ученых рассуждений философов, моралистов и политологов еще одно, свое собственное рассуждение, отправилась, одолжив лампу у Диогена, на поиски человека («обыкновенного человека»), в ее книге отсутствует хотя бы самая общая характеристика «серьезных» произведений Макиавелли — «Истории Флоренции», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» и, что особенно бросается в глаза, «Государя». По этой причине вполне вероятно, что у некоторых (а может быть и у многих) даже и после прочтения этого повествования о жизни Макиавелли знаменитый флорентиец по-прежнему будет ассоциироваться прежде всего с «макиавеллизмом», ставшим синонимом политического, гражданского и человеческого коварства, двуличия, аморализма, жестокости и т. п. Позволю себе несколько восполнить этот досадный пробел, вместе с тем даже не пытаясь претендовать на оригинальность — достаточно лишь напомнить о том, что говорится по этому поводу в солидных исследованиях.

Практически в любой книге по истории политических учений можно прочитать, что Никколо Макиавелли — выдающийся

политический мыслитель эпохи Возрождения, основатель новой, светской политической науки. Он порвал с религиозным мировоззрением своего времени и выступил против теологических представлений о политике, государстве и праве. Средневековую концепцию божественного предопределения он заменил идеей объективной исторической необходимости и закономерности. Человек связан определенными обстоятельствами, с которыми он вынужден считаться, но это не должно обрекать его на пассивность, признание своего ничтожества перед лицом высших сил. Вопреки средневековой христианской доктрине, Макиавелли нарисовал образ человека-борца, созидателя, идущего наперекор судьбе. Этот образ как нельзя более соответствовал задаче объединения Италии, страдавшей из-за соперничества многочисленных местных правителей и ставшей объектом посягательств со стороны иностранных государств в период так называемых Итальянских войн (1494–1559). Религию Макиавелли рассматривал в аспекте служения государственным интересам, сплочения народа и воспитания активных участников политической жизни. Порвав с религиозным миросозерцанием, он обосновал подход к политике как опытной науке, сорвал с политической власти покров таинственности, рассматривал ее не как священный и неприкосновенный божественный институт, а как творение рук человеческих. Обобщая исторический опыт, Макиавелли пришел к заключению, что в основе политической деятельности лежит не религиозная мораль, а выгода и сила, поэтому принципы политического искусства он выводил не из религиозных канонов, а из человеческой природы и расстановки борющихся общественных сил, интересов и страстей.

В «Государе» Макиавелли нарисовал образ единоличного правителя, который, попирая нормы морали, идет к вершинам славы и могущества государства. Монарх должен стремиться к тому, чтобы его считали добродетельным, милостивым, честным, щедрым, а не жестоким, скупым, вероломным и злобным, но он не должен бояться быть коварным и лицемерным, если честность и прочие добродетели оборачиваются против него, мешают сохранить единство страны и верность подданных. Макиавелли излагает правила политики, свободные от норм морали, его советы чисто утилитарны, о политическом искусстве он рассуждает не с точки зрения справедливости и морали, а с позиций конкретных политических условий и политической цели, для достижения которой мораль является чем-то второстепенным и может быть отброшена ради успеха дела. Он дает безнравственные советы, потому что такова политическая

практика, и политик, руководствующийся исключительно благородными побуждениями и нормами морали, обречен на неудачу. Великие дела, напоминает Макиавелли, творили как раз те государи, которые не считались с обещаниями и действовали хитростью и обманом. Государь должен соединять в себе качества льва и лисицы, ибо лев беззащитен против капканов, а лисица — против волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Успех правителя зависит от того, насколько он считается с реальным положением вещей и принимает верные для данного случая решения.

Вместе с тем нет оснований считать Макиавелли безусловным сторонником единовластия, беспринципно раздававшим советы тиранам. Резко отрицательно он относился к монархам, которые не использовали свое положение для объединения и процветания государства. С этих позиций он критиковал современную ему католическую церковь как одну из главных виновниц раздробленности Италии: завладев светской властью (светское государство римских пап — Папская область), она была не в силах объединить страну, однако оказалась достаточно сильна, чтобы помешать другим сделать это. Макиавелли осуждал тех правителей, которые применяли насилие ради разрушения, а не созидания. Неограниченная власть одного лица необходима, по его мнению, для преобразования «развращенного» государства и для объединения страны, и только с этой точки зрения он оправдывал монархию. Особенно показательна в этом отношении XXVI глава «Государя», настоящий панегирик абсолютной монархической власти, ибо только она способна освободить, объединить и преобразовать государство. В том жалком состоянии, в котором пребывала современная Макиавелли Италия, раздробленная, ограбленная, истерзанная, униженная, без главы и без порядка, был нужен «новый государь», который придал бы ей новую форму, дал бы новые законы и учреждения во славу себе и народу. Для столь крутых преобразований легальные демократические институты не годятся, ибо без насилия старый порядок не сдается — необходима единоличная диктатура как временная переходная мера.

Идеологом такой диктатуры и являлся Макиавелли. Объективно его теория способствовала решению назревших задач развития государственности. Под этим углом зрения следует рассматривать и его отношение к средствам в политике. Коварство и насилие отнюдь не являлись для Макиавелли абсолютными ценностями — они оправданы лишь в целях

объединения и преобразования Италии, являются неизбежным злом, обращенным против гораздо большего зла. Жестокость, утверждал Макиавелли, можно оправдать только тогда, когда она применяется один раз и для пользы подданных, но если же она систематически используется для угнетения граждан, ей нет оправдания. Это утверждение зачастую подвергалось превратному истолкованию, и против учения Макиавелли ополчались истинные и мнимые поборники свободы. Принципам политики, которые Макиавелли, патриот, мечтавший увидеть Италию единой и процветающей, предлагал лишь применительно к определенной исторической ситуации, придавалось под именем «макиавеллизма» универсальное значение, что по существу извращало их первоначальный смысл.

В очередной раз повторив эти прописные истины, невольно восклицаешь: «В зубах уже навяз этот „макиавеллизм“!» Неужели кто-то всерьез полагает, что многочисленные большие и малые тираны, обесславившие свое имя за последние 500 лет, действительно руководствовались советами, вычитанными из «Государя» Макиавелли? Обсуждением и осуждением их занимались главным образом теоретики, те же, кто дорвался до власти, как правило, не любили, чтобы их поучали советами. Если рекомендации Макиавелли оказались невостребованными при его жизни, то наивно было бы полагать, что они могли бы служить руководством к действию в последующие века. Единственный человек, кому они сослужили верную службу, — Никколо Макиавелли, обретший благодаря им такую посмертную славу, какая мало кому выпадала. К. Жиль справедливо рассудила: скучно было бы в очередной (который уже по счету!) раз копаться в «макиавеллизме». Гораздо более благодарное занятие — попытаться показать Макиавелли-человека. Насколько успешной оказалась ее попытка — о том пусть судят читатели.

Василий Балакин

К ЧИТАТЕЛЮ

Макиавелли не был тем циничным государственным деятелем, каким его часто представляют. Несмотря на то что сослуживцы завидовали легкости пера, живости мысли и точности суждений этого скромного чиновника Флорентийской республики, в глазах современников он был человеком обыкновенным и ничем не примечательным. Многие его друзья в полной мере обладали теми же качествами и, любя его или критикуя, считали Макиавелли мечтателем, человеком неприспособленным и часто весьма неловким и неумелым.

Макиавелли — обыкновенный человек. Это утверждение вызовет негодование тех, кто преклоняется перед автором «Государя» и «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», и премного удивит тех, кто использует имя Макиавелли в качестве имени нарицательного, обозначающего воплощенное зло и исчадие ада. Но этот господин не знает, что добросовестный секретарь Никколо Макиавелли изо дня в день просто наблюдал и записывал все, что видел. Он не был единственным, кто занимался подобным делом. Но только он обладал редким мужеством — если не сказать безрассудством, — чтобы подсунуть истинным врагам рода человеческого зеркало, дабы те могли лицезреть в нем свое злодейство. С тех самых пор секретные и не предназначавшиеся для печати записки этого знатока политической механики, опубликованные уже после его смерти, по праву занимают свое место на тумбочке у изголовья кровати многих государственных деятелей.

Человек этот так и останется для нас загадкой, если мы будем видеть в нем только Галилея политической науки. Невозможно без трепета и страха пробираться сквозь джунгли трудов, ему посвященных, и в наши намерения не входит добавить к несметному множеству ученых рассуждений философов, моралистов и политологов еще одно, собственное, рассуждение. Нет, мы хотели бы одолжить лампу у Диогена.

Да, мы ищем человека. Обыкновенного человека. Того, кто каждый день поднимался по черной лестнице Синьории с корзиной провизии в руке, потому что с утра уже успел побывать на рынке и купить солонины и бобов. Того, кто по приказу начальства вставал со своего секретарского табурета и мчался верхом через горы и долины, сквозь дождь, ветер, снег и палящий зной туда, куда ему предписано было отправиться с докладом: к князьям, королям, папам и императорам.

Сначала в компании этого чиновника, который всегда лишь

выполнял данное ему поручение, мы встретимся с теми, кто правил тогда миром: Борджа, Юлий II, Людовик XII, Медичи… Мы постараемся понять Макиавелли, который внимательно вслушивался в свою эпоху, но оставался лишь свидетелем истории, лишенным возможности вмешаться в ее ход. Он еще окончательно не расстался с иллюзиями юности, но мы уже слышим иронию в его восклицании: «А король-то голый!» И мы разделим с ним возмущение и, быть может, несбыточные мечты, поскольку мало что изменилось с тех пор под сенью монархий и республик.

А затем, пройдя вместе с ним через все нравственные муки и терзания, искренне пожалеем нашего героя, потому что злая Фортуна вытащила его post mortem[1] из забвения, которого он так страстно желал, и приписала ему отвратительное потомство. Можно смело утверждать, что он отрекся бы от такого «макиавеллиевского» родства, если бы только не счел происшествие «забавным» и оно не вызвало бы у него в том, ином, мире (в существование которого он верил или нет, неизвестно) неудержимый смех, подобный тому, что раздавался под сводами Палаццо Веккьо, когда сам Макиавелли, соперничая с Боккаччо, развлекал коллег по Канцелярии историями о рогоносцах.

РОЖДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Я знаю, дорогой друг, что и этот государь, и все эти князья — такие же люди, как вы или я; мне известно также, что великое множество даже самых важных поступков мы совершаем наобум; надо думать, они поступают так же, как и мы.

Из письма Франческо Веттори к Макиавелли

Каждый человек рождается дважды. Дата его первого рождения записана в актах гражданского состояния. Второе, духовное, рождение происходит в тот момент, когда он начинает понимать смысл происходящего.

Из метрической книги Дуомо, кафедрального собора Флоренции — бывшей церкви Санта-Репарата, превратившейся потом в Санта-Мария дель Фьоре стараниями Джотто и Брунеллески, — биографы могут узнать, что Никколо Пьеро Микеле, сын Бернардо Макиавелли, родился 4 мая 1469 года. За несколько месяцев до этого Лоренцо Великолепный, которому тогда едва исполнилось двадцать лет, и его брат Джулиано унаследовали от отца, Пьеро Медичи по прозвищу Подагрик, и деда, Козимо Старшего, несметные богатства семьи Медичи и политическую власть в республике.

Никакая исповедь в духе Руссо не называет дня второго, и гораздо более важного для нас, рождения Никколо Макиавелли, но внимательный читатель его творений, многие из которых посвящены воспоминаниям об «увиденном», может с уверенностью сказать, что оно состоялось девять лет спустя, когда в том же самом соборе под гром набатного колокола он принял «крещение кровью», или, как еще говорят, «боевое крещение».

В тот воскресный день 26 апреля 1478 года под готическими сводами собора собралась толпа. Флорентийцы стремились увидеть молодого кардинала Рафаэлло Сансони Риарио, родственника папы Сикста IV, который, будучи проездом в городе, должен был отслужить обедню в присутствии Лоренцо и Джулиано Медичи.

Лоренцо Медичи, окруженный друзьями, стоял в первых рядах собравшихся. Служба уже началась, когда толпа

расступилась, пропуская его брата в сопровождении двух молодых людей, в которых присутствующие не без удивления узнали Франческо Пацци и Бернардо Бандини. Все трое оживленно беседовали.

О смертельной вражде между домами Пацци и Медичи знали все. Было время, когда эти богатые и связанные политическими интересами семейства банкиров поддерживали друг с другом столь сердечные отношения, что Козимо Старший даже выдал свою внучку, сестру Лоренцо, замуж за одного из Пацци. Отношения между ними резко ухудшились, когда Пацци ссудили деньгами папу Сикста IV, желавшего приобрести графство Имола и создать в Эмилии княжество для одного из своих племянников. Пацци не только пошли против воли Лоренцо, который сам стремился завладеть этими землями и потому отказал папе в займе, но и получили — как своего рода плату за предательство — огромные выгоды от направленной против Медичи политики, которую проводил в Риме папа Сикст IV.

Папа не упускал ни малейшей возможности продемонстрировать свою враждебность к Медичи: Лоренцо ожидает кардинальской мантии для своего брата Джулиано — Сикст IV в ней отказывает; Лоренцо рассчитывает на подтверждение своих прав на монопольную торговлю квасцами, необходимыми для промышленной обработки шерсти, одного из основных видов хозяйственной деятельности во Флоренции, — Сикст IV передает эти права Пацци. Что же касается очень прибыльной должности депозиторов Апостолической Палаты, то есть банкиров папы римского, которую испокон веков занимали Медичи, то Сикст IV и ее передал все тем же Пацци.

Разгневанный Лоренцо требует, чтобы Франческо Пацци, возглавлявший тогда отделение своей компании в Риме, вернулся во Флоренцию и предстал перед судом по обвинению в государственной измене за то, что «способствовал уходу графства Имола из-под власти флорентийцев и позволил Джироламо Риарио, племяннику папы римского, создать государство, представляющее безусловную опасность для Флоренции». Тот конечно же предпочел уклониться. Лоренцо в отместку вынудил законодателей Флоренции принять имеющий обратную силу закон о наследовании, по которому племянница Франческо Пацци лишилась своих имущественных прав, что нанесло значительный урон экономическому могуществу противников Медичи.

Между тем уже через год все, казалось, свидетельствовало о стремлении ко всеобщему примирению. Накануне того апрельского воскресенья Лоренцо с необычайной пышностью принимал на одной из своих загородных вилл молодого

кардинала Риарио, остановившегося у Пацци, а наутро, перед обедней, Франческо Пацци сам отправился во дворец на виа Ларга, чтобы убедить сказавшегося больным Джулиано Медичи пойти с ним в Дуомо.

Тем сильнее было потрясение, когда в момент возношения Святых Даров Франческо Пацци и Бернардо Бандини обнажили кинжалы и с невиданной силой и яростью вонзили их в Джулиано. В нескольких шагах от них безоружный Лоренцо, истекая кровью, сражался с двумя священниками, пытавшимися его зарезать. Более ловкому и физически сильному, чем его убийцы, Лоренцо удалось вырваться и спрятаться в ризнице, дверь в которую с лихорадочной быстротой запер за ним его близкий друг поэт Анджело Полициано.

Никто не может сказать, были ли маленький Никколо и его набожная мать среди мечущейся и кричащей от ужаса толпы, когда, как вспоминал Макиавелли в своей «Истории Флоренции», «казалось, что самый храм рушится». Видел ли он расправу над убийцами и арест кардинала Риарио, который, еле живой от страха, прятался под алтарем, тогда как Пацци и Бандини скрылись, воспользовавшись всеобщим смятением? Мы этого не знаем. Но Никколо, безусловно, слышал, как изо всех сил били в большой колокол Палаццо Веккьо — дворца Синьории, призывая граждан на защиту законной власти, потому что в те минуты, когда в Дуомо Джулиано Медичи упал замертво, пронзенный, как Цезарь, кинжалами, здесь, во дворце, разыгрывалась другая драма. Физическое устранение братьев Медичи было лишь частью большого заговора с целью захвата власти, который поддерживали, как станет известно впоследствии, и папа римский, и король Неаполитанский.

Отряду мятежников, возглавляемому архиепископом Пизанским, флорентийцем из семейства Сальвиати и «клиентом» Пацци, которым двигала личная ненависть к Лоренцо, удалось проникнуть во дворец. Сторонники Пацци рассчитывали изгнать преданных Медичи приоров (шестерых или восьмерых магистратов, которые вместе со своим главой, носившим громкое имя «гонфалоньера справедливости», осуществляли исполнительную власть в республике), создать повстанческое правительство и заставить толпу, которую надеялись собрать «во имя народа и свободы» на площади Синьории — своеобразной агоре[2], где решались все важнейшие государственные вопросы, — провозгласить его законность.

Но их замыслы позорно провалились. Напрасно бунтовщики кричали на площади: к ним никто не присоединился, и они были перебиты дворцовой стражей. А на боевой клич Медичи «Palle!

Palle!»[3] (изображение шаров фигурировало на фамильном гербе этого семейства) сбежалась вся Флоренция, дабы дать отпор мятежникам и приветствовать скорый суд над ними. Трупы заговорщиков были брошены на мостовую, а тело архиепископа повешено вниз головой в одном из окон. Вскоре рядом закачалось и тело Франческо Пацци, который скрывался в фамильном дворце на виа дель Проконсоло. Но его разыскали и вытащили из постели, нагого, жестоко страдающего от раны, которую он в ярости сам себе неосторожно нанес.

Никколо конечно же видел, как вели Франческо по берегу Арно и как издевались над ним стражники. «Какие бы мучения ни причиняли ему по пути, — вспоминает Макиавелли в „Истории Флоренции“, — из него нельзя было вырвать ни слова, ни стона: он только внимательно смотрел на оскорблявших его людей и молча вздыхал»[4].

Никколо стал свидетелем и того, как за несколько дней были истреблены все члены семьи Пацци, их друзья и все те, кого просто подозревали в сочувствии к ним. Беглецов преследовали повсюду, вплоть до самого Константинополя. Лоренцо даже добился от султана выдачи Бандини, второго убийцы своего брата. Много месяцев Флоренция, где было стерто из памяти людей само имя Пацци, пьянела от мести. Об этом напоминали и разбитые гербы на стенах дворцов, и изображения заговорщиков на стенах Барджелло — дворца подесты[5], служившего тюрьмой. Художник Андреа дель Кастаньо написал их, по словам Джорджо Вазари, «с натуры повешенными за ноги в странных, весьма разнообразных великолепнейших положениях»[6]. Говорят, что выполнение подобного же заказа принесло Боттичелли по сорок флоринов за каждого повешенного. Леонардо да Винчи ограничился тем, что сделал в одной из своих записных книжек набросок казни Бандини, которого привезли с Востока и повесили во дворе Барджелло. На полях Леонардо описал его костюм: «Кожаная шапочка, черный атласный жилет, шелковый колет на лисьем меху… и черные чулки».

Как и все флорентийские дети, Никколо рос на улице, и даже если сам и не принимал участия в мерзостях, что творили городские сорванцы, то, безусловно, знал кого-нибудь из тех ребят, что вырыли из могилы старого Якопо, главу семейства Пацци, «протащили его по улицам за веревку, на которой тот был повешен», и бросили истерзанное тело в Арно. Другие шалопаи выловили труп, и все повторилось сначала. Эти жестокие игры продолжались до тех пор, пока милосердная темнота не скрыла несчастные останки от людских взоров и не разогнала «невинных» детишек по домам.

Разве могли за семейным столом говорить о чем-либо, кроме заговора? Почему он возник, почему провалился и каковы могут быть его последствия? Именно тогда отец и преподал Никколо первый урок политики.

Бернардо Макиавелли был юристом, человеком хорошо осведомленным и имел свою точку зрения на происходящее. За восемь лет до описываемых событий он стал свидетелем поражения восстания, поднятого политическими противниками Лоренцо в Прато. Он помнил недавнее убийство герцога Галеаццо Мария Сфорца и попытку установить в Милане республику. Комментарии отца, без сомнения, позднее помогли Никколо в разработке теории заговоров, которая изложена в его произведениях. Быть может, сам того не ведая, он просто воспроизвел то, что отложилось в то страшное время в глубинах детской памяти: «Невозможно обобрать человека настолько, чтобы у него не осталось кинжала для мести» или: «Заговор может провалиться, если направлен против одного правителя, но он наверняка провалится, если направлен против двоих…» Именно это и стало причиной поражения Пацци. Кроме того, заговорщики вынуждены были в самый последний момент изменить свой план: человек, который должен был убить Лоренцо, не явился в собор, и потому в последний момент его заменили двумя добровольцами.

Что же касается самого заговора, то, даже оставив в стороне особые мотивы Сикста IV, встревоженного экспансионистскими настроениями Лоренцо, нетрудно было понять, что Медичи постоянными поборами и грабежами вызывали ненависть у своих соперников. Были и те, для кого Медичи стали препятствием к осуществлению их честолюбивых устремлений. Однако призывы к свободе все заговорщики «всегда выдвигают на первый план, дабы придать больше благородства своему предприятию», — напишет впоследствии Макиавелли.

Флорентийцы не дали себя обмануть: зачем менять правительство, если это означает лишь смену власти одной большой семьи на власть другой, не менее могущественной? От Медичи, по крайней мере, знали, чего ждать. Конечно, они заполнили советы и магистратуры людьми, полностью преданными их дому, и республиканские учреждения были декорацией для совсем иной пьесы, нежели та, что задумали предки, но в конце концов видимость демократии была соблюдена и отблески их щедрости и великолепия озаряли весь город. Поэтому, по словам Макиавелли, не было ничего удивительного в том, что народ «остался глух» и слово «свобода» ничего не пробудило в его душе.

Однако для семьи Макиавелли слова «умереть за народ и свободу» не были пустым звуком. В часовне церкви Санта-Кроче покоились останки двух их родичей. Один, живший в XIV веке, принадлежал к имущему сословию, но заплатил жизнью за то, что был среди тех, кто возглавил народное восстание чесальщиков шерсти. Другого сгноили в тюрьме, так как он посмел поднять голос против Козимо Старшего, первого из Медичи, который стал навязывать городу свою политику, подтасовывая результаты голосования и нарушая все и всяческие соглашения. Никколо столько раз слышал заставлявшие трепетать его сердце рассказы о храбрости предков и о их благородных надеждах и заблуждениях, что в девять лет уже твердо знал то, чему заговор Пацци был блестящим примером: «…Предприятия такого рода редко бывают успешными и чаще всего заканчиваются гибелью заговорщиков и усилением власти тех, против кого заговор был направлен».

И в самом деле, уже на следующий после трагедии день Лоренцо Великолепный получил неограниченную власть над городом, расцвет которого достиг тогда своего апогея. Принципат[7] Медичи упрочился, и мальчик мог наблюдать политическую жизнь эпохи Кватроченто в самых ярких ее проявлениях. Уже будучи взрослым, он сформулирует в своих произведениях ее основные черты, и ему не придется ничего выдумывать, поскольку, как пишет Альберто Тененти, «в глазах итальянцев XV века политическая мудрость состояла в том, что для сохранения собственного верховенства, с которым должны согласиться все члены общества (если только они не идут на риск и не поднимают восстание), хороши любые средства… Стало очевидно — следовало бы сказать: все признали, — что правители имеют право преступать общепринятые нравственные нормы, руководствуясь совершенно иной моралью, нежели все остальные».

* * *

Это был «золотой век» в истории Флоренции, но Никколо и Тотто, сыновья Бернардо Макиавелли, не входили в число «золотой молодежи». Хотя их отец принадлежал к старшему цеху судей и нотариусов, происходил из «доброй старой семьи» и пользовался уважением и дружбой таких важных государственных деятелей, как Бартоломео Скала, однако в купеческой среде, социальные границы которой могли нарушать только очень богатые люди, тяжелое материальное положение ставило семью

Макиавелли на гораздо более низкую ступень социальной лестницы, чем та, на которую им давало право их происхождение. Бернардо оставил службу в городском управлении, где занимал, по всей видимости, весьма скромную должность, и семья, в которой было четверо детей, жила очень скромно. Никколо и Тотто не могли принимать участие в пышных увеселениях молодых людей из семейств Ридольфи, Гвиччардини, Содерини или Ручеллаи: ведь новые башмаки им покупали, как о том свидетельствуют расходные книги их отца, только раз в десять лет.

Братья вынуждены были довольствоваться сельскими радостями: купанием в Арно, рыбалкой, прогулкой по полям Тосканы верхом на принадлежавшей отцу кляче. В городке Сант-Андреа у семьи был дом и немного земли, приносившей больше забот, чем дохода. Они не были бедняками — они были людьми среднего достатка, что, как считал Никколо, было не менее унизительно.

К счастью, судьба одарила детей умом и гордостью, нередко сопутствующей уму. Бернардо старался развивать эти качества в сыновьях, а что касалось девочек, Примаверы и Джиневры, то единственной заботой родителей было выдать их замуж и выгодно поместить те небольшие деньги, что предназначались им в приданое.

В семь лет Никколо начал изучать латынь по Донату[8]; в восемь поступил в школу при монастыре Сан-Бенедетто; в двенадцать — одновременно с изучением арифметики — читает латинских авторов под строгим надзором преподавателя и учится правильно писать на этом языке — языке писарей и конторских служащих. Не было и речи о том, чтобы дать Никколо гуманитарное образование, какое получали дети флорентийской элиты, свободно изъяснявшиеся на греческом, про которых поэт и гуманист Полициано говорил, что «Афины переселились во Флоренцию». Он учился, чтобы обеспечить себе средства к существованию.

Как у всякой «интеллигентной» семьи, у Макиавелли была домашняя библиотека. Книги тогда стоили дорого, и хотя отцовский кошелек гораздо охотнее открывался для книготорговцев, чем для других коммерсантов, большинство книг в доме были чужими, взятыми для прочтения. Среди небольшого количества собственных книг Бернардо самым ценным было издание Тита Ливия. В свое время Бернардо составил для заказчика указатель «всех городов, провинций, рек, островов и морей», поименованных в многотомной «Истории Рима». За этот девятимесячный труд он получил один экземпляр вышедшей из

печати книги. Ее, как и несколько других томов, отдали в переплет, заплатив за работу «четыре ливра и пять сольдо, причем часть суммы была отдана красным вином», три бутыли которого и еще одну, с уксусом, Никколо сам отнес переплетчику.

Нет ничего удивительного в том, что в будущем, во время вынужденного безделья, Никколо Макиавелли решил написать комментарий к «Первой декаде Тита Ливия», ведь с ранней юности он жил с ним в тесной дружбе.

За неимением документальных свидетельств мы можем только представить себе Никколо в аудиториях флорентийского университета — Студио. Один из друзей его отца, Вирджилио Марчелло Адриани, руководил кафедрой в этом учебном заведении, гораздо более скромном, чем университеты Болоньи или Падуи. Многие юные флорентийцы готовили себя к финансовой и коммерческой деятельности, Никколо избрал юриспруденцию. Он жил в родительском доме в Ольтрарно, между Понте Веккьо и недостроенным дворцом Питти, и его жизнь скорее всего была похожа на жизнь любого другого бедного студента. Никколо был душой общества и непременным участником веселых похождений в компании девиц легкого поведения и повес. Молодежь аплодировала его подчас весьма вольным шуткам, но непристойность мирно соседствовала с чувствительностью: он умел сочинять красавицам стихи и грациозно играть на лютне.

* * *

В 1490 году Никколо Макиавелли исполнился двадцать один год. Тогда же Лоренцо Медичи имел неосторожность пригласить во Флоренцию из Феррары монаха, некоего брата Джироламо. «Я град, что разобьет головы тех, кто не успеет укрыться», — гремел в монастыре Сан-Марко голос монаха, проповедовавшего Апокалипсис.

Юношей в возрасте Макиавелли мало заботили град и Апокалипсис, но проповеди Джироламо Савонаролы нарушили-таки покой Флоренции. Одни бежали послушать, как брат бичует Церковь, содомитов и власть — его речи заворожили даже такого выдающегося человека, как Пико делла Мирандола. Другие презрительно пожимали плечами, когда он пророчил «великие ужасы и приводил другие подобные доводы, столь впечатлявшие людей неискушенных», — вспоминал Никколо. Были и такие, кого неуемная дерзость «проповедника нищих» доводила до настоящего «озлобления»[9]. От тумаков и камней — оружия

улицы — они перешли к политическим интригам, а затем и к покушениям на него. Однако в 1491 году монах стал приором монастыря Сан-Марко.

Савонарола завоевывал Флоренцию, чему немало способствовали события, которые потрясли всю Италию.

Юный французский король Карл VIII решил предъявить свои права на Неаполитанское королевство, полученное им в наследство от герцогов Анжуйских и находившееся тогда в руках одной из побочных ветвей Арагонского дома. К этому его всячески подталкивали кардинал Джулиано делла Ровере (будущий папа Юлий II) и Лодовико Сфорца по прозвищу Мавр, узурпировавший герцогскую власть в Милане и стремящийся укрепить с помощью Франции свои позиции в Италии.

Летом 1494 года французский король перешел через Альпы и привел с собой мощную артиллерию. Это и был тот царь Кир, чье появление предрек Савонарола как орудие Божественного гнева, который навлекли на себя своей развращенностью Италия и Церковь. Савонарола не был ни первым, ни единственным обличителем плохих граждан, плохих правителей, плохих священников и понтификов. Но никогда еще Флоренция не знала столь вдохновенного проповедника, никогда столь громко не звучал здесь голос, призывавший к покаянию. Перед лицом описанной пророком неотвратимой катастрофы флорентийцы в страхе жались вокруг своего пастыря. Весть о том, что войско французов стоит у границ Тосканы, повергла их в ужас, и они усердно взывали к Спасителю.

Лоренцо Великолепного уже не было в живых. Он скончался в 1492 году за несколько месяцев до смерти Сикста IV и вступления на папский престол под именем Александра VI кардинала Родриго Борджа. Наследник Лоренцо Пьеро Неудачник получил это прозвище вполне заслуженно. Он совершенно искренне полагал, что, идя на уступки Карлу VIII, спасает Флоренцию. Король Франции с триумфом вступил в город, а Пьеро тайно от всех выполнил все его требования: предоставил войску свободный проход через земли Тосканы и уступил французам обширные территории во владениях Флоренции, в том числе и Пизу. После этого ему не оставалось ничего другого, как скрыться от гнева и презрения сограждан в лагере чужеземного короля. Случилось то, что в свое время предрек Козимо Старший: «Я знаю здешние настроения: не пройдет и пятидесяти лет, как мы будем изгнаны».

Место освободилось, и его занял монах. От былого великолепия Медичи не осталось и следа. Дворец на виа Ларга был разграблен и разорен; статуя Юдифи работы Донателло, украшавшая фонтан дворцового парка, стояла теперь перед

дворцом Синьории, молчаливо свидетельствуя о том, что добродетель и свобода победили тиранию и порок. 1 января 1495 года, в день, когда приступила к выполнению своих обязанностей новая Синьория, собравшаяся перед Палаццо Веккьо толпа криками выражала свою радость, «благодаря Бога за то, что Тот даровал Флоренции народное правление и вырвал ее жителей из рабства».

Возможно, Никколо, потомок тех Макиавелли, что были гонимы за поддержку партии пополанов[10], тоже был на площади и, разделяя всеобщее воодушевление, вместе со всеми кричал: «Да здравствует Савонарола!» Реальность же была такова, что предложенная монахом новая конституция почти всю власть отдавала оптиматам, богатому господствующему сословию, и передавала основные полномочия малочисленному совету, созданному по образцу венецианского сената, отстранив тем самым от решения политических вопросов треть населения республики. Впрочем, поскольку эта конституция гарантировала всем гражданам защиту их прав и свобод и отменила непомерные налоги и подати, установленные предыдущей властью, она могла претендовать на звание демократической. Но спустя всего два года Никколо уже не может скрыть своей враждебности к человеку, который, невзирая ни на что, упрямо держится за штурвал государственного корабля.

Может показаться, будто в своих «Рассуждениях…» Макиавелли соглашается с Савонаролой в том, что только республика, основанная на доблести граждан, имеет право на существование во Флоренции, однако он вкладывает в слово «доблесть» совсем иной смысл, нежели монах. Но в юности Макиавелли вряд ли думал о монашеской добродетели и был глух к призывам о покаянии. (Тем не менее он написал — неизвестно, правда, когда и почему, — покаянное сочинение, которое в одном из изданий его трудов соседствует с «Уставом общества увеселения» — верх насмешки и неприличия.) Молнии, что метал монах с кафедры собора, не тревожили покой Никколо. Эти молнии могли впечатлить только чувствительные, робкие или склонные к мистицизму души (к какой из этих категорий следует отнести Боттичелли, Донателло и делла Роббиа, склонившихся пред ними?). «Ваша жизнь — жизнь свиней!» — восклицал брат Джироламо уже тогда, когда в городе еще царствовал Лоренцо Великолепный, а придя к власти, решил вычистить «свинарник». Но очень много было тех, кто не принял навязанную монахом реформу нравов, эту «культурную революцию», что сжигала на своих кострах не только Суету, но и все, что украшало прошлую жизнь, придавало ей вкус и остроту.

Приходилось не только оплакивать закрытие таверн и прочих заведений, объявленных местами разврата, но еще и опасаться рвения юных «красногвардейцев», которые в борьбе с запретными удовольствиями готовы были проникать в дома и альковы своих сограждан.

Самым ужасным в глазах Никколо и всех, кто поверил наконец в возможность правосудия, было молчание Савонаролы, когда во Флоренции нарушались «права человека», которые он в 1494 году поклялся соблюдать. Много лет спустя горечь обманутых надежд юности выплеснулась на страницы «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», посвященные трагедии пятерых приговоренных к смерти за «государственную измену», которым было отказано в праве обратиться к народу, хотя закон, принятый в свое время по настоянию самого Савонаролы, такое право им давал. «Если закон этот был полезен, надо было заставить его соблюдать; если нет — не следовало за него так бороться».

Эта принципиальность удивит тех, кто не видит в «учении Макиавелли» ничего, кроме проповеди политической гибкости, доходящей порой до отступничества. Савонарола, промолчав, поступил по-своему разумно, ибо это позволило ему разом избавиться от пятерых врагов; однако Макиавелли не хвалит его за разумный поступок, но обличает «политическую предвзятость», о которой, по его мнению, сей «разумный поступок» свидетельствует. «Это событие больше, чем что-либо иное, подорвало доверие к брату Джироламо», — замечает Макиавелли.

Но это доверие и без того уже было поколеблено. Недолгое единство флорентийцев рухнуло, когда Карл VIII несколько месяцев спустя после своей легкой победы с позором ушел через Альпы обратно во Францию, так как против него восстала лига проснувшихся наконец государств Италии, которую поддержали Испания, а также император Священной Римской империи. У входа в Апеннинские ущелья короля поджидали враги, и если бы не «французская ярость», то он мог бы, говорят, потерять там не только свободу, но и жизнь. Тем не менее на поле битвы при Форнуово он оставил свои великолепные парадные доспехи и много другого добра, что в конечном счете его и спасло: наемники были слишком поглощены грабежом, чтобы преследовать противника!

Флоренция больше не верила брату, предсказавшему победу короля Франции и заключившему с ним союз, тем более что Карл VIII и не подумал вернуть полученные в залог земли, которые уступил ему еще Пьеро Медичи, а Савонарола оставил в его распоряжении. К тому же король тайно побуждал Пизу

сбросить флорентийское иго, которое та несла с 1406 года, и потребовать независимости. Однако Савонарола не хотел ссориться с Карлом (король даровал флорентийским купцам множество привилегий во Франции, а экономические интересы обязывают!) и присоединяться к итальянской лиге, возглавляемой папой Александром VI, «мерзости» которого он постоянно обличал.

Чтобы восстановить государственную казну, истощенную чумой, войной и мятежной Пизой, очень скоро пришлось отказаться от либерализации фискальной политики, за которую прежде ратовал монах. Удивительно, как быстро меняет оппозиция свои планы, когда приходит к власти и сталкивается с реальностью!

Короче говоря, утратившие веру в пророка соединились с теми, кто никогда в него и не верил, с теми, кто в принципе был против вмешательства церковников в дела государства, кто утверждал, что Савонарола, восстав против папы, расстроит торговлю, и с теми, кому просто хотелось мирно предаваться содомии.

Много народу собралось на ступенях амфитеатра, сооруженного в соборе — чего никогда раньше не видела ни одна церковь Флоренции, — чтобы послушать, как брат Джироламо обличает Рим, этот «Вавилон порока». Но среди присутствовавших были не только сторонники Савонаролы, которых в народе называли «плаксами». Там можно было увидеть и его противников, которые ждали лишь повода, чтобы продемонстрировать свою враждебность (как это случилось однажды в воскресенье, в праздник Вознесения, когда едва не разразился мятеж). Были там и любопытные, и сторонние наблюдатели. Был там и Никколо Макиавелли.

* * *

1 марта 1498 года по городу настойчиво распространялись слухи об ультиматуме, который поставил Синьории папа, вынуждая ее заставить замолчать Савонаролу, «заключив его в тюрьму или любым иным способом». Папа сопроводил свое предписание угрозой интердикта[11] в случае, если Республика откажется подчиниться. Назавтра Макиавелли вместе с толпой сограждан отправится в Сан-Марко, куда монах удалился, возможно, опасаясь за свою жизнь.

Слушая проникновенную проповедь на стихи «Исхода», Никколо остался равнодушен к патетике этого последнего

послания, которое обращал к слушателям монах, сознававший неизбежность своей гибели. Макиавелли сделал полный сарказма отчет об этой проповеди в письме к Риччардо Бекки, флорентийскому послу в Риме. Безжалостный и уничижительный, этот анализ лишил проповедь ее специфически религиозного, мистического смысла, но зато подчеркнул все ее противоречия и высмеял ее идею.

Флорентийский посол уже много месяцев терпел гнев Александра VI, которому доносили о словесных вольностях Савонаролы, где тот сравнивал римскую курию с борделем. Кроме того, подобные выпады, оставленные без ответа, ослабляли папскую власть, и Борджа опасался, что будет созван конклав, который реформирует Церковь и низложит папу. Вот почему вслед за многочисленными предупреждениями и бреве[12] из Рима, запрещавшими монаху проповедовать и учительствовать публично, которые последний оставлял без внимания, последовала угроза отлучения.

По приказу Синьории, из-за своей флорентийской гордости противившейся распоряжениям папы, несчастный Бекки старался (без особого, впрочем, усердия) добиться отмены церковных санкций, направленных против монаха. Совет десяти — магистрат, ведавший иностранными делами и вопросами мира и войны, члены которого были убежденными сторонниками Савонаролы, — не доверяя послу, отправил к папе собственного секретаря, но и тот не смог ничего сделать.

Читая письмо Макиавелли, Бекки, по всей видимости, не был шокирован утверждением, что «пророк» — всего лишь честолюбивый плут, политик, который «подстраивается к ходу событий и раскрашивает свое вранье в нужный цвет». Никколо не исполнилось еще и тридцати, а он уже стал тем, кем будет всю жизнь: человеком, нетерпимым к иррациональному, склонным описывать поведение людей исключительно в политических терминах, резонером, влюбленным в разум, чрезвычайно одаренным карикатуристом, мастером иронии.

Принадлежал ли он к «озлобленным», яростным врагам Савонаролы, составлявшим тогда чуть ли не большинство в Синьории, или к compagnacci — не столько к группе заговорщиков, сколько к течению, объединявшему всех антиконформистов, скептиков и свободомыслящих людей? Нет никаких данных, которые позволили бы ответить на этот вопрос. Но наверняка он был среди тех, кто не желал, чтобы его водили за нос.

Макиавелли разыграл верную карту — она обеспечит его будущее. Так он, по крайней мере, считал.

СЛУЖАЩИЙ СИНЬОРИИ

«Все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли»[13], — читаем мы в трактате Макиавелли «Государь». На протяжении всей своей жизни Никколо не переставал размышлять о тех событиях, свидетелем — не рискнем сказать участником — которых он стал и чьи последствия послужили ему во благо.

Моисей без колебаний разбил череп египтянину, напоминает Никколо; а Савонарола полагал, что это должен сделать Бог. Уже Козимо Медичи говорил, что государством не правят с четками в руках. Монах, осажденный врагами в монастыре Сан-Марко, сам вырвал оружие из рук своих защитников. С этого момента не было ничего более легкого, чем захватить безоружного «пророка» и возвести его на костер после судебного процесса — столь же беззаконного, как о том свидетельствуют архивные документы, сколь и бесчестного.

Никто в политике, как, впрочем, и вне ее, не нашел еще лучшего способа избавиться от неугодного, чем сфабриковать доказательства его преступности. Было бы большой неосторожностью ограничиться изгнанием Савонаролы: кто знает, быть может, он нашел бы государя, который пожелал бы за него отомстить? «Мертвые не воюют» — это высказывание принадлежало почтенному и уважаемому члену комиссии, призванной решить судьбу узника. Здравый смысл — в те времена его еще не научились называть государственной необходимостью! — возобладал. Савонаролу сожгли и для верности развеяли по ветру его пепел.

За этой казнью не последовало смены режима, как после изгнания Медичи. Государственные учреждения остались коллегиальными, исполнительная власть принадлежала шести приорам Синьории, представителям самых главных цехов, их председателю — гонфалоньеру справедливости — и десяти членам Комиссии свободы и мира. Дела, касавшиеся регламентации общественной жизни, решались при участии Совета восьмидесяти. Законодательная власть принадлежала Большому совету, из членов которого старше сорока лет и избирался Совет восьмидесяти. Большой совет состоял из тысячи членов, избранных по жребию из числа граждан, достигших двадцати девяти лет, чьи родители когда-либо занимали государственные должности.

Форма правления не изменилась, но в правительстве прошли чистки. Они не обошли стороной ни один эшелон власти — от

«принимающих решения» до самого последнего исполнителя. Не пощадили даже секретарей, самой постоянной части правительства, которые обычно оставались в своих кабинетах гораздо дольше, чем прочие магистраты, поскольку состав Синьории, и в частности Совет десяти, сменялся раз в два месяца или раз в полгода.

В правительстве образовались вакансии. Это был шанс для Никколо Макиавелли. Спустя пять дней после казни Савонаролы на площади перед Палаццо Веккьо он переступил порог Segreteria — дворцовой Канцелярии, которая после недавней реконструкции огромного зала Большого совета, проведенной под руководством архитектора Симоне дель Кронака, располагалась теперь на антресолях.

Кого-то может удивить то, что на важный пост секретаря, ответственного за переписку Республики, был назначен молодой человек. Но недоумевать по этому поводу — значит не учитывать, что в эпоху, когда князьями Церкви и государями становились дети, двадцать девять лет Никколо Макиавелли не могли стать препятствием; к тому же это был возраст, начиная с которого гражданин имел право участвовать в принятии законов Республики. Правда, у Макиавелли не было ни титула, ни знатности, однако у его отца были большие связи: он был близким другом Бартоломео Скала, который со времен Лоренцо Медичи и до самой своей смерти занимал должность начальника Первой канцелярии — канцелярии иностранных дел. Его сменил Марчелло Адриани, университетский профессор и покровитель Никколо. Адриани оказался достаточно ловок, чтобы не попасться в сети, расставленные для тех, кто служил Савонароле. При его поддержке Никколо и выставил свою кандидатуру на пост во Второй канцелярии — канцелярии внутренних дел.

Совет восьмидесяти благосклонно отнесся к прошению Никколо по причинам, которые ставят в тупик его биографов: Никколо Макиавелли не был политически «засвечен»! Он устраивал всех: закоренелых сторонников Савонаролы, вынужденных теперь скрывать свои убеждения; тех, кто тосковал по правлению Медичи, и, конечно, яростных противников монаха, которые считали, что Макиавелли «мыслил правильно», поскольку был другом Бекки. Таким образом, Никколо имел преимущество перед своими соперниками: профессором университета, которого подозревали в симпатиях к Савонароле, каким-то нотариусом, вполне аполитичным, но просто источавшим посредственность, и еще одним юристом, известным сторонником Медичи, цинизм и бессовестность которого вызывали справедливые опасения: именно ему власти были

обязаны подделкой документов во время суда над Савонаролой.

В июне 1498 года Большой совет утвердил решение восьмидесяти. Никколо к тому времени столь блестяще доказал свою способность выполнять возложенные на него обязанности, что ему поручили вести и дела Первой канцелярии — дипломатическую переписку, а месяц спустя еще и переписку Совета десяти. Все службы Синьории были связаны между собой и зависели друг от друга.

Никколо, ставший некоторым образом генеральным секретарем Флорентийской республики, был завален работой, но он торжествует: он в курсе всего, что происходит и даже говорится во Флоренции, в Италии и в Европе, и часто первым узнает об этом! Сейчас главная забота Флоренции — мятежная Пиза, и он в курсе всех маневров и переговоров Синьории, которые та предпринимает, дабы заручиться поддержкой Лодовико Сфорца по прозвищу Лодовико Моро, герцога Миланского, и помощью нового короля Франции Людовика XII (Карл VIII умер бездетным за несколько недель до казни Савонаролы, оставив трон — а вскоре и свою вдову, Анну Бретонскую, — кузену, герцогу Людовику Орлеанскому). Никколо, например, известно, что Антонио Гримани одолжил Венецианской республике двадцать тысяч дукатов в надежде стать дожем, что у короля Франции подагра, а у короля Неаполитанского родился сын; что об Александре VI высказываются в самых оскорбительных выражениях и что турецкий султан вооружает свой флот, готовясь напасть на Сицилию.

Вознаграждение, получаемое Никколо, было ничтожно, однако возможность утолить ненасытную потребность в политической информации все искупала. Синьории очень повезло с Макиавелли: она получила в его лице трех секретарей по цене одного, и, кроме того, вряд ли бы нашелся кто-то, столь же усердный в делах. Переписывать донесения, анализировать, сортировать их и составлять резюме, готовить дела к заседаниям Pratiche — узких ученых советов, собираемых Синьорией, — вести протоколы заседаний, писать речи синьорам и многое другое — в таком незаметном и изнурительном труде проходила жизнь Никколо. В Синьории царил тот же дух, что и во всех государственных учреждениях мира: бюрократизм, угрюмость, посредственность и подозрительность, что так не соответствовало жизнелюбию, горячности и непоседливости Макиавелли. Между делами Маккиа — так звали его друзья — смешил приятелей своими выходками и остротами, солеными шутками и хлесткими суждениями. По службе он был тесно связан с Бьяджо

Буонаккорси, который также был склонен к писательству и очень скоро стал «другом всей его жизни».

* * *

24 марта 1499 года, спустя почти год с момента его вступления в должность, Совет десяти посылает Макиавелли в Пьомбино с поручением сообщить тамошнему синьору об отказе увеличить ранее оговоренное денежное вознаграждение для наемников. Дело в том, что Республика не имела регулярной армии и пользовалась услугами одного или нескольких отрядов наемников, заключая с их командирами — кондотьерами — кондотту (то есть договор), которую стороны имели право возобновить или расторгнуть в случае необходимости.

Уполномоченный Синьории — в своих миссиях Макиавелли никогда не будет иметь иного звания — не должен был ни на йоту отступать от полученных инструкций, которые предусматривали и диктовали все, включая реакцию посланника на возможные вспышки гнева собеседника. Что касается «любезностей и уверений» — а их предлагалось расточать «в самых общих выражениях, которые ни к чему бы… не обязывали», — то в этом искусстве протеже Марчелло Адриани не было равных: Никколо прошел прекрасную школу риторики — школу начальника Первой канцелярии!

Миссию в Пьомбино можно было считать лишь пробой сил. Следующее поручение было серьезнее. 12 июля Никколо посылают с поручением к синьоре Имолы и Форли графине Катарине Сфорца. Сердце молодого человека наверняка сильно билось от волнения, когда он садился в седло, имея в кармане приказ направиться в Форли или любое другое место, где будет находиться «illustrissima Madonna»[14]. Он должен был провести с ней переговоры не только о покупке ядер, пороха и селитры — графиня и в самом деле торгует оружием, если не занята в лаборатории, где изобретает рецепты разных притираний для сохранения женской красоты или, как говорят злые языки, ядов, — но и о возобновлении кондотты с ее старшим сыном, синьором Оттавиано Риарио.

Это было деликатное поручение. Интерес Флоренции состоял в том, чтобы снова взять на службу сына Мадонны, но учитывая, что Оттавиано четыре месяца назад отказался возобновить истекший к тому времени договор, флорентийцы с лукавством, равным лишь лукавству самой Катарины, считали, что «сегодня невозможно вернуться к договору на прежних условиях,

поскольку срок предыдущего соглашения уже полностью истек». Макиавелли должен был вынудить Катарину проглотить предложение об уменьшении денежного вознаграждения, не нанеся при этом урона столь драгоценной дружбе. Крошечное государство на северо-восточной границе представляло для Флорентийской республики особый стратегический интерес. Вот почему Лоренцо Великолепный так и не простил папе Сикусту IV того, что тот с помощью Пацци «увел» у него Форли и отдал своему племяннику Джироламо Риарио, супругу Катарины Сфорца.

Чтобы выполнить свое первое серьезное поручение, молодой секретарь должен был схватиться не просто со знатной дамой, но с фигурой воистину легендарной.

Побочная дочь покойного герцога Миланского Галеаццо Мария Сфорца показала потрясенной Италии, кто она есть на самом деле, в 1484 году, после кончины папы Сикста IV. Ей было тогда двадцать шесть лет. До той поры в ней видели только очаровательную молодую женщину, чьи грация и красота, прославленные художниками, озаряли Ватикан. Ее жалели, потому что, едва достигнув брачного возраста, она по политическим соображениям была выдана замуж за Джироламо Риарио. Нельзя было найти никого, столь же развратного и отвратительного, как этот племянник Сикста IV. Осыпаемый папскими милостями, он вызывал ненависть у римлян. Столь же сильно ненавидели Риарио его подданные в Имоле и в Форли. В неразберихе, последовавшей за объявлением о смерти понтифика, Катарина устремилась в замок Святого Ангела и навела пушки на Ватикан, стремясь тем самым заставить кардиналов избрать папу, благосклонного к семейству Риарио. Две недели она противостояла всей коллегии кардиналов и продержалась бы гораздо дольше, если бы ее супруг не уступил угрозам и обещаниям Ватикана и не заставил ее сдаться. Но этих двух недель оказалось достаточно для того, чтобы доказать всем, что она унаследовала выдающиеся способности своего деда, знаменитого кондотьера Франческо Сфорца. Один из современников так описал ее: «Умная, храбрая, высокая, представительная, красивая лицом. Она носила парчовую юбку со шлейфом в две сажени длиной, черную бархатную шапочку на французский манер, мужской пояс и кошель, полный золотых дукатов; на боку — топорик; и солдаты (пехотинцы и всадники) побаивались ее, потому что, взявшись за оружие, эта женщина была неукротима и жестока».

Репутацию жестокой женщины Катарина с блеском оправдала и тогда, когда подстрекаемые Лоренцо Медичи дворяне Форли,

уверенные в поддержке народа, доведенного до отчаяния тиранией синьора, убили Джироламо Риарио. Но дадим слово Никколо:

«Заговорщики Форли убили графа Джироламо, своего синьора; поскольку для полного спокойствия им необходимо было захватить крепость, а кастелян отказывался ее сдать, то они вынудили Мадонну пообещать сдать крепость в том случае, если они пропустят ее туда, а в качестве заложников она оставила собственных детей. В обмен на этот залог заговорщики согласились пропустить ее, но едва оказавшись в крепости, она взошла на стену, обвинила их в убийстве мужа и стала угрожать страшным мщением. А чтобы уверить их в том, что ее не заботит судьба детей, она продемонстрировала мятежникам свои детородные органы, говоря, что ей есть чем народить других».

Поступок, достойный пера Тита Ливия! Макиавелли был так потрясен этой историей, что, не дав себе труда проверить ее подлинность, пересказал ее не только в своих «Рассуждениях…», но и в «Истории Флоренции».

* * *

Итак, Никколо скакал в Форли, находившийся в сотне километров от Флоренции, к женщине, столь знаменитой своей красотой, что возбужденный слухами Буонаккорси попросил привезти ему «голову госпожи Катарины в виде портрета на листе бумаги».

Овдовев, Мадонна прослыла пожирательницей молодых красивых мужчин. За три года до описываемых событий Флоренция направила к ней послом Джованни Медичи. Он приходился кузеном Пьеро Неудачнику, принадлежал к младшей ветви знаменитого рода и обладал всеми «республиканскими» добродетелями, включая и то, что сменил имя и стал называться Джованни Пополано. Катарина безумно влюбилась и вышла за него замуж, но сделала это тайно, поскольку опасалась гнева семейства Риарио, которое могло отнять у нее Форли. Синьория, весьма довольная этим браком и, главное, территориальными перспективами, которые тот открывал, даровала флорентийское гражданство графине и ее детям, как уже рожденным, так и всем, которые могли родиться впоследствии. К несчастью, Джованни, вместе со своим пасынком Оттавиано участвовавший в войне, которую Флоренция вела с восставшими жителями Пизы, вернулся в Форли тяжелобольным и через несколько недель испустил дух на руках убитой горем Катарины. С того времени

прошло восемь месяцев.

Расположением к себе графини Флоренция была обязана тем чувствам, которые та питала к Джованни Медичи, ставшему ее любовником, а затем мужем и отцом ее шестого ребенка. Но Синьория конечно же не рассчитывала повторить этот номер с Макиавелли. Черноволосый, смуглый, тщедушный Никколо, одетый в потертое платье мелкого чиновника, не мог соперничать ни с Медичи, ни с поверенным Лодовико Моро, герцога Миланского, красавцем Казале, который стал новым избранником Мадонны.

Добрейший Бьяджо Буонаккорси в своем неумеренном преклонении перед Макиавелли воображал, что Мадонна окажет его другу всяческие «почести и радушный прием». На самом деле все сложилось иначе.

Сразу по приезде Никколо было позволено изложить графине задачу своей миссии, но в присутствии Казале. Катарина смерила Никколо взглядом и отослала прочь: она решила подумать.

Назавтра первый секретарь графини передал посланцу Синьории разочарование и обиду своей госпожи: как больно ей слышать, что после стольких услуг, оказанных Флоренции, та выказывает столь мало благодарности и уважения! Затем в ход пошел шантаж: «Милан желает заполучить Оттавиано к себе на службу и предлагает гораздо более выгодные условия, чем Флоренция сегодня. Не может же графиня оскорбить Лодовико Моро, своего родственника, и предоставить другим те услуги, в которых отказала ему, предлагавшему за них к тому же более высокую плату?» Все это говорилось послу как бы по секрету.

Никколо потрясен: секретарь Катарины был уверен, что Синьории прекрасно известно о предложении Милана, но ему, посланнику, продиктовали все возможные вопросы и ответы, кроме этих! Он импровизирует как может, ссылаясь на ограниченность своих полномочий: ему необходимо получить инструкции от доверителей. Уходя, секретарь Катарины шепнул, что если Республика сочтет возможным соответствующим образом вознаградить Мадонну за ранее оказанные услуги, то, может быть, она решится…

В течение двух недель Макиавелли оставался в Форли, ведя бесконечные беседы на тему: «Нет денег — нет и швейцарцев»[15]. Синьория же делает вид, будто не понимает, что Мадонна «не расположена довольствоваться обещаниями и извинениями — единственным, на что Флоренция не скупится, — и необходимо подкрепить слова делами».

Никколо, сам того еще не осознавая, действует по сценарию, который с неизбежностью будет повторять каждое его посольство:

Флоренция всегда будет тянуть время, особенно если речь идет о том, чтобы раскрыть кошелек. Напрасно он каждый раз четко анализирует ситуацию, говорит о ее чрезвычайности, бесконечно и на все лады повторяет, что надо принимать решение, и принимать как можно скорее. Эта волокита обусловлена сложностью процедуры принятия решений во Флорентийской республике, но, может быть, еще в большей степени слишком частой сменой высших магистратов: ответственность за принятие решения благоразумно старались оставить преемникам.

Флоренции повезло, что в июле 1499 года сама Катарина еще не решила, какой ей сделать ход. Она колебалась: ставить ей на Лодовико Моро, своего дядю, или же на Людовика XII? Последний, придя к власти, присвоил себе титул короля Сицилии и герцога Миланского, претендуя тем самым на двойное наследство: наследство Анжуйского дома, завещанное Карлом VIII, и наследство, которое, по его словам, он получил от своей бабки Валентины Висконти. Союз Франции и Венеции, смертельного врага семейства Сфорца, непосредственно угрожал Ломбардии. Кто же возьмет верх?

Если победит король Франции, а Катарина будет в военном союзе с Лодовико, то ей придется опасаться худшего, потому что из Милана и Венеции в Неаполь есть только два пути: один — через Тоскану, другой — через Романью. Последний проходит через Имолу и Форли. В этом случае Катарине более чем когда-либо необходимо будет заручиться поддержкой какого-нибудь могущественного итальянского государства, например Флоренции.

Кроме того, ко всем напастям прибавилась и еще одна: папство претендовало на восстановление своей власти над вассальными государствами Северной Италии, синьоры которых не проявляли должной покорности. Александр VI обещал Людовику XII прислать войска под командованием своего сына Чезаре Борджа, чтобы помочь завоевать Милан. А Людовик, в свою очередь, обещал, что, овладев герцогством, поддержит затею папы. Александр VI возлагал большие надежды на Чезаре, который сложил с себя сан и из кардинала Валансского превратился в герцога Валансского — герцога Валентино, супругой которого стала одна из французских принцесс. Такую цену Людовик XII заплатил за то, чтобы избавиться от своей уродливой жены Жанны Французской и получить благословение папы на брак с красивой и богатой Анной Бретонской. Кто знает, как высоко может подняться сын папы? Катарина не могла не опасаться непотизма[16], введенного Сикстом IV, плодами которого пользовались она сама и ее супруг. Не захочет ли

нынешний папа отнять у нее то, что даровал его предшественник?

23 июля Катарина велела передать Никколо, что, «отбросив всякий стыд, она бросается в объятия Синьории». Никколо радовался так, словно это были его объятия. Мадонна соглашалась на жалкие условия, предложенные ее сыну, но требовала от Флоренции твердого обязательства защитить ее саму и ее государство. Кроме того, она рассчитывала на денежное вознаграждение в качестве признания прошлых услуг. Мадонна хотела, чтобы с первой же почтой Синьория предоставила своему посланнику неограниченные полномочия: она спешила подписать договор.

Никколо передал Синьории пожелания Катарины Сфорца, в том числе те, что касались его полномочий, но просил отозвать его во Флоренцию, поскольку был смущен тем, сколь важным может оказаться его положение. Украсить свои способности скромностью и уйти в тень или сделать вид, что уходишь, — этого требовала профессия: Республика опасалась людей, наделенных честолюбием.

Ему дают полномочия, чтобы довести дело до конца, но при этом напоминают, что не может идти речи ни об обязательствах защищать Форли, ни о вознаграждении. Поле для маневра было невелико. Однако Катарина Сфорца, казалось, так торопилась подписать договор, что готова была принять его условия не торгуясь. Никколо ликовал: дело сделано!

В назначенный час он является во дворец для формального подписания договора. Мадонна принимает его, как всегда, в присутствии красавца миланца и вдруг объявляет, что передумала: утро вечера мудренее. Она не может поставить свою подпись без письменного обязательства Флоренции защитить ее. Никколо разыгрывает из себя раздосадованного влюбленного: «Перед подобной переменой я не мог сдержать гнев и выразил его словами и жестами». Но за таким поведением секретаря скрывается досада мужчины, позволившего женщине провести себя.

Что это: каприз красавицы, небрежно жонглирующей словами «может быть» и «да», которые назавтра превращаются в «нет»? Скорее это результат жизненного опыта тридцатишестилетней правительницы, которая при всех своих любовных безумствах всегда сохраняла ясную голову. Катарина Сфорца прекрасно понимала, что осторожная Флоренция в создавшихся условиях никогда не согласится принять на себя подобные обязательства, поскольку сама колебалась: предать себя Богу или дьяволу. И Мадонна сделала все, чтобы, не порывая с Флоренцией, сохранить за собой полную свободу действий. Она знала, что, несмотря на

возмущение молодого секретаря, Флоренция ничего другого от нее и не ждет.

Никколо вернулся во Флоренцию без ядер, без пороха, без селитры, без солдат и без кондотьера. Но вместо того чтобы осудить его и отстранить от должности, на что надеялись те, кто стремился занять его место, члены Синьории расточают ему похвалы за ясность его докладов и эффективность действий: Мадонна осталась их другом, и это не стоило Флоренции ни сольдо.

УРОКИ ПИЗЫ

1 августа 1499 года Макиавелли возвратился из Форли и застал Канцелярию в состоянии полнейшей эйфории, что, впрочем, было вполне понятно. Синьория решила наконец покончить с пизанскими бунтовщиками и осадить город. Бьяджо Буонаккорси писал ему в Форли, что «подготовка к походу на Пизу идет полным ходом; Сиятельные Синьоры день и ночь умножают запасы провианта и денег; пехота уже выступила, и все считают, что Пиза уже почти покорилась Сиятельной Синьории, хотя ее граждане и продолжают упрямиться…».

Рассказать о Пизе следует более подробно, поскольку Макиавелли с самого начала будет находиться в центре разворачивавшихся событий и их последствия будут преследовать нашего героя всю жизнь. Пиза — источник его размышлений о военном искусстве, которые питались как чтением, так и личным опытом, приобретенным на службе у Чезаре Борджа. Но именно благодаря Пизе он по возвращении из Форли оказался на коне в прямом и переносном смысле слова, поскольку должен был отправиться во Францию ко двору Людовика XII.

Флоренция очень дорожила Пизой, тосканским городом, расположенным в нескольких милях от моря на берегу Арно и принадлежавшим ей с начала XV века. Правитель, поставленный туда Карлом VII в соответствии с соглашениями, заключенными между королем Франции и Пьеро Медичи во время Итальянского похода, «позабыл» вернуть Флоренции власть над городом и сдал цитадель горожанам.

Заставить Пизу подчиниться стало для Флоренции не только делом чести, хотя и это имело значение. Пусть этот город в устье Арно и не был больше стратегическим морским портом, роль которого перешла к Ливорно, но он по-прежнему оставался важным пунктом на торговом пути, ведшем через Флоренцию, Болонью и Феррару в Венецию. Кроме того, богатые флорентийцы вложили в него много денег, построив там не только пышные дворцы, но и различные общественные здания. Пизанский университет, например, был созданием Медичи. Вследствие всего этого Флоренция не могла отказаться от своих прав на владение городом и смириться с унизительным поражением, которое при поддержке венецианцев за год до описываемых событий нанесла ей Пиза. Оттавиано Риарио и был нанят Синьорией для того, чтобы заменить кондотьера, который был повинен в разгроме флорентийцев у Сан-Реголо, городка на реке Озоли близ Пизы. Получив от Катарины Сфорца отказ возобновить кондотту с ее

сыном, Синьория воспользовалась услугами двух братьев Вителли, имевших репутацию опытных военачальников.

Как только Венеция лишила Пизу своей поддержки, у Флоренции появилась возможность возобновить военные действия. Кондотьеры собрали совет. В обязанности секретаря входило составить о нем отчет для Синьории, включив туда, кроме прочего, все, что говорилось за столом и в частных беседах. Результатом этой работы стал доклад «О положении дел в Пизе», который считают первым политическим трактатом Макиавелли. Можно спорить о его важности, хвалить твердость тона и строгость рассуждений, не оставлявших места для компромисса, или посмеяться над его риторичностью и незамысловатостью дилеммы: к чему лучше прибегнуть — к силе или убеждению? Однако вызывают уважение наблюдательность и живость стиля, которыми конечно же восхищались коллеги Никколо, читавшие его доклады и письма. Именно он прояснил положение пизанцев: «Милану они не нужны, Генуя гонит их, папа смотрит на них косо, Сиена с ними холодна», — и сделал вывод: сейчас самый удобный момент, чтобы напасть на них немедля, помня, однако, о их отчаянной стойкости.

Пизанцы и в самом деле были очень упрямы. Но после 10 августа, когда, казалось, долгожданная победа была достигнута, Флоренцию встревожило странное поведение Паоло Вителли, ее кондотьера, одного из самых известных в Италии, который заставил отступить готовых к штурму солдат, хотя передовые части уже проникли в город.

Удивленная и возмущенная Флоренция тут же во всеуслышание заговорила об измене. Рукою Макиавелли Совет десяти, чередуя чрезмерную лесть и скрытые угрозы, повелевает своему главнокомандующему штурмовать город. 25 августа скрытые угрозы превратились в явные, тон письма стал очень резким. Создается впечатление, что Макиавелли свободнее чувствует себя с кнутом в руке, чем с комплиментами на языке. Вителли не реагирует ни на то, ни на другое. Он упорствует в своем бездействии, обстреливает городские стены из пушек, но не вводит в дело пехоту. Более того, он решает отвести от стен города войско, в котором свирепствует малярия.

Такого удара по престижу Совета десяти нельзя было допустить, и Синьория берет дело в свои руки. На тайном заседании было принято решение арестовать Паоло Вителли. Макиавелли присутствовал на этом совете, вел его протокол и должен был передать распоряжения исполнителям. Но Вителли не так-то просто захватить. Следовало принять во внимание и его верных соратников, и брата, его alter ego, который «пойдет на все,

чтобы освободить Паоло».

Может быть, именно Макиавелли предложил заманить Паоло в ловушку. Устроив так, чтобы тот приехал в Кашину, что в тринадцати километрах от Пизы, якобы для обсуждения положения в войсках и реорганизации армии; комиссары, посланные Синьорией на эту встречу, арестовали Вителли. Но эта «макиавеллиевская» стратагема могла быть задумана и осуществлена и без его участия, поскольку вполне соответствовала нравам эпохи, чему можно привести множество примеров. Мы знаем только, что в дальнейшем Никколо горячо отстаивал подобные способы действия. При этом он вовсе не желал прославить трусость и коварство, но, не сомневаясь в вероломстве Вителли, считал необходимым сражаться с ним его же оружием. «Государственная необходимость», «оправданное» вероломство уже давно были частью политической морали властителей полуострова.

Допросы с пристрастием между тем не выявили ничего, что свидетельствовало бы о предполагаемом сговоре между Паоло Вителли и врагами Флоренции, что, впрочем, вовсе не являлось доказательством невиновности кондотьера. Как и все ему подобные, Вителли купался в разных водах и сохранил на всех берегах не только связи, но и друзей. В его оправдание можно сказать только то, что профессиональный солдат всегда больше озабочен ходом военной операции, чем политикой. Возможно, Вителли посчитал штурм Пизы преждевременным по тактическим соображениям или за неимением необходимых на то сил и средств. А что Синьория спешила восстановить престиж Флоренции именно тогда, когда Людовик XII вторгся в Ломбардию, заботило его в последнюю очередь.

Как бы там ни было, 1 октября 1499 года народу предъявили освещенное факелом копье и голову Паоло Вителли на нем. Флорентийский народ счел себя отмщенным: дело Вителли было улажено. Проблема же Пизы осталась.

В то время, как во дворце Синьории сожалели о том, что брат Вителли и все его сообщники ускользнули от флорентийского правосудия, История продолжала свой ход в Ломбардии и Романье: Людовик XII поставил французского наместника в Милан, откуда Лодовико Моро в сентябре бежал в Австрию под защиту своего родственника императора Максимилиана. Тогда же Чезаре Борджа — герцог Валентино, ставший главным оружием папства, готовился, как говорили, напасть на Имолу и Форли под тем предлогом, что Катарина Сфорца в течение трех лет якобы не вносила в папскую казну положенный оброк.

В середине ноября Никколо дает знать одному из комиссаров

в войсках, ожидающих под Кашиной помощи Франции для возобновления военных действий против Пизы, что «сотня французских копейщиков и четыре тысячи швейцарцев, оплаченных папой, выступили против Мадонны, поскольку папа намеревается отдать Валентино означенное государство, а также Римини, Фаэнцу, Пезаро, Чезену и Урбино». Восхищение ею выплеснулось в следующих строках: «Все уверены в том, что Мадонна будет защищаться… и даже если вероломство народа не позволит ей оборонять города, она будет защищать крепости; говорят, по крайней мере, что она готова пойти на это, и какой угодно ценой». «Чертовски замечательная женщина!» — не преминул заметить Макиавелли своим сослуживцам по Канцелярии. Как все и думали, Катарина сопротивлялась до последних сил, но тщетно. Конечно, она предпочла бы умереть с оружием в руках, однако, преданная своим тогдашним любовником, стала пленницей Чезаре Борджа. Бастион, защищавший Флоренцию в Романье, пал вместе с ней.

* * *

На заре XVI века в какой-то момент показалось, что события повернули вспять: Лодовико Моро объявился в Ломбардии во главе большого войска, состоявшего из швейцарцев и германцев, и с триумфом дошел до Милана, приветствуемый всеми княжествами Севера Италии.

Однако французы не считали себя побежденными. Швейцарцам и германцам Лодовико Моро новый полководец Людовика XII Ла Тремуль противопоставил под Новарой своих швейцарцев и германцев. Но поскольку ни те ни другие не были удовлетворены суммой получаемого вознаграждения, то, волею случая оказавшиеся врагами, побратались и сложили оружие. Преданный своими наемниками Лодовико Моро был по приказу короля Франции схвачен и посажен в железную клетку, а затем доставлен в зловещую темницу замка Лош, где и провел остаток своих дней.

Эти события укрепили Никколо во мнении, сформировавшемся уже после дела Вителли, что на наемников нельзя положиться. Спустя несколько месяцев эта проблема встала опять — на сей раз под стенами Пизы, которую флорентийцы осадили снова, с помощью предоставленных королем Франции швейцарцев и гасконцев под командованием Бомона, французского военачальника, выбранного самими флорентийцами. Вот-вот начнется бунт, констатирует Никколо,

сопровождавший в качестве секретаря двух высокопоставленных дознавателей, посланных Синьорией, которую приводили в бешенство доклады ее комиссаров. Ведь Флоренция вынуждена была взять на себя оплату наемников и обеспечение армии провиантом, однако в войсках не было ни хлеба, ни вина, ни денег.

Никколо бьет тревогу: «Послезавтра срок уплаты швейцарцам. Ради Бога, скорее примите меры!..» И добавляет: «Победа прямо зависит от снабжения; в противном случае мы не только потеряем Пизу, но сами окажемся в опасности». Невозможно выразиться более резко и более определенно!

Курьер во весь опор проскакал расстояние между Пизой и Флоренцией, но та не спешила с ответом. Каждый прошедший день, каждый прошедший час усугубляли положение в «ужасном лагере французов».

8 июля 1500 года ситуация резко обострилась: отряд швейцарцев ворвался в палатку Луки дельи Альбицци, одного из комиссаров (второй, сказавшись больным, уехал во Флоренцию), требуя денег, причем немедленно. Альбицци пытается вступить в переговоры, но безрезультатно. Наемники дают Синьории два дня на то, чтобы уплатить долг, а по истечении этого срока угрожают «взять свою плату кровью» комиссара. Пока же он стал их заложником. Бомон заявил, что «ему очень жаль, но сделать он ничего не может». Капитан швейцарцев тоже «не может ни на что решиться», — пишет Макиавелли во Флоренцию от имени Альбицци, прежде чем отправиться туда и лично заняться освобождением комиссара. С дороги он обращается к Синьории уже от своего имени: «Пусть она примет меры, дабы один из ее граждан вместе с большим числом своих приближенных, которые тоже граждане Флоренции, не был убит… Главный комиссар Кашины встревожен не менее: он умоляет Синьорию доставить ему продовольствие — и „скорее, скорее; без этого я не могу отвечать за действия населения“».

Альбицци был освобожден за большой выкуп, но полученные деньги не помешали швейцарцам и гасконцам разойтись в разные стороны к вящей ярости короля Франции.

Отныне Никколо убежден, что «наемные и союзнические войска бесполезны и опасны…»[17].

ЧЕЛОВЕК-БУФЕР

После злоключений Лукки дельи Альбицци Синьория не нашла никого, кто бы мог лучше Никколо доказать королю Франции невиновность Флоренции в происшедшем. Он был свидетелем мятежа, ему была известна вся подноготная событий, интриги, двойная игра той и другой стороны, короче, все, что, по мнению Флоренции, объясняло случившееся.

Поэтому именно он и поехал в Лион вместе с Франческо делла Каза, комиссаром-дознавателем, спешно направленным в лагерь под Пизой, когда франко-швейцарская армия разбежалась. Приказ о командировке, как всегда, был насыщен многочисленными и точными указаниями о том, что, когда, где и кому надлежало говорить, а что — нет.

Из-за различных происшествий в пути флорентийские посланники прибыли в Лион только в последних числах июля 1500 года. Французский двор к тому времени уже оттуда уехал. Лоренцо Ленци, один из двух флорентийских послов, хотя и спешил вернуться на родину, куда уже отбыл его коллега, дождался их приезда, чтобы, в дополнение к приказам Синьории, преподать им урок дипломатии. Довольный тем, что может умыть руки в этом щекотливом деле, Ленци не скупился на ценные советы, поскольку знал, «кто при дворе в фаворе, а кто в опале».

В первую очередь, говорил он, надо снискать расположение кардинала Руанского заручиться его покровительством. Жорж д'Амбуаз, кардинал одной из самых красивых и богатых епархий Франции, делал погоду при дворе Людовика XII еще тогда, когда тот был Людовиком Орлеанским, помогая ему во всех политических и военных предприятиях. Еще в апреле, когда Лодовико Моро собрал войско, чтобы попытаться отвоевать Милан, Людовик XII назначил кардинала своим полномочным представителем в Италии, наделив его властью «командовать, вести переговоры и решать, как если бы это был он сам». Победив Моро, Жорж д'Амбуаз, действуя как хозяин, занялся политическим и административным устройством Миланского герцогства, а когда пришла пора возвращаться во Францию, оставил там вместо себя своего племянника Шарля д'Амбуаза. Поскольку кардинал имел право решать «итальянские дела», надо было убедить его стать покровителем и адвокатом Флоренции. Но обхаживая Жоржа д'Амбуаза, не следовало, по мнению Ленци, оставлять без внимания и другого влиятельного человека при французском дворе — Флоримона Роберте, главного казначея: никогда не помешает «подпитать его дружбу». Надо было также

принять в расчет и маршала де Жие, пользовавшегося у короля таким же доверием, как и его соперник кардинал…

На этом витке карьеры Никколо привела бы в восторг возможность покопаться в тайнах французского двора, если бы ему не надо было скакать вместе с Франческо по отвратительным дорогам, считавшимся почему-то более короткими, чтобы как можно быстрее догнать короля. Но на самом деле они все дальше от него удалялись, потому что, убегая от эпидемии инфлюэнцы, свирепствовавшей в стране, король без конца менял маршрут. Никколо доставляли страдания не только капризы короля и лошадь, настоящая кляча, но и тощий кошелек. В Лионе, где жизнь была неимоверно дорога, он за три дня истратил все свои скудные подъемные. Какие «божественные и человеческие» причины, сетует Никколо, оправдывают то, что его жалованье в два раза меньше, чем жалованье Франческо делла Каза, тогда как оба несут одинаковые расходы? И какие расходы! Положение стало еще хуже, когда в Невере они наконец догнали короля и вынуждены были следовать в его свите до Нанта, живя главным образом в «частных домах, где приходилось самим заботиться о пище и обо всем остальном», ибо придворные первыми занимали постоялые дворы, которых либо не хватало, либо и вовсе не было!

Несмотря на «почтительные» призывы Никколо проявить к нему «сострадание и гуманность», правительство Флоренции демонстрировало свое полнейшее равнодушие, что вынудило Никколо, как и любого чиновника, которому надоело, что его эксплуатируют, и который знает, что незаменим, прибегнуть к шантажу: «В настоящее время, Ваши Светлости, я живу при дворе за свой счет, и всякий раз я тратил и продолжаю тратить столько же, сколько Франческо. И поэтому я прошу либо платить мне такое же жалованье, либо отозвать меня вовсе…»

«Их Светлости» не желают ничего слышать. Тотто Макиавелли, который ведал деньгами и расходными книгами семьи, вынужден был докучать им с утра до вечера целых две недели, чтобы заставить наконец немного раскошелиться. Между тем 2 сентября у Никколо не было денег даже на то, чтобы отправить очередное срочное донесение с просьбой незамедлительно прислать послов, наделенных реальными полномочиями, чтобы распутать, наконец, сложившуюся ситуацию.

* * *

Но вернемся к событиям 7 августа, «с именем Бога на устах»

Никколо и Франческо догнали в Невере французский двор. Их миссия заключалась в том, чтобы доказать, что не Флоренция несет ответственность за разгром под Пизой. Однако кардинал Руанский, к которому они явились, следуя наставлениям Лоренцо Ленци, не дал им возможности привести заранее подготовленные аргументы в пользу невиновности Республики. «Оставим мертвым хоронить мертвецов, — сказал он решительно, — и подумаем о том, как восстановить нашу честь и возместить упущенные выгоды». Что собирается предпринять Флоренция, дабы вернуть Пизу?

Это был самый сложный вопрос. Синьория вовсе не намеревалась возобновлять осаду Пизы, но ставила цель отклонить предложение короля направить в Кашину французские войска — пятьсот всадников и три тысячи пехотинцев — до возобновления «настоящих военных действий». Никколо и делла Каза узнали об этом от Ленци, с согласия второго посла придержавшего письмо Синьории, чтобы дать последней возможность в случае чего изменить решение, которое, принимая во внимание характер Людовика XII, могло иметь серьезные последствия.

К счастью, флорентийским посланникам не пришлось отвечать на «неудобный» вопрос, поскольку этот их разговор с кардиналом состоялся по пути в покои короля, куда кардинал выразил готовность их провести. Жорж д'Амбуаз покинул их в передней, дабы посовещаться с Людовиком XII, который отдыхал после обеда.

Никколо и его спутнику пришлось долго топтаться под дверью, прежде чем им было позволено вручить свои верительные грамоты. На первый взгляд король принял их сердечно и лично сопроводил посланников в уединенные покои, где собирался дать им аудиенцию. Но там рядом с кардиналом Руанским и Флоримоном Роберте — советником Людовика XII — неожиданно для них оказались итальянцы: Джан Джакомо Тривульцио, Тривульс (как при дворе Людовика XII именовали этого коренастого, черноволосого, смуглого, храброго воина, из ненависти к Сфорца служившего французской короне со времен Людовика XI), который, как было известно Флоренции, «прекрасно понимал, насколько необходимо Милану сохранить Пизу», и еще двое миланцев, тайный сговор которых с пизанцами должны были, помимо всего прочего, разоблачить флорентийские посланники.

Что делать? Никколо и Франческо попали в затруднительное положение. Публичным обвинением в вероломстве можно было только нажить Флоренции смертельных врагов. Ленци

предупреждал их, что ни в коем случае нельзя в присутствии кардинала Руанского ставить под сомнение компетентность и честность Бомона, командовавшего французской армией, поскольку это значило бы оттолкнуть от себя его лучшего друга. Что до «виденного ими», посланниками, о котором они могли рассказать и для чего, собственно, их и прислали: разграбление обозов с продовольствием, посланных Флоренцией, и безобразное поведение швейцарцев, требовавших выкуп за комиссара Альбицци, — то это никого из присутствовавших не интересовало.

Людовик XII ждал лишь одного: какой ответ даст Синьория на его настоятельные просьбы возобновить осаду Пизы.

— А Пиза? Что решили ваши синьоры? — спросил король, сидя в кресле.

На его покатый лоб спадала прядь волос, а бегающие глаза навыкате выдавали нетерпение.

Но посланцы Республики не получили от Синьории точной инструкции, как отвечать на этот вопрос. Кто будет импровизировать? Никколо Макиавелли или Франческо делла Каза?

Доклад, написанный позднее рукою Макиавелли — секретарем был именно он, — подписан ими обоими, и в нем говорится: «мы». Скорее всего, они говорили по очереди, чтобы иметь возможность перевести дух. Мы знаем, что у Никколо был живой ум и за словом в карман он не лез. Он вполне мог найти нужные выражения, чтобы сообщить о решении Синьории находиться отныне в стороне от вооруженного конфликта (решении, о котором он, к счастью, узнал от Лоренцо Ленци еще в Лионе). Флоренция, еще не оправившаяся от последнего поражения, морально не готова начать новую войну, говорил он; к тому же, даже если бы она этого хотела, у нее нет такой возможности. Однако если король одержит победу и вернет ей Пизу, то Флоренция возместит последнему все расходы.

Это заявление вызвало бурю возмущения у короля, кардинала и всех присутствующих. Чтобы король сражался вместо Флоренции?! На неосторожных глашатаев Республики обрушился шквал ругани и едва прикрытых угроз. Тогда посланники берут свои слова назад, утверждая, что говорили только от своего имени, и это ни к чему не обязывает Республику, поскольку о деле, которое интересует короля, они не имеют никаких сведений и инструкций… и т. д.

Буря постепенно улеглась. Кардинал Руанский предположил, что находящиеся при дворе флорентийские посланцы разминулись с эмиссаром короля, и не удивительно, что они

ничего не могут сообщить по существу дела. Людовик XII решает: «Подождем. Мы ничего не можем предпринять, не получив ответа, но ответ этот должен прийти быстро. Я хочу знать, должен ли я распустить пехотинцев, находящихся там по просьбе Флоренции и, напоминаю вам, на ее содержании».

Никколо сразу взялся за перо, чтобы предупредить Синьорию о настроении короля; она же должна, прочитав между строк, отказаться от идеи заставить Францию таскать для нее каштаны из огня.

* * *

Из Невера Макиавелли и делла Каза отправились вместе с французским двором в Монтаржи, потом в Мелен. Этот двор, говорилось в докладе посланников, весьма невелик по сравнению с двором Карла VIII, всю роскошь которого Флоренция имела возможность лицезреть в свое время, когда тот триумфально вступил в город. К тому же он «на треть состоит из итальянцев»: прежде всего, разумеется, из миланцев, а также из fuorisciti — беглецов из Неаполя, которые встревожены тем, что королевский совет и, более того, сама королева Анна не хотят похода на Неаполь и побуждают Людовика XII договориться с Фердинандом Арагонским, королем Неаполитанским. Отказ Людовика XII от войны будет означать для неаполитанцев крушение всех их чаяний, а Флоренция в этом случае лишится надежды на то, что французы помогут ей вернуть Пизу. Оба эти дела тесно связаны между собой. Король колеблется. Он хочет, помимо прочего, знать, может ли рассчитывать на Флоренцию, особенно на те пятьдесят тысяч дукатов, которые Республика должна ему выплатить, согласно своим первоначальным обязательствам, после возвращения Пизы в ее лоно. Эта сумма позволила бы ему финансировать неаполитанскую кампанию.

…Флоренция по-прежнему безмолвствует. Поскольку ее посланцы так и не получили никаких инструкций, переговоры превратились в изнурительный и однообразный диалог глухих. Роберте, приняв эстафету у кардинала Руанского, излагает претензии и требования короля: продолжить осаду, заплатить швейцарцам, вернуть долги и принять французских солдат. При этом он не желает обсуждать ни настоящие причины провала осады Пизы, ни тем более весьма разумный — с точки зрения флорентийских посланников, которые прекрасно знают, что Синьория ухватится за него, — план переложить груз войны на плечи французов. «Настоящая насмешка над Его Величеством», —

замечает Роберте.

По мере того как проходили дни, недели и месяцы (а двор переехал из Мелена сначала в Блуа, затем в Нант, потом в Тур), подозрения, которые зародились у короля после внезапного отъезда флорентийских послов, все более усиливались: не ищет ли Флоренция других союзников? Ходят упорные слухи, что она направила своих послов к королю Неаполитанскому и императору Максимилиану! Друзья при французском дворе, на помощь которых Республика, как она думала, могла рассчитывать, явно к ней охладели. Посланники предостерегают Синьорию: «С тех пор как король разгневался, мало кто — если не сказать никто — не решается назваться вашим другом; напротив, каждый стремится по мере сил доставить себе удовольствие и укусить вас… Если синьоры не исправят положения, они столкнутся с королем и очень скоро им придется думать о том, как защитить свое имущество и свободу…»

Не слишком ли мрачный взгляд на вещи?

Людовик XII, во всяком случае, с посланцами холоден. Получить у него аудиенцию невозможно, а «все дела переданы в руки кардинала Руанского», который, даже когда посланцам и удается с ним поговорить, досаждает им все теми же претензиями и ставит Флоренцию перед выбором: или заплатить долг королю — тридцать восемь тысяч флоринов, которые тот истратил на жалованье швейцарцам, — или стать его врагом. Никколо, с середины сентября оставшийся в одиночестве (Франческо делла Каза сказался больным и лечился в Париже), неустанно затевает разговоры со всяким, кто еще согласен его слушать, уверяя всех в искренности Флоренции и чувств своего народа, «который заслуживает ободрения и помощи, а не окриков и немилости…». С Франческо делла Каза или без него, Макиавелли составляет для Синьории обстоятельные доклады, в которых почти в одних и тех же выражениях бьет тревогу: пусть скорее, скорее шлют послов, людей, занимающих высокое положение. И деньги. В противном случае произойдет катастрофа.

Деньги необходимы были не только для уплаты долга Людовику XII, но и для того, чтобы купить друзей. «Под звон дукатов пизанцы защищаются, жители Лукки нападают на вас, венецианцы маневрируют, король Фердинанд (король Неаполитанский) и многие другие ведут переговоры; идти другим путем — это, как говорится, желать выиграть дело, не заплатив прокурору».

Но Флоренция никак не реагирует на эти отчаянные призывы. Между тем гнев двора сменился насмешками и презрением. Положение стало унизительным для Макиавелли не только как

чиновника, осознающего свою незначительность и отсутствие уважения к себе, но и как флорентийца, гражданина Республики, который видит, сколь мало уважает здесь его родину и ее правительство собрание «ничтожеств». В глазах французов флорентийцы значат не больше, чем генуэзцы, даже меньше, чем жители Лукки!

Синьория не торопится с отправкой послов, хотя секретарь, подгоняя ее, уже не скрывает больше своего раздражения, видя явное противоречие между поспешностью, с которой их отправили в путь, и нынешним бездействием правительства. Правда, в сентябре новые члены Синьории уже сменили старых, и никто не жаждал принять на себя тяготы такого посольства. Бернардо Ручеллаи сослался на слабое здоровье, Джованни Ридольфи — на проблемы в семье, Лукка дельи Альбицци — на «неудобства путешествия и большие расходы»… Все подтверждало слухи о том, что внутри правительства существует раскол: говорили, что в нем есть партия, которой не нужна Пиза и которая требует возвращения Пьеро Медичи. Встревоженный появлением Пьеро в Мелене, Никколо торопит Синьорию: «Если к остальным достаточно могущественным врагам добавится этот, опасность нашего положения удвоится».

В середине октября Никколо впал в отчаяние. У него больше нет козырей. Его вынужденные бедствия в стране, которая оставшимся во Флоренции друзьям представляется «столь отдаленной, что, кажется, находится на другой планете», не улучшают состояние его духа. Как долго ему придется возвещать о скором приезде послов, которые еще даже не выехали из Флоренции? Что произойдет, если они не приедут вовсе?

— Мы все умрем, прежде чем прибудут твои ораторы[18], — ухмыляется кардинал Руанский.

Жорж д’Амбуаз, нехорошо улыбаясь, добавляет:

— Мы постараемся сделать так, чтобы кто-то умер раньше нас.

Выжидательная позиция, занятая Республикой, имела, без сомнения, свое политическое объяснение, о котором Синьория не считала, однако, нужным сообщать своему подчиненному. Во Флоренции, как, впрочем, и во Франции, еще не было известно, куда после взятия Имолы и Форли двинется войско папы во главе с Чезаре Борджа. В Романью, чтобы захватить там Фаэнцу, Римини и Пезаро? Или на юг, чтобы напасть на владения Колонна, римских баронов и врагов папы? При французском дворе надеялись на последнее. Никколо сообщает Синьории: «Этот поход доставит радость Людовику, он лучше согласуется с его планами, направленными против короля Неаполитанского: в

самом деле, последний будет вынужден прийти на помощь своим союзникам и, следовательно, ослабит себя; тогда он или подпишет с Его Величеством более выгодный для последнего мир, или будет побежден гораздо быстрее и легче». Поход на юг устраивал и Флоренцию, потому что тогда ничто не угрожало бы границам Тосканы и, следовательно, не было бы нужды срочно укреплять дружбу с Людовиком XII.

Однако «ходят все более упорные слухи, — пишет Никколо Агостино Веспуччи, своему коллеге по Канцелярии, — что как только он (Чезаре. — *К. Ж.)* штурмом возьмет Фаэнцу и Болонью, то захочет мечом проложить дорогу Пьеро Медичи, чтобы тот вернулся править таким городом, как наш, в преступном качестве верховного гражданина». Тогда, дабы не дать осуществиться подобным намерениям, можно будет рассчитывать только на Людовика XII. И это еще одна причина, чтобы в том непрочном положении, в котором находится Флоренция, не вызывать более недовольства короля, думает Никколо.

Синьория же считала, что тянуть время — в ее интересах. Не делая особых затрат, она держала при французском дворе Макиавелли, который обладал всеми качествами великолепного посла, но не имел его полномочий и в то же время заботился о ее выгоде. Он — человек незаменимый, человек-буфер.

НА ПОБЕГУШКАХ У РЕСПУБЛИКИ

В январе 1501 года Никколо вернулся во Флоренцию. Сослуживцы встретили его восторженно: без него в Канцелярии было невыносимо скучно. «Слишком много работы и слишком мало веселья!» — писал ему Бьяджо Буонаккорси. Некая красотка с набережной Лунгарно делле Грацие тоже поджидала его, «как сокол добычу».

Макиавелли был счастлив, что его опасения лишиться места не оправдались. Еще в октябре 1500 года другой его верный соратник Агостино Веспуччи писал ему: «Побыстрее возвращайтесь, я требую: поспешите, прошу Вас, возвращайтесь как можно скорее, умоляю. Прямо сегодня один из самых замечательных наших сограждан, который любит Вас более всех других, намекнул, что в Ваше отсутствие Вы можете лишиться места в Палаццо Веккьо…»

Еще до получения этого письма Никколо обратился с просьбой отозвать его из Франции: скорый приезд посла делает его присутствие там излишним. А семейные обстоятельства — смерть отца и одной из сестер — настоятельно призывали его во Флоренцию. Он уже отчаялся получить отпуск и старался как можно чаще напоминать о себе, чтобы о нем не забыли. Но несмотря на предстоящий — как он надеялся — приезд полномочного посла Флоренции, он продолжал осаждать короля и его советников, в сгущенных красках описывая им причины вполне обоснованных тревог Синьории: армия Чезаре Борджа уже на границах; в Тоскане совершают вылазки капитаны герцога Валентино — известные враги Республики, среди которых Вителлоццо Вителли (брат Паоло Вителли); в Пизе находится Пьеро Медичи, которому покровительствует семейство Борджа.

Людовик XII успокаивал посланца, давая понять, что готов вмешаться, если придется умерить амбиции Валентино, с оружием в руках. «Вы можете спать спокойно», — заверял он Никколо. Роберте подтверждал волю своего господина: «Я получил от Его Величества и от кардинала особый приказ написать монсеньору де Линьи и послу в Риме, чтобы первый уведомил Его Святейшество, а второй — Валентино о том, что Его Величество очень расстроен дошедшими до него слухами, что находящееся в Романье войско может предпринять — при участии некоторых бунтовщиков или без оного — действия, направленные против Флоренции; и что Его Величество никоим образом не намерен это терпеть».

Никколо очень хотелось получить от Роберте копию этого

письма. Он был бы удовлетворен, если бы смог представить его Синьории как доказательство успеха, который принесли его усилия. Может быть, тогда начальники по достоинству оценили бы его рвение и талант дипломата, как оценили его талант в составлении бумаг.

Никколо зря беспокоился о своей карьере: не прошло и месяца, как его отправили в Пистойю, раздираемую борьбой двух партий: партии сторонников Медичи, которую поддерживали многочисленные скрытые и явные враги Республики, и партии, сочувствовавшей флорентийской демократии. В Синьории опасались, что эта зараза перекинется на Флоренцию, поэтому необходимо было срочно погасить вражду. Но как? Никколо пришлось трижды съездить в Пистойю — в феврале, июле и октябре, — потому что, едва угаснув, огонь разгорался с новой силой. Превратившись в «мальчика на побегушках», Никколо вместе с тем вырабатывал политику Флоренции, общее направление которой ему, разумеется, указывали, но которую именно его легкое и точное перо переводило на язык инструкций. Он сам потом следил за исполнением их на местах и делал отчет о результатах.

После нескольких неудавшихся попыток посредничества между враждующими сторонами Никколо принял решение, которое почерпнул у Тита Ливия (он уже тогда был уверен в том, что для выбора правильной линии поведения достаточно прислушаться к тому, что говорили римляне): предводителей обеих партий надлежало либо отправить в тюрьму, либо в изгнание. Позже в своих «Рассуждениях…» он признается, что гораздо эффективнее было бы их умертвить, как поступили древние римляне с ардеатами, однако «подобные казни подразумевают наличие определенной силы и величия души» — качеств, неведомых современным ему республикам. В 1501 году Никколо осмеливается лишь ратовать за более энергичные действия, что уже само по себе значило вступить в противоречие с вялой флорентийской политикой, даже если и спрятаться, на всякий случай, под тогой древних римлян. Летом 1502 года, когда возникла необходимость покончить с мятежниками в Ареццо, Никколо вновь обмакивает свое перо в Тита Ливия, чтобы письменно сформулировать решение о безжалостной чистке города. На этот раз он гораздо свободнее выразил свои мысли, поскольку собственноручно составлял решения, но не подписывал их.

Спустя год Макиавелли представил Синьории доклад «О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикьяны», в котором утверждал, что История потому является «наставницей

наших поступков», «что мир всегда населен был людьми, подвластными одним и тем же страстям»[19]. В этом докладе он позволил себе открыто и страстно критиковать флорентийскую политику полумер, политику непоследовательную, дорого обходившуюся государству и не дававшую гарантий на будущее; осмелился уверенно противопоставить ей свою теорию политики силы, так как укрепилось его собственное положение в Канцелярии. Он стал в некотором роде правой рукой гонфалоньера справедливости, который в сентябре 1502 года был избран пожизненно, дабы обеспечить ту преемственность политики, которой требовали наступившие тревожные времена.

«Не будем говорить о том, насколько вам могут быть страшны иноземные государи, — пишет Никколо в том же докладе, — а побеседуем об опасности гораздо более близкой»[20] — о Чезаре Борджа.

* * *

Сын папы Александра VI стал кошмаром для Италии сразу же после своих первых успехов в Имоле и Форли и победы над неукротимой Катариной Сфорца. Несчастная графиня была привезена в оковах в Рим и томилась в одной из темниц замка Святого Ангела. Затем Чезаре напал на Пезаро, владение другого Сфорца. Потом завладел Фаэнцей, хотя жители ее, подданные Асторре Манфреди, буквально обожавшие своего шестнадцатилетнего государя, поклялись стоять насмерть. Ни Мантуя, ни Феррара не чувствовали себя в безопасности.

Чезаре Борджа, получивший от отца титул герцога Романьи, перекроил карту Северной Италии и при попустительстве Франции изменил соотношение сил и всю политику полуострова. Республики и мелкие итальянские государи замирали от страха перед Борджа. Все боялись нечаянно оказаться на пути урагана, направления которого никто не знал, но все чувствовали, что тот еще не скоро завершит свое движение.

В одном из писем Канцелярии, датируемом весной 1501 года, почерк и слог которого свидетельствуют об авторстве Макиавелли, так говорится о состоянии умов во Флоренции: «Если рассуждать здраво, то следует признать, что в Италии только этот государь вооружен, ибо он сын понтифика, к тому же является другом короля, хозяином Романьи и избранником Неба и Фортуны…» Республике не остается ничего другого, как начать переговоры. Но Чезаре, без согласия Синьории ставший лагерем у ворот Флоренции, знает, что сила на его стороне. Он

капризничает, требует для себя свободного прохода через Тоскану, дабы иметь возможность напасть на Пьомбино, что напротив острова Эльбы; требует, чтобы Флоренция не только обязалась не препятствовать осуществлению его предприятия, но и заключила с ним кондотту сроком на три года с годовым жалованьем в тридцать шесть тысяч полновесных дукатов.

Флоренция пообещала все, только бы добиться ухода его солдат, которые опустошали страну. А между тем ей было очень нелегко изъять из казны назначенную Чезаре сумму и еще труднее было немедленно выплатить ее, чего он требовал в качестве условия своего ухода. К счастью, он должен был вернуться в Рим, куда его призывала Неаполитанская кампания.

Людовик XII и их католические величества Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская договорились, с благословения папы, о разделе Неаполитанского королевства. После долгих колебаний папа Александр VI принес своих неаполитанских родственников (среди прочих и любимого внука, рожденного от брака его дочери Лукреции и Альфонсо Арагонского, герцога Бишельи) в жертву собственным честолюбивым устремлениям: он дал согласие на разделение королевства в обмен на изъявление захватчиками верноподданнических чувств к папскому престолу и поддержку Францией действий своего сына Чезаре в Романье.

Пока воздух над Капуей, которую Чезаре Борджа, исполнявший теперь волю короля Франции, без труда захватил и отдал на разграбление, полнился дымом пожарищ и запахом чудовищной резни, Флоренция могла перевести дух.

Но ненадолго. Разделавшись с династией неаполитанских арагонцев, Чезаре продолжил свою кампанию. К этому времени семейство Борджа продвинулось далеко в глубь Северной Италии, выдав за наследника герцога Феррарского дочь Александра VI Лукрецию, предыдущего мужа которой Чезаре умертвил, одни говорят, из ревности, другие — по соображениям политическим. Дом д'Эсте, один из старейших и знаменитейших в Италии, был очень недоволен подобным мезальянсом, тем более что — заслуженно или нет, кто знает, — у Лукреции Борджа была отвратительная репутация. Однако соображения политической выгоды возобладали, и брак был заключен. Таким образом, Феррара развязала руки Чезаре Борджа.

«Камерино дрожит, Урбино бежит, а о Пьомбино я уж и не говорю», — пишет к Никколо из Рима Агостино Веспуччи в августе 1501 года. В сентябре Чезаре захватил Пьомбино, до весны «гулял» по Романье, но, к своему величайшему сожалению, был вынужден отказаться от нападения на Болонью,

находившуюся под защитой Людовика XII. Поговаривали, что с наступлением лета он направится в Камерино, одно из государств Марки[21].

Синьория плохо представляла себе сложившуюся ситуацию и не знала, как вести себя в новой итальянской игре. Она в некотором смысле действовала вслепую.

Чезаре предлагал Республике заключить с ним союз. У Флоренции были основания считать, что, хоть он и отрицал это, Чезаре был во многом повинен в беспорядках, производимых в Тоскане его капитанами Вителлоццо Вителли, поклявшимся отомстить за гибель брата, и Оливеротто да Фермо, не так давно злодейски умертвившим синьора Фермо, своего дядю и опекуна, дабы заполучить его владения. Хорошо бы отправить к Чезаре епископа Вольтерры, решила Синьория.

Франческо Содерини не отличался особой изворотливостью, но имел большой практический опыт, обладал величественной осанкой, умел плавно говорить и был весьма слащав, как то и требовалось от будущего кардинала. Синьория рассудила, что с помощью Макиавелли он сможет достойно справиться с создавшейся острой — иначе не скажешь — ситуацией: послам в лагере Чезаре придется ходить буквально по лезвию ножа.

Эта командировка дала Никколо фантастический опыт, который питал все его творчество и, обессмертив человека, установил весьма спорный знак равенства, который пережил века: Чезаре Борджа = Государь = Макиавелли.

* * *

Все началось в небольшой деревушке Понте-а-Сьеве, где Содерини и Макиавелли, с 22 июня 1502 года находившиеся в пути к лагерю, который должен был располагаться близ Камерино, встретили какого-то монаха, сообщившего: «Чезаре нет в Камерино, он в Урбино!» Здесь уже все знали, что государь устремился к Камерино, но в семи милях от города повернул коней и одним броском, без передышки, достиг Кальи, что на границе герцогства Урбино, которое его правитель Гвидобальдо да Монтефельтро покинул без боя.

Новость была ошеломляющей, а подвиг — невероятным. Посланец Чезаре, выехавший навстречу флорентийцам, которые, за неимением других указаний, продолжали свой путь, подтвердил: Чезаре Борджа действительно в Урбино, где и ожидает их с нетерпением.

Никколо был восхищен: захватить целое герцогство — и

какое! — без кровопролития и быстрее, чем понадобилось бы времени этому известию для того, чтобы достичь Флоренции. Да, это настоящий полководец! Какая решительность, какая стремительность, не имеющая себе равных, разве что среди великих людей древности! Пусть синьоры не забывают об этом!

Содерини не разделял подобного энтузиазма. У него было такое чувство, что Синьория, отправив своих посланников водить за нос и отвлекать Борджа, бросила их на съедение хищнику. Чезаре подозревал, что сбежавший герцог скрывается в Тоскане, что было бы весьма прискорбно для Флоренции, если бы она решила его защищать.

Никколо же не испытывал сочувствия к Монтефельтро. Некогда герцог был знаменитым полководцем, но теперь появился тот, кто был сильнее его. Римлянин умер бы с оружием в руках, защищая свои владения, а этот сбежал! Как Лодовико Моро, герцог Миланский, как Фердинанд Арагонский, король Неаполя! Государи, лишившиеся своих владений, пусть «пеняют не на судьбу, а на собственную нерадивость, — напишет он в „Государе“. — В спокойное время они не предусмотрели возможных бед — по общему всем людям недостатку в затишье не думать о буре, — когда же настали тяжелые времена, они предпочли бежать, а не обороняться, понадеявшись на то, что подданные, раздраженные бесчинством победителей, призовут их обратно»[22].

Дорога в Урбино была долгой и трудной. Люди и лошади валились с ног от непрерывной скачки с утра и до захода солнца. Когда Содерини и Макиавелли добрались наконец до города, зажатого между холмами, то его ворота уже были закрыты. Франческо Агапито, секретарь Чезаре, который должен был их встретить, не появился. Им самим пришлось проникнуть в город и добраться до подворья епископа, где для них были приготовлены квартиры.

Среди ночи к ним пришел Агапито, чтобы проводить к Чезаре.

Легко можно себе представить, чем стала для Макиавелли в эту лунную ночь встреча со знаменитым дворцом Монтефельтро, грандиозность которого была еще очевиднее на фоне моря крыш, плескавшегося у его подножия. В этот час вокруг не было ни души, и тишина только подчеркивала его величие.

Тишина царила и во дворце. Тишина, свидетельствовавшая против узурпатора. Чезаре был единственным, не считая нескольких приближенных, кто мог наслаждаться бесчисленными произведениями искусства, которыми славился этот двор — один из самых изысканных в Италии. Никколо, думавший только о

цели своей миссии, даже не взглянул ни на залы и галереи, ни на великолепные обманки-маркетри[23] дверей, сквозь которые они проходили и которые на протяжении еще многих столетий будут вызывать неизменное восхищение знатоков.

И вот они предстали, наконец, перед Чезаре Борджа. У «бича Италии» была внешность соблазнителя, «bello e biondo» — белокурого красавца, как говорили дамы и девицы, которых сводил с ума взгляд его темных глаз и чувственный голос. Его очарованию нисколько не вредили ни следы «французской» — или «неаполитанской», как выражались французы, — болезни, которой он страдал, ни зловещая слава убийцы собственного брата, своего шурина и любовника сестры.

Едва обменявшись с герцогом несколькими фразами, Макиавелли понял, что это собеседник, о котором можно только мечтать: тонкий, язвительный, неподражаемый в своем притворстве, яростный в нападении. Настоящее счастье! Стоя, как и положено, чуть позади Содерини, секретарь был все время настороже, готовый в любую минуту принять эстафету, поскольку, с точки зрения милейшего епископа, шпаги скрестились слишком уж быстро.

Чезаре жалуется на Флоренцию. Лучшая защита — нападение, и потому он возлагает на Республику всю ответственность за грабежи, учиненные его солдатами. Вот что бывает, когда не выполняют обязательств! Если бы ему дали денег и оружия, как было условлено, не было бы никаких беспорядков. Теперь он требует гарантий безопасности своих земель, соседствующих с владениями Республики. Пусть та заключит с ним союз, иначе… Ему некогда тратить время на споры, дискуссии и словесные хитросплетения, и он ясно дает это понять. На поток возражений Содерини он раздраженно отвечает: «Довольно прекрасных слов! Дело! Гарантии! Договор! Вы готовы подписать или нет?» Епископ Вольтерры отказывается, ссылаясь на правительство: надо узнать его мнение, подтвердить… и т. д.

Чезаре вскипел: «Ваш теперешний образ правления не нравится мне. Я не могу ему доверять; измените его, гарантируйте мне выполнение взятых на себя обязательств. В противном случае вы быстро узнаете, что я не намерен пребывать в подобной неизвестности. Если вы не хотите моей дружбы, вы увидите, что значит быть со мною во вражде».

Добрейший епископ потрясен: это совсем не те дипломатические приемы, к которым он привык.

— Нам представляется, что мы здесь не для того, чтобы выслушивать все это! И это не то, чего ожидала Республика!

Чезаре рассмеялся ему в лицо:

— А вы думали, я стану оправдываться?!

— Принимая во внимание ваше величие и важность, которую вы, как мы знаем, придаете дружбе с Республикой, — ответил епископ, все еще уповавший на возможности лести, — мы надеялись, что вы могли бы оказать нам большую услугу, которая вполне вам по силам. Синьор Вителлоццо Вителли, ваш подчиненный…

— Услугу, — отрезал Чезаре, — надо заслужить, а Флоренция не заслужила.

Да, Вителлоццо — его подчиненный, но он, Чезаре, не имеет никакого отношения к восстаниям в Ареццо и Вальдикьяне, в подготовке которых его обвиняют. Он может поклясться в этом, но, тем не менее, он до конца откровенен:

— Я не был огорчен тем, как много вы потеряли; напротив, мне это доставило, и будет доставлять впредь, большое удовольствие!

Потрясенный Никколо слово в слово передает эти угрозы, дабы Синьория хорошенько поняла, с кем имеет дело и что с Чезаре Борджа неуместно вести переговоры на флорентийский манер. Он не разглагольствует — он действует. Миссия в том виде, в каком она была задумана Синьорией, провалилась, что может иметь серьезные последствия: «Приемы подобных людей сводятся к следующему: они стараются пробраться в чужой дом прежде, чем кто-либо их заметит».

* * *

Перед Чезаре Борджа Никколо держался в полном соответствии со своим чином: скромно, в тени епископа Вольтерры. Но с Орсини, римскими дворянами, принимавшими участие в кампании, он спорит на равных. Орсини насмехаются над надеждами, которые возлагает Флоренция на помощь и защиту Франции: «Кого-нибудь из нас одурачат, и это будете вы». Никколо передает их слова синьорам в надежде поторопить тех. «Осада Флоренции решена… все земли, начиная от Ареццо… захвачены… об остальном вы услышите через несколько дней», — заявили Орсини. Никколо все передал. Так же как и уточнения, касающиеся численности войска, находящегося в распоряжении герцога Валентино, которая впечатляет, даже если сделать скидку на некоторые преувеличения, призванные смутить послов.

И в качестве последнего удара — портрет: «Блистательнейший и великолепнейший придворный; военачальник столь предприимчивый и смелый, что даже самое

большое дело кажется ему легким. Стремясь к славе и новым владениям, он не дает себе отдыха, не ведает усталости, не признает опасностей. Он приезжает в одно место прежде, чем успеешь услышать о его отъезде из другого. Он пользуется расположением своих солдат и сумел собрать вокруг себя лучших людей Италии. Кроме того, ему постоянно везет. Все это вместе взятое делает герцога победоносным и страшным»[24].

Во время второй аудиенции, которой пришлось долго ждать, Чезаре выдвигает ультиматум: у Синьории четыре дня для того, чтобы решить — с ним она или против него.

Никколо во весь опор скачет во Флоренцию под тем предлогом, что ему необходимо лично объяснить правительству сложившуюся ситуацию, но на самом деле он дает Синьории возможность выиграть время. В Урбино остается обезумевший от страха Франческо Содерини. Епископ не стыдится признаться, «что он не тот человек, чтобы мочь и желать единолично нести подобную ответственность», и громко требует прислать себе напарника. Позже, не чувствуя себя в безопасности, он попросит отозвать его.

О возвращении Никколо в Урбино не могло быть и речи. Секретарь Канцелярии был слишком занят во дворце подготовкой к приходу французских войск, призванных навести порядок в Ареццо и Вальдикьяне. Людовика XII, который готовился высадиться в Италии вместе с Жоржем д'Амбуазом, не обманули заверения в невиновности, принесенные Чезаре Борджа, и он, дабы положить конец всей этой возне в Тоскане, сделал последнему выговор: пусть он отзовет своих псов! Вителлоццо Вителли должен оставить захваченный Ареццо. Французским войскам под командованием сира д'Эмбо поручено отвоевать город у мятежников и вернуть флорентийцам. Синьория могла наконец перевести дух: тиски разжались, и в переговорах с Чезаре больше не было нужды.

Дела, однако, пошли совсем не так, как предполагалось, и Никколо спешно послан в Ареццо, ставший свидетелем ошеломляющего и радостного братания французских солдат и мятежников. Д'Эмбо, нарушив приказ под предлогом того, что это послужит интересам французской короны, заключил договор с аретинцами — договор, составленный, разумеется, Вителлоццо Вителли, который сделал вид, что подчиняется силе, и покинул город: этот последний перешел под протекторат Франции. Не прошло и недели, как Макиавелли удалось вразумить французского военачальника. Тому, правда, следовало опасаться также и гнева короля, честь которого была задета его ослушанием. Как бы то ни было, 26 августа 1502 года дело было

решено. Осталось только определить порядок действий.

Никколо предусмотрительно составляет распоряжения и инструкции, имеющие целью предотвратить возможный подвох. Прежде чем французы покинут город и на смену им придут флорентийцы, необходимо провести чистку: «Мы считаем необходимым провести среди аретинцев еще одну облаву, выбрав из них всех, кто, на твой взгляд, своим влиянием, богатством, умом или мужеством мог бы увлечь кого-либо за собой. Всех их ты отправишь во Флоренцию. И лучше арестовать тридцать человек, чем одного, лишь бы все они покинули город: и ты отнесешься к этому со всем усердием, полагающимся такому важному делу. А сделать это будет легче до ухода французов, нежели после него…» Уроки Тита Ливия не прошли даром!

Эти рекомендации, датированные 8 сентября, адресованы Пьеро Содерини, комиссару Флоренции в Ареццо. Доводившийся братом епископу, он через несколько недель будет избран пожизненным гонфалоньером. «Народ имел мужество доверить свое знамя одному человеку, дабы мир в городе был построен на прочном камне», — воспоет вскоре Никколо это событие в поэме «Деченнали».

Судьбы Флоренции и Никколо круто меняются. Конечно, сам Никколо не голосовал бы за Пьеро Содерини. Он слишком хорошо его знал — им довелось вместе работать во время последних событий — и смог верно оценить: серьезный, честный, но заурядный и лишенный хватки — короче, идеальный, с точки зрения некоторых, кандидат на пожизненную должность, за что и был избран. Но присутствие одного из Содерини во главе правительства — это наилучший шанс для Макиавелли, потому что Пьеро, как и его брат Франческо, епископ Вольтерры, имел, в свою очередь, возможность по достоинству оценить способности Никколо: «Поскольку ты не уступаешь никому ни в доблести, ни в качествах сердца и ума… — пишет ему в ответ на поздравления Содерини, — ты станешь при нас человеком гораздо более ценимым и достойным благодарности, чем прежде».

И в самом деле, гонфалоньер сразу же выказал Макиавелли высочайшее доверие, что, впрочем, никак не отразилось на финансовом положении секретаря. А между тем для Никколо увеличение жалованья было бы очень кстати, поскольку он только что женился на Мариетте Корсини, девушке из хорошей семьи, которую знал с детства, так как загородные имения их родителей находились по соседству. В тридцать два года ему пора было расстаться с репутацией дебошира и повесы, служившей для его друзей источником сальных шуток, и всерьез отнестись к обязанностям главы семьи: ведь у него на руках оставался юный

племянник, сын его покойной сестры.

Доверие гонфалоньера выражается главным образом в увеличении числа поручений. Мариетта, живая, бойкая и решительная женщина, горько на это жалуется. Она вышла замуж для того, чтобы иметь мужа, но, едва надев обручальное кольцо, вынуждена жить, как вдова: ее Никколо все время в дороге. «Садись в седло, — приказала ему Синьория 3 октября 1502 года, — мы посылаем тебя в Имолу к Его Светлости герцогу Валентино». Мариетта в ярости, а Никколо не может скрыть радостного возбуждения.

COMMEDIANTE… TRAGEDIANTE [25]

В Романье пылает земля, и Синьория буквально вытаскивает Никколо из супружеской постели. На этом ложе тот истратил все свои силы, поэтому вынужден отказаться от поездки верхом и нанимает почтовую карету.

Когда Чезаре Борджа объявил своим кондотьерам, что следующей его целью будет Романья, а не Флоренция, те наконец поняли, что помогли волку забраться в овчарню и не только не получили от этого никакой выгоды для себя (больше всех разозлился Вителлоццо Вителли, лишившийся возможности отомстить Республике), но и сами могут стать его добычей.

Орсини первыми решились порвать с Чезаре. Осенью, в субботу, кардинал Джамбаттиста, глава клана, два его брата — Паоло и герцог Гравина — встретились с сыном синьора Болоньи. Встреча эта произошла в Маджоне, крепости на берегу Тразименского озера. На ней присутствовали также Пандольфо Петруччи, синьор Сиены; Джанпаголо Бальони, синьор Перуджи, и Оливеротто да Фермо; больной Вителлоццо Вителли велел доставить себя в Маджоне на носилках. Сосланный в Венецию герцог Урбинский и его сестра Джованна да Монтефельтро, правительница Сенигаллии, прислали свое согласие на участие в заговоре. В Маджоне также рассчитывали на то, что к ним присоединится и венецианский кондотьер Бартоломео д'Альвиано.

Бальони направил во Флоренцию следующее сообщение: «В прошедшую субботу… во имя общего спасения и дабы нас, одного за другим, не пожрал дракон, мы объединились и подписали между собой соглашение по всей форме и обязуемся набрать 700 тяжеловооруженных всадников и большое число легкой кавалерии и пехотинцев. Да просветит Господь разум Моих Синьоров и подвигнет их поспособствовать вместе с другими установлению и расширению их свободы и свободы всей Италии; да избавимся мы под ее материнской опекой от забот и страха. Однако на все воля Божья; мы же все порешили умереть ради этой цели; в любом случае тем, кто останется после нас, будет только тяжелее от сознания того, что никто не попытался что-либо предпринять ради их освобождения. Сегодня я отослал в Губбио всю свою легкую кавалерию, а завтра пошлю туда остальное войско; так же поступил Вителлоццо и сделают Орсини; мы и в самом деле перешли Рубикон и если и effecti sumus hostes[26], то Богу ведомо, что inviti[27]».

Между тем флорентийские синьоры не направили своего

представителя в Маджоне, как им предлагали, и не соблазнились письмом Бальони. Если Господь и «просветил их разум», то только для того, чтобы они пошли на предательство. Решив, что обстоятельства не благоприятствуют заговору, они сделали вид, будто тот направлен против Франции и папства, и, руководствуясь принципом «друзья наших друзей — наши друзья», посчитали своим долгом уверить Чезаре Борджа в своем дружеском к нему расположении. В этом и состояла миссия Никколо, с которой 5 октября 1502 года его отправили к герцогу.

«Ты будешь сколько возможно выказывать наше доверие и надежды, которые мы возлагаем на Его Светлость…» Слова, одни слова, ничего, кроме слов, в багаже секретаря. Любые слова, кроме тех, которых вправе был ожидать герцог Валентино после того, как в течение многих месяцев требовал не только заключения союза по всей форме, но и кондотты, поскольку сейчас он больше, чем когда-либо, нуждался в деньгах.

«…Ты не перейдешь указанных границ и не станешь говорить по-другому и о другом». Связанному по рукам и ногам Никколо предлагалось в который раз отличиться в искусстве уклоняться от прямых ответов и лукавить с человеком, которому, в чем Никколо уже имел возможность убедиться ранее, о противнике известно абсолютно все.

Но в кои-то веки промедление было вполне оправдано.

С одной стороны, коли уж овцы и в самом деле взбесились, они, быть может, и смогут победить волка. При одном только известии о союзе в Маджоне Романья восстала, а Сан Лео, крепость в Урбино, о которой Данте говорил, что нет на земле более суровой твердыни, сама сдалась мятежникам. Быть может, совсем немного времени оставалось до того момента, когда под ликующие крики подданных Гвидобальдо да Монтефельтро сможет вернуться на родину.

С другой стороны, необходимо было узнать, намерен ли король Франции потопить плот Чезаре в случае, если тот потерпит крушение. Людовик XII симпатизировал Гвидобальдо да Монтефельтро и еще в большей степени — синьорам Болоньи и Сиены; кроме того, его не могло не тревожить расширение — через Чезаре — власти папы. Да, это был главный вопрос: что будет делать король? Следовало дождаться ответа. Позиция разумная, но опасная, поскольку герцог Валентино, безусловно, потребует немедленного принятия жизненно важного для себя решения.

Что вынесет для себя Макиавелли из этой трудной миссии, за результаты которой он на сей раз несет единоличную ответственность? Ничего, кроме возможности занять место в

первых рядах театра Истории и приблизиться к самому замечательному человеку своей эпохи в канун его возможного падения.

* * *

Никколо ожидал встретить в Имоле озабоченного, встревоженного и подавленного герцога. Сведения, которые посланец собрал по дороге, свидетельствовали о вспышках недовольства на всей занятой территории, так что капитаны герцога получили приказ отступить, занять несколько линий обороны и сгруппировать гарнизоны, чтобы не позволить им дезертировать или перейти на сторону неприятеля.

Однако Чезаре не проявлял ни малейших признаков беспокойства и, кажется, вполне владел собой. Он раскрыл Никколо объятия, словно старому другу, которого с нетерпением ждал, чтобы продолжить разговор, начатый накануне: «Я хочу доверить тебе то, о чем еще не говорил никому…» Что это, игра, цель которой — очаровать и соблазнить посланника, который, как он надеется, сможет повлиять на Синьорию и помочь заключить настоящий союз? Или его привлекают ум, светящийся в глазах секретаря, ирония, таящаяся в уголках улыбающегося рта? Или одиночество так тяготит этого отшельника, что ему необходимо хоть с кем-нибудь поделиться своими тайнами?

Как бы то ни было, на первой их встрече Никколо пришлось долго выслушивать сетования герцога. Вот, вкратце, что он сказал: «Я не таков, как обо мне думают, и Флоренция неправильно судит о моих намерениях; она напрасно меня боится, потому что я всегда защищал ее и продолжаю защищать от действий других, несмотря на неслыханное давление. Сколько раз, когда мы были в Тоскане, Орсини и Вителли умоляли меня напасть на Флоренцию или Пистойю, они утверждали, что захватить их будет так легко! Я никогда не соглашался на это, напротив, я всегда говорил, что в случае необходимости воспрепятствую этому с оружием в руках! Именно за это они и хотят отомстить мне… Вителли не может мне простить, что я вынудил его оставить Ареццо, а Орсини — что я не вернул во Флоренцию Пьеро Медичи[28]…»

Никколо, которого пытаются убедить в том, что герцог Валентино является спасителем Флоренции, слушает спокойно. Ему хочется проникнуть в тайные замыслы этого человека. Коль скоро Чезаре расположен к откровениям, искренним или лживым — неважно, Никколо решается спросить:

— А герцогство Урбино? Оно почему восстало, в чем причина?

— В моем великодушии! Я был слишком великодушен, слишком добр и недооценил ситуацию. Я завоевал это герцогство за три дня, как тебе известно, и ни с кого не спустил шкуры… Я пошел еще дальше и назначил на государственные должности кое-кого из местной знати… и именно они меня и предали.

Никколо запомнил урок: опасность великодушия!

— Ну полно, это все пустое! Пусть будет, что будет, — вдруг бросил Чезаре и добавил: — Я все исправлю.

Он и раньше утверждал, что знает секрет, как отвоевать Урбино, коль скоро ему случится его потерять… Никколо в восхищении. Вот она, доблесть великого полководца, — умение владеть собой и событиями, которое позволяет направлять их ход.

Два дня спустя, во время поздней, как всегда, беседы (Чезаре вел ночной образ жизни) герцог не сменил тактику, но действовать стал гораздо жестче. Его удары стали точнее, однако рука, их наносившая, по-прежнему притворялась дружеской. Он повторяет, что свободу Италии попирают Орсини и их приспешники, что освободитель — это он, Чезаре Борджа. Король Франции прекрасно это понял и отвернулся от мятежников. «Смотри, секретарь…» — и герцог потрясает письмом папского легата при французском дворе. Людовик XII дает ему знать, что не возражает более против осады Болоньи и предоставляет в его распоряжение триста копий[29].

— Ты понимаешь, что это уже не шутки! Подумай, что я получу для защиты от этой банды, большинство членов которой его величество относит к числу своих врагов!

Чезаре хочет, чтобы Флоренция поняла: король будет считать Республику своим врагом, если та не присоединится к нему, к Борджа. Он утверждает, что почти желал этого гибельного мятежа:

— Я не мог и мечтать о вещи столь полезной для того, чтобы утвердиться в моих владениях, ибо отныне я буду знать, кого мне опасаться, и научусь распознавать друзей… Я говорю об этом сейчас и день за днем буду поверять тебе все, что случится, чтобы ты смог написать об этом своим синьорам, дабы они поняли, что я не собираюсь сдаваться и у меня достаточно друзей, в числе которых я хотел бы видеть и синьоров. Пусть только они мне без промедления дадут знать о своем решении; если они не сделают этого сейчас, я оставлю их в покое, и даже если стану тонуть, не заговорю более о дружбе…

Чезаре раскрыл свои карты с хорошо рассчитанной честностью. Доклады Никколо были объективны только на

первый взгляд. Отводить в письмах много места словам герцога значило вносить жизнь и краски в приводимые доводы, делать их более убедительными. Одно дело прочесть: «герцог угрожает нам…» и другое — услышать, как он произносит угрозы. Никколо открыл в себе талант драматурга.

К монологам герцога Валентино он прибавляет собственные комментарии — пристрастные, как и вся информация, которую он сообщает, поскольку считает, что для блага Флоренции необходимо разыграть карту Чезаре Борджа. В тех же целях Макиавелли решился превысить полномочия данной ему миссии: от него не требовали сведений военного характера, но он их предоставляет, и весьма подробно, поскольку, говорит он в свое оправдание, считает это своим долгом. На самом деле он хочет, чтобы его хозяева ясно поняли предупреждение, которым Чезаре закончил беседу: Флоренция в любом случае проиграет, если останется сидеть между двух стульев; если же она объединится с ним, то у нее будут шансы победить. И, видя бездеятельность Флоренции, Никколо рискует дать совет: «…Не дразните и не раздражайте его, показывая, что не собираетесь ничего предпринимать: притворитесь, что делаете хоть что-нибудь», — настолько нейтралитет представляется ему проигрышной и опасной позицией, противоречащей интересам государства. Эта мысль красной нитью пройдет через все его политические трактаты.

От Никколо Валори, человека, имеющего влияние в правительстве, Никколо узнает, что им довольны. Ему расточают комплименты: «Ваши рассуждения и описания достойны самой лестной похвалы, и теперь все признают то, что я лично всегда видел в вас: ясность, точность и достоверность ваших известий, короче, все ваши качества, на которые можно вполне положиться». Его бурно одобряют, на него «полагаются»… но опять ничего не предпринимают.

Никколо-осведомитель, поощряемый Синьорией в этой роли, с усердием и постоянством собирает все слухи, которые доказывают, что в плане дипломатическом Европа и Италия поддерживают герцога Валентино и что в плане военном «счастье, кажется, на стороне Его Светлости», поскольку мятеж дышит на ладан. Заговорщики, не имея ни плана кампании, ни единства действий, тянут одеяло каждый на себя. Некоторые, подобно Орсини, испугались собственной смелости и начали осторожное отступление. Паоло Орсини приехал к Чезаре в Имолу. Все чаще говорят о «примирении». Никколо опасается, что расплачиваться за него придется Флоренции.

В Палаццо Веккьо только регистрируют и классифицируют

информацию, поступающую от секретаря Никколо Макиавелли.

Чезаре теряет терпение: подкрепление, посланное Францией, уже в пути. Чего ждут флорентийцы? Он готов подписать с ними «твердый и нерасторжимый договор о дружбе», но какую игру ведут эти люди?

Взгляд герцога мечет молнии. Никколо дрожит от страха: неужели Чезаре думает, что он злоупотребил его доверием? Неужели он считает, что именно посланник несет ответственность за все уловки Республики? Чтобы подтолкнуть Синьорию, Никколо, осмелев от комплиментов, пишет 27 октября: «Что до положения этого Синьора с того дня, как я прибыл сюда, то он удержался на ногах только благодаря своей необыкновенной удаче: последняя основывается на уверенности, что ему должен помочь людьми король, а деньгами — папа; есть и другое, что сослужило ему не меньшую службу: враги его не спешили нападать. В настоящее время я не считаю, что они в состоянии нанести ему большой вред…» Еще 17 октября он писал: «Те, кто делал вид, что показывает ему зубы, не в состоянии больше его укусить, и завтра еще менее, чем сегодня».

Эти выводы не понравились синьорам. Никколо вызвал недовольство тем, что слишком упорно бил в одну точку. Неужели он думает, что Синьория позволит какому-то секретарю, каким бы бойким пером он ни обладал, манипулировать ее мнением и решит привязать свою повозку к повозке Чезаре Борджа только потому, что Никколо Макиавелли считает это необходимым?! Отсюда до обвинения в потворстве герцогу был всего один шаг, который некоторые без колебаний были готовы сделать. В наполовину зашифрованном письме Буонаккорси умоляет своего друга умерить свой прогерцогский энтузиазм, который во Флоренции не разделяют, и избегать высказывать столь резкие мнения: «Оставьте другим делать выводы».

Положение Никколо усложняется. Его бьют по рукам, ему не удается добиться возмещения расходов и не на что купить себе новую шляпу. Хуже того, поговаривают об уменьшении жалованья даже для сотрудников Канцелярии; Мариетта, доведенная до отчаяния долгим отсутствием супруга, «делает разные глупости»…

Но о возвращении и речи быть не может! «Гонфалоньер сказал мне нынче утром, что ему ваш отъезд представляется абсолютно невозможным, — пишет в начале ноября Марчелло Адриани, остававшийся по-прежнему во главе Первой канцелярии, — он говорит, что наш город не может отказаться от своего присутствия в столь важном месте; что до того, чтобы послать туда кого-нибудь другого, то нет никого кто мог бы во

всех отношениях лучше вас исполнить это поручение». Весьма лестный отзыв, это правда, но Никколо маю лишь «присутствовать». Он не может смириться с тем, что его донесения служат только для заполнения пыльных полок архива Канцелярии.

И он находит способ высказать те свои мысли и чувства, которые не желают слушать во Флоренции, коль скоро они исходят от него: он придумал себе «друга», якобы находящегося в курсе всех дел и близкого к Чезаре. Его устами Никколо продолжает давать все те же советы: поторопитесь заключить договор с герцогом, не думайте, что он вам даст много времени на раздумья.

Но все советы по-прежнему остаются без внимания.

* * *

Проходят недели. Ситуация развивается в пользу Чезаре, который, по его собственному выражению, «ест артишок листок за листком». Положение же Никколо ухудшается. Он мерзнет, недоедает, страдает от болей в желудке и хронического кашля; дела его приходят в упадок; Мариетта заявляет всем и каждому, что больше не верит в Бога и что, выйдя замуж за этого призрачного мужа, послала к черту свое приданое и свою девственность. Во имя чего все это? Он просит, заклинает, умоляет, чтобы его отозвали. Он здесь не нужен. И каждый день он трепещет при мысли о том, что вынужден вновь являться к Чезаре с пустыми руками. 8 ноября, накануне подписания договора с Паоло Орсини, герцог призвал его к себе в час ночи:

— Ну что кондотта? Готова Флоренция мне ее предоставить или нет?

Кондотта — это камень преткновения. Не было ни одной беседы, в которой не заходила бы о ней речь. Без нее все уверения Республики в дружбе ничего не значили.

Чезаре кипит от ярости: Флоренция предоставила кондотту маркизу Мантуанскому, а почему не ему? Там что, считают его неспособным или недостойным служить Республике?

Путаные объяснения Макиавелли его не удовлетворяют.

— Ответь мне, секретарь, хотят ли твои синьоры пойти в дружбе со мной дальше? Если им достаточно того, что есть, то и я удовлетворюсь этим! Но пусть поторопятся с ответом…

Упорное молчание Флоренции подвергает секретаря реальной опасности. Совершенно очевидно — если только Никколо намеренно не драматизирует ситуацию, — что Чезаре

Борджа его избегает. Их встречи становятся все более редкими и все более натянутыми. Придворные тоже настроены не очень благожелательно: либо уклоняются от ответа на его вопросы, либо утомляют долгими пустыми разговорами. Он лишен всякой возможности получать достоверную и интересную информацию. Его противники во Флоренции потирают руки: Никколо обвиняют в бездеятельности и нерасторопности. Как это так, после стольких месяцев, проведенных в лагере Валентино, Макиавелли не может предоставить подробные и точные сведения о намерениях герцога! Никколо оправдывается, пытается объяснить, что «здешняя политика — непростая загадка, и мы имеем дело с самостоятельно действующим государем; поэтому, чтобы не излагать выдумок, необходимо все изучить и проверить. А на проверку уходит время. Но я не теряю время и трачу его с пользой, насколько позволяют обстоятельства…». Рискуя быть обвиненным в высокомерии, он может сказать только, что «видит, как события развиваются в том самом направлении, в котором он и предполагал», что здесь говорят о мире, но готовятся к войне. К войне с кем? Это пока неизвестно, но все указывает на то, что Флоренция, медлящая с принятием решения, очень рискует. Ничто не гарантирует, что примирение Чезаре с его капитанами не произойдет за ее счет, поскольку герцог не тот человек, который может забыть о нанесенном ему оскорблении.

«Вы будете разочарованы, Никколо, — пишет ему его верный друг Буонаккорси, — потому что вы там у себя решили, что смогли убедить нас подписать нечто, что доставило бы удовольствие вышеназванному синьору, а сегодняшний ответ разрушит все ваши замыслы. Надо было быть полным дураком, чтобы поверить, что мы захотим так дорого заплатить за розги, которыми нас же самих и высекут».

Никколо замкнулся в себе. От него хотят сведений и только сведений? Пусть будет так, и он обрушивает на Синьорию поток информации, очень важной информации. Под давлением Орсини все кондотьеры раскаялись и во искупление своей вины согласились, правда, не без возражений, подписать мирный договор, состряпанный Чезаре Борджа. Узнав об этом, герцог Урбинский понял, что проиграл, сложил оружие и приказал разрушить все укрепления. «Таким образом, для того чтобы отвоевать герцогство, не будет нужды обнажать шпаги»… но тем не менее ни одна французская рота не отправлена обратно. Для чего они могут понадобиться?

Декабрь. Ставки все еще не сделаны. Известно только, что Чезаре проведет Рождество в Чезене. Никколо не испытывает ни малейшего желания сопровождать герцога. «Вот уже двенадцать

дней я чувствую себя так плохо, — жалуется он, в который раз умоляя отозвать его, — что, если так пойдет и дальше, боюсь, домой я вернусь уже в гробу». Такая перспектива не тронула его начальство. Поскольку Чезаре со всеми приближенными отправился в Чезену, необходимо, чтобы Макиавелли тоже отправился туда и постарался разузнать, что задумал герцог.

Найти в Чезене пристанище оказалось делом весьма нелегким. Армия разбила лагерь за городскими стенами, дабы избежать беспорядков; но офицеры, большая свита герцога, иностранные наблюдатели и беженцы из «горячих точек» Романьи осаждали немногочисленные таверны и набились битком во все частные квартиры, даже самые жалкие. Флорентийский секретарь должен был найти жилье и кормить троих слуг и трех лошадей, и это при его-то денежных затруднениях! Грустное Рождество предстояло провести супругу Мариетты!

Никколо бродил по коридорам и окрестностям дворца, собирая слухи. Одни говорили, что Чезаре наверняка нападет на Венецию. Другие предполагали, и это казалось более правдоподобным, что он отправится за распоряжениями в Рим, к папе. Никколо же считал, что решения принимаются не в Риме, а здесь, и в строжайшей тайне, которая известна только одному человеку: Чезаре. Он снова и снова напоминает Синьории, что герцог «никогда не говорит, а действует; действует же он, когда его заставляет необходимость, и притом сразу, а не как-нибудь иначе». К вящему разочарованию любителей потолкаться в прихожей.

В рождественскую неделю Чезаре не дал ни одной аудиенции, посвятив себя удовольствиям — и, как считали, любовным утехам, источник которых он скрывал в своем дворце. Ему приписывали прошлогоднее похищение одной молодой и знатной особы, которое вызвало возмущение всех итальянских дворов и ярость Венеции, поскольку девица была помолвлена с одним из известных военачальников Светлейшей[30].

Никколо не принимал участия в празднествах, балах и турнирах и, страдая от безделья, бродил по стройкам, которыми руководил Леонардо да Винчи, перешедший на службу к Чезаре, намеревавшемуся превратить Чезену в столицу нового герцогства Романьи. Холод гнал его в дымные таверны, битком набитые солдатами. Там можно было ненароком узнать кое-какие новости или слухи, например, о внезапном уходе французских отрядов, что «произвело полный переполох».

После Рождества герцог направился в Пезаро. Куда он двинется потом? Неизвестно. А между тем Никколо напрасно сожалел о том, что его не отозвали. Благодаря этому он стал

очевидцем событий, которые определили весь последующий ход его размышлений, все его будущее творчество… и его дурную славу.

* * *

Ранним утром 26 декабря 1502 года армия ушла, окутанная снежной дымкой, и оставила перед дворцом разрубленное пополам тело Рамиро дель Орко, наместника Романьи. Рядом с ним лежали колода и топор.

Незначительное происшествие? Никколо посвятил ему в своем донесении всего одну строчку и сухой комментарий, гласивший, что «так угодно было государю, который подобным способом показывает, что может по своему усмотрению возвеличить или уничтожить людей сообразно с их поведением». Казалось, Никколо был гораздо больше взволнован получением двадцати пяти золотых дукатов и шестнадцати локтей черного шелка, которые позволят ему наконец достойно одеться и прилично питаться.

Но это была лишь видимость. На самом деле Никколо долго не покидал площадь, залитую кровью наместника. Он смотрел, слушал разговоры толпы, «удовлетворенной и ошеломленной». И вот что стало ему ясно со всей очевидностью.

Для того чтобы восстановить порядок в Романье и разделаться с грабителями, возмутителями спокойствия и другими преступными элементами, нужен был человек действия, и герцог воспользовался услугами Рамиро дель Орко. Он вручил ему всю полноту власти, что, как утверждает Макиавелли, было политически верно, поскольку завоевать страну и оставить затем без хозяина или наместника, наделенного теми же полномочиями и властью, что и государь, значило обречь ее на разорение. В короткое время благодаря этому «жестокому и скорому на руку» правителю страна вновь обрела «спокойствие и мир». Но какой ценой! Безжалостность к тем, кто нарушал его приказы, — к фрондерам, мятежникам и неусердным подданным — превосходила все мыслимые пределы. Рассказывали даже, что однажды он швырнул в огонь юного слугу, который, подавая ему питье, имел неосторожность забрызгать его платье. Но как только порядок был восстановлен, жестокость и беспощадность наместника стали служить Борджа дурную службу, разрушая образ просвещенного и щедрого государя, который герцог старался создать себе, когда на свои собственные средства покупал у венецианцев зерно, дабы помочь населению пережить

жестокий голод, или менял свои планы и сворачивал с пути, чтобы выслушать жалобы наиболее обездоленных подданных. Эта репутация народного благодетеля никак не вязалась с ужасом, внушаемым Рамиро, который мог вызвать ненависть к государю, если бы заподозрили, что именно он и повелел развязать террор. Оставался единственный выход: избавиться от наместника.

Но Чезаре не желал уподобляться ничтожным правителям, с которыми сражался с единственной, как он утверждал, целью: освободить их подданных от тирании деспотов. Поэтому он учредил гражданский суд, возглавляемый одним из его советников, в который входили также представители всех городов. Не государь решил покарать Рамиро дель Орко, но суд. Это разрубленное пополам тело на площади символизировало собой правосудие, которое даровал своим новым подданным Чезаре. Правосудие, которое разило притеснителей независимо от того, сколь высокое положение они занимали. Неудивительно поэтому, что даже в завоеванных или сдавшихся городах народ приветствовал Борджа криками: «Да здравствует герцог!»

Тщательно анализируя комбинацию, принесшую Чезаре победу на всех досках, Макиавелли вновь и вновь возвращается к проблемам власти, которые кажутся столь легкоразрешимыми тем, кому не приходится их решать. Никто не может удержаться от того, чтобы не обвинить государя в жестокости. Но, приходит Макиавелли к выводу, считать так — значит рассуждать с точки зрения морали, а не политической необходимости. Если дать себе труд подумать, не опасаясь пойти против общепринятого мнения — а как не пойти, наблюдая, куда ведут устоявшиеся воззрения флорентийских мудрецов! — то можно доказать не только необходимость жестокости для восстановления мира и единства — а следовательно, и благополучия подданных, — но также и то, что великодушие может стать бесчеловечным, если из показного, внешнего милосердия не препятствуешь беспорядкам, «из которых родятся убийства и грабежи». Флоренция, «опасаясь обвинений в жестокости, позволила разрушить Пистойю»… Что до ответа на школьный вопрос, что лучше для государя: чтобы его любили или чтобы его боялись, — то в Чезене Борджа, кажется, удалось добиться и того и другого.

* * *

В течение долгих недель все оставались в неведении относительно дальнейших намерений герцога Валентино. Решилось же все за те несколько часов, которые понадобились

ему, чтобы приехать в Сенигаллию — владение юного племянника Гвидобальдо да Монтефельтро, расположенное между Пезаро и Анконой. Там он самолично захлопнул ловушку за кондотьерами, призванными туда для того, чтобы стать свидетелями сдачи цитадели, которая якобы согласна была покориться только герцогу, но никак не Оливеротто да Фермо, прибывшему накануне в город по приказу Чезаре.

Оливеротто, герцог Гравина с братом, Паоло Орсини, Вителли… — в плену и, быть может, уже казнены! Это известие погнало Никколо в Сенигаллию. Там царила неописуемая суматоха: нескольким отрядам кондотьеров удалось спастись, и солдаты Чезаре, обратив всю свою ярость на город, начали грабежи. Чезаре скачет по улицам во главе кучки всадников и пытается восстановить порядок. Повсюду на окнах висят трупы, в лужах крови валяются отрубленные головы, руки и ноги…

Никколо, ни жив ни мертв от ужаса, составляет донесение, хотя не имеет ни малейшего представления о том, как доставить его во Флоренцию, ибо никто и ни за какие деньги не рискнет сейчас отправиться в путь. Он считает, что ни братьев Орсини, ни Вителлоццо Вителли, ни Оливеротто да Фермо «завтра утром уже не будет в живых». На руках у Макиавелли послание, которое герцог направил всем иностранным государям и правителям. В нем говорится, что Орсини и их сообщники не оставили своих преступных замыслов и заманили герцога Романьи в западню. Захватив предателей, он только предотвратил готовящееся злодеяние…

Никколо не поверил официальному заявлению. Он не забыл, что говорил ему Чезаре как-то вечером в октябре по поводу предпринимаемых Орсини попыток к сближению: «Они надеются провести меня, а я тяну время и жду своего часа». Этот час пробил в Сенигаллии. «Какое ребячество думать, что рану, нанесенную кинжалом, можно залечить словами!» — воскликнул один из приближенных герцога, когда в ноябре кондотьеры подписывали договор. Сейчас кинжал сжимала уже другая рука.

Ночью, когда в город вернулось спокойствие, Никколо отвели к герцогу. Чезаре ликовал, расточал захватывающие дух любезности. В присутствии Никколо он не дает себе труда притворяться, что всего лишь воспрепятствовал, решительно и быстро, своей погибели. Он не оправдывается, он ожидает заслуженных поздравлений за то, что «истребил врагов короля, Флоренции и его самого» и «уничтожил в зародыше беспорядок и смуту, грозившие Италии».

Это уже совсем иной взгляд на события. Никколо восстанавливает сценарий, задуманный и осуществленный

Чезаре. Место действия: городок, защищенный с одной стороны горами, с других — рекой и морем, идеальное место для западни. Крепость, которая готова сдаться только самому герцогу, — прекрасный повод собрать всех кондотьеров. Они не могут отказаться: это значило бы проявить недоверие, несовместимое с расточаемыми ими дружескими уверениями и долгосрочным мирным договором, который они только что подписали. Чтобы усыпить их бдительность, герцог и сам демонстрирует полное к ним доверие: его сопровождает лишь небольшой эскорт, состоящий из нескольких всадников и кучки пехотинцев. Такой небольшой отряд, разумеется, можно разместить и в городе. Поэтому войско кондотьеров покинуло последний, за исключением солдат Оливеротто да Фермо, которые расположились в предместьях, запершись, однако, в домах, дабы избежать возможных столкновений.

Чезаре в сопровождении своих командиров ожидал остальных, как и было предусмотрено, в нескольких милях от города. В Сенигаллию все должны были войти вместе, потому что въезд этот имел символическое значение: так они хотели показать, что с прошлым покончено. Кондотьеры, кроме Бальони, правителя Перуджи, сказавшегося больным, присоединились к Борджа. Прибыли все, включая Вителлоццо Вителли, который и в самом деле был болен и которого Орсини с трудом уговорили не следовать примеру Бальони. Старый соратник Чезаре приехал верхом на муле и, зябко кутаясь в черный плащ с зеленым подбоем, казался еще бледнее, чем был на самом деле. Он выглядел как человек, идущий на смерть. Герцог встретил его тепло и любезно, искренним смехом и дружеским взглядом. Весело беседуя, направились в город. Всё спокойно, нет ничего необычного, правда, только на первый взгляд.

На мосту, который вел к укреплениям, всадники Чезаре, составлявшие головной отряд, образовали проход, выстроившись в два ряда, — повернув часть лошадей к реке, а часть в сторону гор, — и как только Чезаре и его свита вступили на мост, следом за ними двинулись сотни наемников, до поры скрывавшихся в окрестностях. Кондотьеры не могли снестись друг с другом, поскольку каждого окружали воины Чезаре. На пороге отведенного герцогу дворца они попытались проститься с ним, однако у того были другие планы: «Разве мы все собрались не для того, чтобы отпраздновать примирение и обсудить план новой кампании?» Что им оставалось, кроме как последовать за ним?

Под предлогом того, что ему необходимо освежиться после долгой скачки, Чезаре оставил гостей в компании офицеров своей стражи. Не успела за ним закрыться дверь, как горла кондотьеров

коснулась холодная сталь. Все произошло быстро, стража действовала молниеносно.

* * *

«Bellissimo inganno» — прекраснейший обман! — скажет потом Паоло Джово, смиренный и мудрый епископ Ночеры. Никколо был не меньше его восхищен — нет, не самим злодеянием, как может показаться и как часто говорили, — но ловкостью и быстротой, с которой оно было осуществлено, умением, с каким Борджа довел дело до конца. Все было тщательно подготовлено и рассчитано.

Италия превозносила Чезаре, который, как сказал бы Никколо, так ловко «уподобился лисице». По сути своей, пьеса была не нова, но в Сенигаллии ее разыграли просто великолепно! Изабелла д'Эсте, считавшаяся современниками самой умной, утонченной и добродетельной женщиной того времени, также говорила о «bellissimo inganno» и в знак своего восхищения послала Борджа… сто масок! Правда, таким образом правительница Мантуи, государства небольшого, старалась угодить Чезаре, внушавшему ужас всем.

Никколо все более убеждался в том, что для общей пользы необходимо заключить с герцогом действенный военный союз, которого тот требует, дабы покончить с теми, кто ускользнул из его ловушки, и изгнать из Перуджи Бальони, а из Сиены — Петруччи, бывшего душой заговора. Но наученный горьким опытом, Макиавелли облекает свои мысли в форму советов «информированных людей, друзей Флоренции». Они утверждают, передает он, что намерения герцога не составляют тайны: Вителлоццо и Оливеротто умерли «как тираны, убийцы и предатели»; Паоло Орсини и герцога Гравинского Чезаре хочет доставить в Рим и надеется, что папе удастся схватить кардинала и другого их брата. Тогда «против них начнут процесс и предадут их суду». Можно заранее предвидеть его исход!

Чего хочет герцог? Освободить все церковные земли от тиранов и заговорщиков, вернуть их папе, а себе оставить одну Романью. Его Светлость ничего так не желает, как доставить удовольствие флорентийской Синьории. Но пусть Флоренция не упустит такую возможность и как можно скорее направит к нему «посольство, состоящее из самых именитых граждан».

Ценой неимоверных усилий Никколо слал и слал Синьории длиннющие послания, в тяжелейших условиях следуя за армией герцога, но ни одно из его первых донесений не дошло по

назначению. Скорее всего, они лежали в канаве у обочины дороги, там, куда их бросили разбойники, ограбившие его первого посланца. А в лагере Чезаре все удивлялись, почему это Флоренция медлит с ответом на настойчивые просьбы герцога. Во Флоренции в конце концов узнали о событиях в Сенигаллии, о казни Вителлоццо и Оливеротто, о пленении Орсини, о сдаче Перуджи и о походе на Сиену. Узнали, но не от Макиавелли. Бедный Никколо! Если бы он умер, как думали друзья, встревоженные его молчанием, ему, может, и простили бы все; но он остался в живых — и его могут посчитать бездельником, не справившимся с порученной миссией! Пусть ему хотя бы оплатят расходы на отправку неполученных депеш!

Никколо в отчаянии, потому что не сохранил копии своих первых донесений, составленных по горячим следам. Ему ничего не известно и о судьбе других писем: их могли потерять или перехватить. В который уже раз он излагает произошедшие события и пересказывает суть проведенных им переговоров, о которых подробно писал ранее. Все это он делает с присущим ему талантом, но нет уже в этих его донесениях прежнего пыла и тон писем совсем иной.

Одно его утешает: Синьория наконец согласилась направить к герцогу посла. Никколо может вернуться во Флоренцию.

МАСКИ

«До тех пор, пока жив папа и не иссякла дружба короля, герцогу будет сопутствовать удача, которая доселе ему покровительствовала». Когда Макиавелли писал эти строки, никто и подумать не мог, что скоро представится возможность проверить истинность этого утверждения.

Малярия, с начала лета опустошавшая нижние кварталы Рима, вскоре ринулась и на овеваемые свежим ветром аристократические холмы, обратив в бегство иностранных послов, и обрушилась на Ватикан. 10 августа 1503 года она насмерть поразила Александра VI, открыла ворота Вечного города врагам Борджа и вызвала небывалый доселе кризис.

Чезаре был готов к возможной смерти отца, но, как он признавался впоследствии Никколо, не мог предвидеть, что она случится так скоро (он успел укрепить свою власть над Романьей, но его влияние в Италии не достигло еще высшей точки) и что сам он будет в этот момент прикован к постели тяжелой болезнью и не сможет ничего предпринять. Рим был охвачен смутой. Беспорядки и волнения, всегда следовавшие за кончиной очередного понтифика, позволили врагам Чезаре вернуть себе влияние и силу. Угрозу для Борджа представляли и чужеземные войска, ставшие лагерем в Лацио.

Известие о смерти папы застало французскую армию близ Витербо и остановило ее дальнейшее продвижение в сторону Неаполя на помощь солдатам герцога Немурского. Франция и Испания, несмотря на заключенное соглашение о разделении между собой королевства Неаполитанского, ни на миг не прекращали сражений за земли, столь легко им доставшиеся. Когда испанский военачальник Гонсальво Кордовский занял Неаполь, Людовик XII решил его оттуда изгнать. Но смерть Александра VI положила начало иной битве, битве за тиару, из которой рассчитывал выйти победителем Жорж д'Амбуаз, кардинал Руанский. Претендент на папский престол в сопровождении двухсот лучников находился уже на пути в Рим, поэтому все войско Ля Тремуля — тысяча копий, легкая кавалерия и шесть тысяч пехотинцев — задержалось в Лацио, дабы оказать поддержку французскому кардиналу и воспрепятствовать возможному неблагоприятному развитию событий.

Пребывавший в смятении и растерянности Рим мог захватить любой, у кого хватило бы смелости. Ни французы, ни испанцы на это не решались, но их томившиеся бездействием наемники

пробирались в город, спеша поживиться за счет беззащитных жителей. Опьяненные жаждой мести приспешники Орсини — двести человек, вооруженных мушкетами, и четыреста пехотинцев — хлынули в город в надежде рассчитаться с Чезаре Борджа и покончить с Колонна, своими исконными врагами, возвратившимися в Рим после смерти папы вместе с другими изгнанниками.

Город, ощетинившийся баррикадами, был предан огню и мечу. И если бы Чезаре Борджа рискнул покинуть Ватикан, за его жизнь никто не дал бы и гроша. Но «необыкновенная фортуна» и «неслыханная удача» продолжали оберегать своего избранника. Измученный болезнью герцог, тем не менее, весьма ловко и удачно вел переговоры. Ему угрожали Орсини — он сумел найти общий язык с Колонна и заручиться тем самым поддержкой испанцев, чьими вассалами те были. Чезаре располагал все еще достаточным влиянием, чтобы им торговать, и, дав обещание поддержать кандидатуру Жоржа д'Амбуаза, обеспечил себе помощь французов. Когда для того, чтобы собрать конклав, кардиналы все-таки потребовали от него покинуть Ватикан, именно французские солдаты сопровождали его носилки до крепости Непи, за толстыми стенами которой он и укрылся.

Фортуна продолжала хранить Чезаре, хотя вести, приходившие из Романьи, были убийственны для него. Вителли возвратили себе Читта ди Кастелло, герцог Гвидобальдо да Монтефельтро — Урбино; жители Перуджи и Сенигаллии изгнали его гарнизоны, а в Камерино убит его наместник. Прошел слух, что кондотьер Бартоломео д'Альвиано перешел на службу к венецианцам и от их имени завоевывает города Романьи. Но когда всем уже стало казаться, что власти Борджа пришел конец, конклав объявил об избрании понтифика — Пия III (кардинала Пикколомини). Новый папа вернул Чезаре в Рим, подтвердил все его титулы и звания, запретил «наносить какой бы то ни было ущерб своему дорогому сыну Чезаре Борджа Французскому, герцогу Романьи и Валентино, гонфалоньеру Церкви» и благословил последнего на подготовку к войне за возвращение утраченных владений.

Дело в том, что международная обстановка не позволяла избрать папой ни француза, ни испанца; испанцы даже пригрозили расколом в случае, если Жорж д'Амбуаз взойдет на папский трон. Кардиналы-итальянцы Джулиано делла Ровере (племянник и некогда правая рука Сикста IV и Иннокентия IV) и Асканио Сфорца (брат несчастного Лодовико Моро), не имея времени собраться с силами для борьбы, также согласились отдать свои голоса за «промежуточного» папу. Старый кардинал

Пикколомини к моменту своего избрания одной ногой уже стоял в могиле, куда двадцать дней спустя его и свел скальпель одного знаменитого хирурга, так что флорентийские послы, собиравшиеся поздравить нового папу с восшествием на престол, не успели даже выехать.

Игра возобновилась, и это была уже настоящая битва за тиару. От ее исхода зависела судьба Борджа и, следовательно, судьба Флоренции. Синьорию по-прежнему тревожили его претензии на Тоскану и слухи об уходе французов из Ломбардии. Если французы уйдут, Ломбардия не сможет защититься ни от нападения Чезаре, ни, в случае его смерти, от Венеции, готовой захватить Романью, ни от императора, который, как поговаривали, собирался занять всю Северную Италию.

Как только было объявлено о созыве нового конклава, Совет десяти в тот же час направил в Ватикан Макиавелли, чтобы тот добился аудиенции у самых влиятельных из преподобных отцов, от которых будут зависеть результаты голосования — кардинала Руанского и кардинала делла Ровере, — дабы предложить им поддержку, если они пообещают Флоренции свою.

Во время своей командировки во Францию Никколо уже познакомился с Жоржем д'Амбуазом, кардиналом Руанским. Он знал об этом человеке все, знал, что им невозможно манипулировать, что самые сильные и убедительные аргументы собеседника словно тонут в толстых складках его с виду добродушного лица. А что касается грозного и опасного Джулиано делла Ровере, кардинала Сан Пьетро-ин-Винкула, Макиавелли была прекрасно известна репутация этого мятежного прелата, которого Борджа, его соперник и вечный враг, обвинил некогда в подготовке заговора, лишил всего имущества и вынудил уехать во Францию, ибо итальянскую политику французов делла Ровере поддерживал всегда.

* * *

В конце октября 1503 года вид Вечного города никого не мог привести в восторг.

Темные и зловонные улочки Рима, настоящие клоаки, вились среди холмов, на которых под сенью оливковых деревьев виднелись античные руины и тянулись пустыри, перемежавшиеся бедными огородами и редкими жилищами. Улицы выходили на площади, лишенные всякого благородства, даже если на них и высились горделивые дворцы. Причудливый лес куполов и колоколен над крышами свидетельствовал как о многовековой и

пылкой вере, так и о безначалии, обрекавшем их ныне на разрушение.

Как и всякий путешественник, приезжающий с Севера, Макиавелли въехал в город через Порта дель Пополо, пересек площадь того же имени, унылую виа Лата и безлюдную площадь Испании, раскинувшуюся у подножия недостроенной церкви Тринита деи Монти. Жизнь в Риме закипала только на подступах к Пантеону. Толпы народа толклись на улочках, таких узких, что по ним едва мог проехать всадник. И эти улочки к тому же были либо перегорожены баррикадами, построенными во время недавних уличных боев, либо залиты водами вышедшего из берегов Тибра.

С тех пор как Никколо выехал из Флоренции, дождь не прекращался ни на минуту, и он чувствовал себя разбитым, грязным, «промокшим до нитки». Мечтал он только о ночлеге для себя и своей лошади. Его отправили в путь, несмотря на плохое самочувствие, отвратительную погоду и желание получить хоть небольшую передышку. Но обе Канцелярии всю весну были заняты только тем, что пытались справиться с «лихорадкой», охватившей Вальдикьяну и долину Арно, причиной которой был конечно же Чезаре, ибо по его вине пизанцы обрели второе дыхание.

Хотя, с другой стороны, Никколо был совсем не прочь оставить на время серые трудовые будни в Палаццо Веккьо и занять место в первых рядах римского театра, чтобы наблюдать за разворачивающимися событиями.

Лучше всего было поселиться в «Медведе», любимой гостинице Данте, не столько из уважения к памяти великого флорентийца, сколько потому, что она располагалась в непосредственной близости от замка Святого Ангела.

После своего возвращения в Рим в замке обосновался Чезаре, осаждаемый Орсини и Колонна. Они, позабыв о своих разногласиях, заключили пакт о мести и объявили, что готовы напасть на Ватикан, где в покоях Жоржа д'Амбуаза укрывался Чезаре. Они даже пошли на то, чтобы поджечь ворота Торрионе. Тогда герцога перевели в замок, воспользовавшись одним из потайных ходов. Там он и поселился на самом верхнем — для большей безопасности — этаже в окружении четверых слуг, там он и узнал о смерти Пия III.

Именно от Чезаре, сохранявшего силу духа, зависел исход новых выборов папы. Наблюдатели говорили, что «папой станет только тот, кто сумеет договориться с Чезаре», а он может положить на чашу весов голоса всех сторонников своей семьи и голоса колеблющихся, но дисциплинированных кардиналов-

испанцев, имевших большинство в конклаве.

Итак, замок Святого Ангела стал ареной ежедневных и увлекательных для Никколо визитов.

* * *

Сразу же после кончины Пия III стало ясно, что ближе всех к вожделенному трону находится Джулиано делла Ровере, хотя то, что Чезаре решится поддержать врага семейства Борджа, которого Александр VI посоветовал бы любой ценой не допустить на папский престол, казалось почти невероятным. Эти сведения подтвердил кардинал Содерини, к которому Никколо пришел сразу по приезде. Создается впечатление, докладывал Макиавелли Синьории, что и кардинал Руанский «окажет содействие» делла Ровере.

В конце концов почему бы и нет? Всем было известно, что делла Ровере — франкофил, а кардинал Руанский, столкнувшийся с яростным сопротивлением испанцев, которые никогда не проголосовали бы за папу-француза, больше не питал никаких иллюзий относительно своих шансов на тиару. Но, осторожно замечает Никколо, «как правило, кардиналы в большинстве своем думают одно, когда находятся внутри, и совсем другое — когда находятся снаружи; люди, хорошо знакомые со здешними обычаями, утверждают, что пока еще невозможно вынести окончательное суждение: подождем, чем все закончится».

В Риме обожали заключать пари, и ставки Джулиано делла Ровере росли не по дням, а по часам: 30 октября пари заключались из расчета «шестьдесят очков против ста», а 31-го к тому моменту, когда за конклавом кардиналов закрылись ворота Ватикана, они поднялись до «восьмидесяти против ста». Именно тогда стало известно, что двое из соперников делла Ровере сняли свои кандидатуры в его пользу, а Чезаре после беседы с кардиналом Джулиано убедил проголосовать за делла Ровере испанцев, составлявших четверть всей Священной коллегии. «Легко угадать, почему они успокоились, — пишет Никколо. — Герцогу надо вновь стать на ноги, а кардиналам надо разбогатеть». Макиавелли питал к прелатам не больше уважения, чем будет питать к ним Лютер. В Риме продавалось абсолютно все. Венецианский посол отмечал, что торговля велась в открытую, прямо среди улицы, а ведь разговор шел о суммах весьма значительных. У кардинала Асканио Сфорца, имевшего неплохие шансы быть избранным первым конклавом, деньги

кончились: это состязание его разорило.

Ночью от человека делла Ровере, остановившегося в одной гостинице с Никколо, Макиавелли узнал, что кардинал избран папой и принял имя Юлия II. Хотя Никколо не до конца поверил в правдивость полученного сообщения, он немедленно записал его. Но одно дело записать, а другое — отправить: «Все это дела настолько важные, что стоило бы послать к вам нарочного, но у меня нет на то вашего приказа, а решиться на такой расход без приказа я не могу (пусть Синьория узнает, думает Никколо, во что обходятся ее скаредность и нежелание дать посланцу право проявлять хоть какую-нибудь инициативу. — *К. Ж.)*. Здесь по ночам так неспокойно, что мне нельзя ни пойти самому, ни послать другого узнать, не отправляет ли еще кто-нибудь гонца во Флоренцию. Слугу, пришедшего из дворца, сопровождало двадцать человек с оружием»[31].

Рим и в обычные времена был городом с высоким уровнем преступности, но в то смутное время, когда французские наемники нападали на любого черноволосого человека, похожего на испанца, выходить из дома после захода солнца было чистым безрассудством. Если Синьория желает, чтобы Никколо был не просто «исполнительным служащим», чтобы он рисковал жизнью, пусть поощряет его рвение! «В наше время люди упорно трудятся для того, чтобы двигаться вперед, а не назад!» — воскликнет он, не скрывая своих чувств, когда в который уже раз будет требовать хотя бы возместить ему расходы, коль скоро нет возможности увеличить жалованье.

Но все же возбуждение, которое он испытывал от этой выборной гонки, заставляло его забыть об обидах. Он всю ночь не смыкал глаз в ожидании, подтвердится ли избрание Джулиано делла Ровере. Утром, когда стало ясно, что первоначальные сведения верны, перо его взорвалось восторгом: «сколь необыкновенными были эти выборы и это избрание», сколь «чудесными» шансы этого нового папы! Все партии, имевшие влияние на Священную коллегию, высказались в его пользу; с его именем согласились и короли Испании и Франции, постоянно сталкивающиеся на поле брани, и вечно враждующие группировки римских баронов Орсини и Колонна; «Сан-Джорджо (кардинал Риарио, сын Катарины Сфорца. — *К. Ж.)* поддержал его; Валентино поддержал его. Все способствовало его успеху».

Что же касается предвыборных обещаний, которые кардинал делла Ровере расточал всем, словно манну небесную, то папе Юлию II «предстоит немало хлопот, если он захочет выполнить все, что наобещал, потому что многие его обещания друг другу противоречат»[32]. Какое удовольствие наблюдать, как папа

станет выкручиваться! Никколо никому не уступил бы своего места даже в обмен на целое королевство; он почти забыл, что во Флоренции Мариетта в одиночестве вот-вот должна разрешиться от бремени их первенцем.

* * *

У Юлия II была репутация человека резкого, неудобного, однако умеющего держать слово и щепетильного в вопросах чести. Но вернет ли он, как обязался, Чезаре в Романью? Видимо, да, но с одной маленькой оговоркой: герцогство Урбино отойдет к племяннику нового папы, Франческо делла Ровере, приходящемуся племянником и Гвидобальдо да Монтефельтро, который сделает его своим наследником; в качестве компенсации дочь Чезаре от Шарлотты д'Альбрэ, его жены-француженки, выдадут за Франческо. В залог этого папа отдаст герцогу порт Остию. Кроме того, Чезаре может рассчитывать на титул гонфалоньера Церкви; почетное звание командующего папскими войсками поможет ему отвоевать свое государство, которое продолжало разваливаться на части. Кажется, именно этого он и ждал, поселившись вместе с сорока верными слугами теперь уже в самом Ватикане, в так называемых новых комнатах — тех, что вскоре будет расписывать Рафаэль, — прямо над прежними покоями Борджа.

В Риме все были заняты тем, что строили предположения относительно дальнейшего развития событий; многие не верили, что Юлий II сможет так просто забыть десять лет изгнания, которыми он обязан семейству Борджа. Никколо разделял мнение скептиков и начал опасаться, что «Чезаре даст себя обмануть, по свойственной ему смелой самоуверенности слишком уж полагаясь на честное слово других, думая, быть может, что оно должно быть прочнее, чем его собственное». Но вдруг он, Никколо, ошибается? «Надо довериться времени, которое и есть отец истины».

Никколо еще ни разу не высказывал более здравого суждения! Каждый знает, как нечасто сбываются прогнозы политических обозревателей и те, что считаются наиболее точными, можно признать таковыми исключительно post factum.

Нет недостатка в льстецах, готовых восхвалять «необыкновенную прозорливость» Макиавелли, «проницательность» его докладов и «ясность его суждений». С тем же успехом можно было бы говорить и о его близорукости, присущей всем, кто, подобно ему, жил в самой гуще событий и

вынужден был ежедневно «писать бумаги». Судите сами.

4 ноября Никколо сомневается в возможности (желании) Юлия II выполнить свои обязательства по отношению к Чезаре Борджа. 8 ноября ему кажется совершенно очевидным, что «Чезаре не получит жезла»: на первом заседании Конгрегации, где должны были подтвердить его титул гонфалоньера Церкви, говорили о чем угодно, только не об этом. Короче, считает Макиавелли, папа отступился от Чезаре.

Но 11 ноября Никколо выражает уверенность в том, что папа все-таки готов поддержать герцога, дабы помешать венецианцам прибрать к рукам Романью.

Кое-кто считал, что Юлий II ведет двойную игру: папа громко кричит о захвате Имолы венецианцами, негодует, но на самом деле замышляет вместе с ними устранение Борджа. Никколо отказывался верить в возможность такого предательства: бурные проявления папского гнева, по его мнению и по мнению кардинала Содерини, с которым он этот вопрос обсуждал, свидетельствовали об искренности понтифика. Естественно, учитывая все обстоятельства и то, скольким людям обязан был своим избранием, Юлий II вынужден был лавировать до тех пор, пока не сможет наконец свободно «обнимать, кого захочет». Но он твердо намерен остановить продвижение венецианцев и, если они не пожелают прислушаться к голосу разума и оказать папству должное уважение, готов остановить их даже силой. На кого, кроме Чезаре, папа, не имевший пока ни собственных денег, ни армии, лишенный к тому же помощи французов, увязших на берегах Гарильяно перед лицом испанских отрядов (за пышными приготовлениями к коронации никто и не подумал забыть о войне в Неаполитанском королевстве), может в этом случае рассчитывать? Это не значит, что Юлий II питал к Чезаре «живую склонность, но он щадил его по двум причинам: из необходимости сдержать свое слово, которое очень ценил, и из чувства признательности за то, что именно ему он во многом обязан своим избранием». Следует помнить и о главном: Чезаре «лучше, чем кто-либо другой, сможет противиться венецианцам». Доказательство: папа просит Макиавелли срочно передать Синьории свое пожелание, чтобы та даровала герцогу Валентино охранную грамоту и пропустила его армию через территорию Флоренции.

13 ноября Никколо повторяет: «Папу сдерживают обещания, данные герцогу, и желание не допустить, чтобы эти земли попали в руки венецианцев». Дату отъезда Борджа Юлий II определит вместе с кардиналами. Через два, максимум три дня Чезаре должен отплыть из Остии в Специю; он вступит в Феррару через

Гарфаньяно и оттуда направится в Имолу, где соединится со своими войсками, которые пройдут сухим путем через Тоскану, увеличив свою численность за счет пополнения, которое он надеется получить от Флоренции, Франции и папы.

Никколо считает это делом решенным. Он вновь обрел «своего» государя. Гроза, омрачившая 6 ноября их первую встречу, отгремела. Тогда, узнав о «разгроме герцогства Романьи» — такими словами флорентийская Канцелярия сообщала о нашествии венецианцев на Романью, — Никколо провел день в дипломатической горячке. «Речь идет уже не о свободе Тосканы, — внушал он папе и кардиналам, — но о свободе Церкви; как только венецианцам позволят стать еще сильнее — а они и так слишком сильны, — сам папа низойдет до роли их придворного капеллана».

Поддавшись порыву, он отправился и к Чезаре. Из простого любопытства, чтобы посмотреть, в каком состоянии герцог. Едва Никколо переступил порог, на него обрушилась не просто гроза, но буря, ураган.

— Твои синьоры — вот мои настоящие враги, — гремел Чезаре. — С какою-нибудь сотней людей вы могли спасти Имолу и прогнать венецианцев от Фаэнцы. Но вы не пожелали этого сделать! Ну что ж, вы первыми об этом и пожалеете! Имола потеряна. Пусть так. Я не настолько сошел с ума, чтобы собирать войска для того, чтобы вернуть ее и при этом лишиться всего остального. Я больше не намерен служить вам посмешищем! Я своими руками помогу Венеции уничтожить вашу Республику! И не надейтесь, что французы придут вам на помощь: даже если они не потеряют Неаполь, испанцы все равно создадут им столько трудностей, что им некогда будет заботиться еще и о вас…

«Все это было сказано словами, исполненными яда и страсти», под напором которых Никколо через какое-то время, показавшееся ему вечностью, вынужден был отступить. Не потому, что ему нечего было ответить, оправдывался он, но нельзя же спорить с буйно помешанным!

Однако назавтра Чезаре вдруг одумался и с кардиналом Содерини, которого призвал к себе, разговаривал более мягко, хотя и продолжал жаловаться на всех. В частности, на французов.

Никколо уверял, что хотел бы, чтобы Канцелярия дала ему знать, «как при всех случаях надо вести себя с этим герцогом, продолжать ли разговоры с ним и в каком духе»[33]. Ведь тот, обвинив накануне Флоренцию во всем, что творилось в Романье, говорил теперь, что готов «все простить и забыть», не вспоминать более о прошлом, а думать только об общих интересах и сделать так, чтобы венецианцы не смогли завладеть Романьей.

Но на самом деле Никколо Макиавелли снова поверил в Чезаре! И ему очень хотелось, чтобы Синьория разделила его веру, заняла ту же позицию, что и синьор Болоньи, сын которого 14 ноября написал Никколо, что «появление венецианских отрядов — событие настолько серьезное, что если единственным способом их остановить станет необходимость оказать поддержку герцогу, то, как я считаю, отец и вся Республика готовы сделать для последнего все от них зависящее».

Подобные вести приходили и из Феррары. Никколо доносит Синьории: «Д'Эсте подтвердил, что его отец не будет уклоняться». Но кардинал Содерини не может скрыть своего сомнения: разве герцог не станет соседом столь же — если не более — опасным, чем венецианцы? Кроме того, как следует понимать неопределенность намерений герцога, его подозрительность? И вообще он когда-нибудь покинет Рим? Некоторым кажется, что герцог помешался, «настолько он сбит с толку и нерешителен».

Но Никколо глубоко убежден, что вся нерешительность Чезаре исчезнет, как только Флоренция, в свою очередь, хоть на что-то решится.

* * *

Флоренция отказала! Отказала даже в охранной грамоте! Чезаре вне себя, а Никколо унижен. «Когда вы нам пишете, что этот человек все еще весьма бодр духом, здесь все потешаются над вами…» — дружески предупреждает его Буонаккорси. «Некоторые думают, что вы надеетесь получить кое-какую мзду; но это вряд ли удастся, потому что здесь надобно говорить не о том, как „ободрить" герцога, а о том, что могло бы его погубить». Во Флоренции считают, что папа стремится не помогать Чезаре, а просто удалить его из Рима.

Никколо обдумывает эту информацию. Юлий II и вправду весьма странно воспринял новость об отказе Синьории дать герцогу охранную грамоту.

— Хорошо, — сказал он и перевел разговор на другую тему.

Надобно давать задний ход! Не стесняясь повторить то, о чем его поставил в известность славный Буонаккорси, Никколо, передавая Синьории свой разговор с Юлием II, пишет: «Здесь твердо уверены в том, что папа хочет как можно скорее избавиться от его (Чезаре. — *К. Ж.)* присутствия, и поэтому говорят об отъезде его в Романью, а не куда-либо в другое место». Когда ты, как Никколо, только что стал отцом «красивого и толстого мальчика», похожего на «вороненка, так он черен», ты не

можешь доставить себе удовольствия перечить начальству и рисковать местом!

Однако нераскаявшийся грешник все-таки пренебрегает всякой осторожностью, чтобы подчеркнуть, насколько Юлий II якобы боится нарушить данное Чезаре слово. Папа, пишет Макиавелли, доволен, что отказ исходит от Флоренции, а не от него самого. Словам Макиавелли вторит посол Венеции, более прозорливый или, быть может, припадающий к иному источнику: «Папа занят тем, как бы погубить герцога, но не хочет, чтобы все выглядело так, будто инициатива исходит от него».

Бес не дает покоя Никколо и 19 ноября, когда он снова пренебрегает предостережением своего верного напарника Буонаккорси. Не в обиду будет сказано Флоренции, но Чезаре, докладывает Макиавелли, «бодр», как никогда. Герцог в Остии; он ждет попутного ветра, чтобы отплыть с пятьюстами солдатами, тогда как семьсот тяжеловооруженных всадников уже двигаются по направлению к Тоскане. Пусть Синьория будет начеку: герцог по злобе своей может отправиться в Пизу или заключить сделку с венецианцами и «если понадобится, с самим дьяволом», как он грозился поступить во время последней бурной встречи. В высших сферах должны помнить о венецианцах, от которых в настоящее время никто, кроме Чезаре, не может защитить Флоренцию. Французы не в состоянии показать им зубы, потому что «воды неба и земли» приковали их к берегам Гарильяно; папа, не имея ни армии, ни денег, может только «делать вид, что верит им», когда они заявляют, что остаются послушными сынами Церкви и что движет ими одна лишь ненависть к Борджа. Таким образом, Никколо по-прежнему всячески старается внушить Синьории мысль о заключении договора с Чезаре.

Однако начиная со следующего дня тон его писем меняется. Никколо словно прозрел, узнав об отъезде в Романью кардинала Рагузы, которому папа поручил вести переговоры с венецианцами и, возможно, заключить с ними соглашение, расплачиваться за которое придется, скорее всего, Чезаре. Секретарь Синьории пытается выйти из игры, в которой слишком сильно себя скомпрометировал: «Я снова повторяю, что если ваши светлости сочтете полезным, вследствие каких-то новых событий, поддержать герцога, то можете это сделать, но я не могу скрыть от вас, что папе будет приятнее, если герцогу не посчастливится…» Заканчивая письмо, он отказывается делать какие-либо предположения о судьбе Борджа: «Посмотрим теперь, куда занесут его ветра, что станется с его людьми и что вы решите»[34].

Ветра не донесли Чезаре Борджа даже до Специи. Не прошло

и трех дней, как все обернулось для него настоящей бурей. «Теперь герцог завершил свой бег», — пишет Никколо 26 ноября. Ходят слухи, что папа повелел бросить его в Тибр. «Я ничего не подтверждаю и не отрицаю, но вполне уверен, что если этого и не было, то будет потом»[35]. Папа, чувство чести которого Никколо превозносил несколько дней назад, утверждая, что тот «связан обещаниями и угрызениями совести», теперь «погашает свои долги ваткой от своего чернильного прибора»[36].

Кто-то говорил, что «если события никогда не подчиняются человеческим желаниям, то психологическая подоплека, страсти и движения души постоянно вмешиваются в равновесие лжи и правды, действия и бездействия; и все решает один только удобный случай…» Хотя Юлий II ненавидел Чезаре, он, быть может, — следуя кодексу чести или тому, что считал для себя выгодным, — намеревался все-таки пощадить или даже использовать его, но «удобный случай» распорядился по-своему. Полученное 21 ноября известие о взятии венецианцами Фаэнцы ускорило события. Папа, по слухам, не спал всю ночь. Рано утром у него был готов план, который мог, по его мнению, спасти Романью: поскольку венецианцы продолжали настаивать на том, что их действия направлены только против герцога Валентино, от тирании которого они хотели освободить Романью, все уладится, если герцог «номинально» передаст свои крепости Церкви. Ему их вернут, назначив наместником, как только венецианская угроза будет отведена.

Кардинал Содерини дал согласие отправиться вместе с кардиналом Сорренто в Остию для переговоров с Чезаре. Однако вскоре оттуда в панике прискакал курьер: герцог отказывается выполнить распоряжение папы, кардиналы в замешательстве. От гнева Юлия II содрогнулись даже стены Ватикана. Он приказал немедленно арестовать герцога и разоружить его отряды в Перудже и Сиене. Никколо с нетерпением ждал возвращения Содерини, чтобы узнать, что произошло на самом деле.

27 ноября Никколо сообщал во Флоренцию: «Мне известно только, что герцог в Остии в распоряжении папы», но 28-го уточнил: «Папа обнажил шпагу, и шпага эта начищена до блеска!» Чезаре под усиленной охраной доставили в Рим, и хотя о его дальнейшей судьбе еще ничего не было известно, Никколо предполагает, что она будет ужасной: «Грехи его мало-помалу привели его к наказанию, и да будет все к лучшему по воле Божией». Мы не можем знать, насколько искренно было это благочестивое утверждение и не продиктовано ли оно было желанием получить прощение за то, что он слишком часто восхвалял Чезаре!

* * *

Тибр не унес течением тело Чезаре, как в прошлом году унес тело молодого и прекрасного Асторре Манфреди, синьора Фаэнцы, которого Борджа приказал бросить туда с камнем на шее. Его поселили в покоях кардинала Руанского (который, безусловно, предпочел бы общество кого-нибудь другого), отведя ему комнату, в которой пять лет назад Микелотто[37], будь он проклят, убил Альфонсо Арагонского, герцога Бишельи, юного зятя Борджа, мужа Лукреции. Говорили, что, переступив порог, Чезаре отшатнулся и заплакал. Что это было: страх? угрызения совести? Кто знает?

Никколо Макиавелли не был свидетелем смятения герцога. Но он видел, как в прихожей Юлия II Чезаре унижался перед Гвидобальдо да Монтефельтро, только что приехавшим в Рим и принятым с величайшими почестями. Только тогда Никколо вместе с другими — удовлетворенными или потрясенными — свидетелями этой сцены смог измерить глубину падения Борджа: коленопреклоненный Чезаре с беретом в руке вымаливал прощение у ног герцога Урбинского!

Природная любезность и врожденное благородство Гвидобальдо не позволили ему насладиться этим унижением. Герцог Урбинский поднял своего врага и со слезами на глазах принял его покаяние. Покаяние, которое превратилось в бесконечную оправдательную речь *pro domo*[38]. Чезаре ссылался на свою молодость, неопытность, на «невозможность для гордой и пылкой души противиться соблазнам власти, пагубному влиянию советников и в первую очередь отца, папы Александра VI, который единственный в ответе за все его (Чезаре. — *М. Р.)* преступные деяния…». Рыдая, он клялся все исправить, если только ему дадут время.

Следовало ли верить тому, что, быть может, было только комедией? Подобное самоуничижение было очень похоже на обман. Чезаре оставался Чезаре, и доказательством этому стало длившееся много недель единоборство с папой за крепости, которые Борджа стремился сохранить, пусть даже ценой собственной свободы. Чезаре играл на чувствах герцога Урбинского — этим он покупал себе поддержку влиятельного ходатая, будущего гонфалоньера Церкви. Этот титул Чезаре так надеялся получить от кардинала делла Ровере, когда помогал тому стать Юлием II!

Может быть, прежняя мощь и прежняя слава Чезаре Борджа были только иллюзией? Сын Александра VI, заявлявший раньше, что желает быть *aut Caesar aut nihil*[39], может, и был именно

никем, а лишь блистательным авантюристом, которому Фортуна сначала служила, но которого затем покинула?

Никколо Макиавелли не мог не задавать себе эти вопросы.

Позже, спустя шесть лет после безвестной гибели Чезаре Борджа при осаде маленького местечка в той самой Наварре, где, спасаясь от ненависти испанцев, он скрывался у своего шурина Генриха д'Альбре, в трактате «Государь» Макиавелли скажет о нем:

«Обозревая действия герцога, я не нахожу, в чем можно было бы его упрекнуть; более того, мне представляется, что он может послужить образцом всем тем, кому доставляет власть милость судьбы или чужое оружие. Ибо, *имея великий замысел и высокую цель* (выделено мной. — *К. Ж.),* он не мог действовать иначе: лишь преждевременная смерть Александра и собственная его болезнь помешали ему осуществить намерение… В одном лишь можно его обвинить — в избрании Юлия главой Церкви. Тут он ошибся в расчете, ибо если он не мог провести угодного ему человека… то ни в коем случае не следовало допускать к папской власти тех кардиналов, которые были им обижены в прошлом или, в случае избрания, могли бы бояться его в будущем. Ибо люди мстят либо из страха, либо из ненависти… Поэтому в первую очередь надо было позаботиться об избрании кого-нибудь из испанцев, а в случае невозможности — кардинала Руанского, но уж никак не Сан-Пьетро-ин-Винкула. Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить великих мира сего позабыть о старых обидах. Так что герцог совершил оплошность, которая в конце концов и привела его к гибели»[40].

Чезаре оплошал из-за самоуверенности и, подобно его кондотьерам в Сенигаллии, из-за излишней доверчивости. Такое позволительно Вителлоццо, Орсини или Оливеротто, но не Борджа! Вот что разочаровывает Никколо: Чезаре сделал ставку и проиграл. Горе побежденному! И тут не будущий автор «Государя», но секретарь Флорентийской республики присоединяется к ревущей своре, чтобы принять участие в травле: «Пусть синьоры Флоренции действуют так же, как и другие, у которых есть причины жаловаться на Чезаре; пусть требуют возмещения убытков за ущерб, нанесенный Республике герцогом и его отрядами, пусть назначат прокурора» (то есть пошлют кого-нибудь вести судебную тяжбу. — *К. Ж.),* — советует он 14 декабря и возвращается к этой теме 16-го: необходимо принять решение по «делу Валентино».

Никколо без сожаления предоставил Чезаре его судьбе. Не просто без сожаления, но с равнодушным презрением. В Риме много и других забот: например, судьба французской армии в

Неаполе. Только одна строчка о герцоге в донесении от 12 декабря информирует Синьорию о том, что «Валентино по-прежнему там, где, как я говорил вам, он был 9-го (в апартаментах кардинала Руанского. — *К. Ж.*), и ждет решения судьбы своих владений в Романье».

О Чезаре не было новых известий и спустя четыре дня, кашляя и задыхаясь, как и все жертвы свирепствовавшей в Риме простуды, Никколо отправился во Флоренцию, к большой радости Мариетты, которая с любовью писала ему, что «не знает без него покоя ни днем, ни ночью».

«НАЧИНАНИЯ…»

Всем не угодишь. «Когда вы приедете, я подробно расскажу вам то, о чем не считаю возможным писать, — сообщал Бьяджо Буонаккорси, — вам достаточно знать, что существуют злые люди. Одним не нравится, что вы хорошо отзываетесь о Вольтерре (кардинал Франческо Содерини. — *К. Ж.),* другим — еще что-то…»

У Никколо есть верные друзья, их достаточно для того, чтобы уравновесить число недоброжелателей и ненавистников, которых хватает у всякого человека. Но слишком явная близость Макиавелли к власти превращает его в особо желанную мишень. Может статься, что и в козла отпущения.

* * *

Гонфалоньер Содерини доверяет только Макиавелли. Именно его, Макиавелли, сразу же по возвращении из Рима отправляют в Лион в помощь тогдашнему флорентийскому послу Никколо Валори: надо добиться, чтобы Людовик XII принял меры для защиты Флоренции и оказал ей финансовую помощь, в противном случае Республика «обратит свой взор в другую сторону», с глубоким сожалением, разумеется!

У Синьории были причины для беспокойства. Испанцы, судя по всему, не планировали ограничиться изгнанием французов из Неаполитанского королевства. Испания стремилась распространить свое влияние на всю Италию, и это могло окончательно подорвать позиции Франции, которая после захвата Милана доминировала на полуострове. В декабре 1503 года испанцы разгромили французов при Гарильяно и 1 января 1504 года взяли Гаэту, единственную крепость, гарнизон которой вместе с остатками отступавшей в Ломбардию армии сопротивлялся до последнего. Теперь следовало опасаться, что Гонсальво Кордовский продолжит наступать на север, дабы захватить и Миланское герцогство. В этом случае он должен был пройти через земли Тосканы и мог воспользоваться случаем, чтобы восстановить во Флоренции власть семейства Медичи, поскольку всем было известно, кому принадлежат симпатии испанцев. Пьеро Медичи, сражавшийся вместе с Гонсальво Кордовским, утонул в бурных водах Гарильяно, и это была единственная хорошая новость за все время неаполитанской кампании, но живы были еще двое других Медичи: кардинал

Джованни и его брат Джулиано.

Другой повод для беспокойства — мятежная Пиза, «готовая призвать на помощь силы ада, лишь бы досадить Флоренции», — скажет Никколо кардиналу Руанскому. Пиза вполне могла броситься в объятия Испании.

«…Постарайся лично убедиться, принимают ли французы необходимые меры, и немедленно напиши нам, высказав свое мнение о них», — было предписано Никколо. Может ли он лишить себя такого удовольствия?!

22 января, будучи проездом в Милане, Никколо выслушивает из уст Шомона, племянника Жоржа д'Амбуаза и вице-короля Милана, успокаивающие речи, а от одного хорошо осведомленного человека, имя которого из предосторожности он сохранял в тайне, получает тревожные сведения: Людовик XII значительно ослаблен, страдает от безденежья, армия его разлагается, а пехоты так и вовсе нет; враги же его «уверенно держатся в седле, свежи и бодры; удача и победа на их стороне».

При французском дворе, где Никколо появился 28 января, царило уныние. Получить аудиенцию у короля не было почти никакой возможности. Людовик XII был болен. Болен от огорчения, гнева и унижения. Вместо аудиенции Никколо и Валори получают приглашение в Королевский совет. Жорж д'Амбуаз, любезный и бодрый, просит их успокоить Флоренцию: «Вопрос о войне и мире будет решен не позже чем через неделю. Если, как мы все надеемся, будет мир, то флорентийские синьоры, будучи союзниками и друзьями Франции, могут считать себя в полной безопасности; если будет война, они должны знать, что отдан приказ об отправке в Миланское герцогство тысячи двухсот копий».

Одна тысяча двести копий! Посланцы были разочарованы. Как тут можно надеяться на победу?! Этого явно недостаточно для того, чтобы отбить атаки венецианцев, которые сделают все, чтобы предать Северную Италию огню и мечу и облегчить испанцам их задачу. Лучше делать ставку на мир. Но в мир Никколо Макиавелли — или Валори? — не очень-то верит: «Сами испанские ораторы говорят о нем как о деле решенном, но в этом случае я позволю себе не согласиться с общим мнением».

Никколо и Валори, не теряя времени даром, встречаются с разными людьми, проводят беседы и тайные совещания в домах членов совета, в приемной короля, а чаще всего в церкви. Их задача состоит в том, чтобы убедить двор и самого Людовика XII, который наконец соблаговолил их принять, что надо лучше вооружиться: «В Италии следует быть достаточно сильным, чтобы при необходимости иметь возможность продемонстрировать свое

оружие, и даже самые великие государи рискуют нанести ущерб своему достоинству, если вступают в переговоры, не имея армии». Необходимо также предупредить возможное опасное развитие событий и проследить, чтобы в договоре с испанцами, если такой договор все же будет заключен, не было упоминания о Пизе и чтобы король не договаривался с Венецией, которая обязательно его одурачит. Надо также приглядеться к снующим туда-сюда немецким послам, потому что Людовик XII намерен заключить союз с императором Максимилианом, и говорят, что дело это успешно продвигается. Испанцы же тянут. Гонсальво Кордовский скорее всего выступит против перемирия, которое может лишить его блестящей победы над Миланским герцогством, в результате которой он мог бы получить, например… титул вице-короля.

Никколо уже собрался уезжать, так и не поняв, что он может привезти с собой: мир или средства для ведения войны, средства, которые «неизвестно еще, обеспечат или нет безопасность Флоренции». Но в середине февраля из Лиона наконец пришло известие о подписании франко-испанского перемирия. Король был взбешен, унижен и клялся, что «если бы не боязнь нарушить данное слово, он не знает, что сделал бы…» Однако мир был заключен, и флорентийцы успокоились, потому что были включены в договор в качестве союзников Франции.

Эта дипломатическая миссия во Францию не изменила мнения Никколо о французах: он их не любит! Краткие характеристики из доклада «О природе галлов» жгут, как языки пламени: французы «непостоянны и легковесны», «скорее вздорны, чем мудры», продажны, неблагодарны и, естественно, высокомерны.

Макиавелли возвращается в Палаццо Веккьо, но только для того, чтобы снова уехать. Содерини отправляет его в Пьомбино добиваться от тамошнего синьора, «чтобы тот занимался не только своими делами, но и делами Флоренции». Сразу после этого Макиавелли едет в Перуджу. Бальони — владетель Перуджи, избежавший западни в Сенигаллии, — хочет отказаться от договора о командовании, на который ранее дал свое согласие. Почему? Никколо предстоит, «как-нибудь задев его», выяснить, о чем на самом деле думает кондотьер, что стоит за его отказом, и отделить правду от лжи. Эти поездки не принесли большого успеха, как, впрочем, и две последующие, когда Никколо отправился сначала в Мантую к маркизу Гонзага, поднявшему цену своей кондотта и требующему официально включить в договор весьма неудобный пункт о верноподданнических чувствах к Франции, а потом в Сиену к Пандольфо Петруччи, — и все потому, что Флоренция в панике искала защитников.

Для Флоренции и в самом деле наступили опасные времена. Ей грозило нападение наводившего на всех ужас кондотьера Бартоломео д'Альвиано, который вследствие франко-испанского перемирия оказался не у дел. Он мечтал обосноваться в Тоскане при поддержке явных и тайных врагов Флоренции. Синьория очень рассчитывала на Никколо, отправив его в Сиену к Пандольфо Петруччи. Надо было узнать всю правду: «Ты спросишь его совета, как поступить. Распространившись на эту тему, постарайся рассмотреть ее со всех сторон и в ходе разговора узнай, каковы намерения этого государя; ты, конечно, будешь в данном случае действовать с неизменно присущим тебе благоразумием».

Пандольфо Петруччи — это не «кто-нибудь», а человек, которого сам Чезаре Борджа считал своим самым опасным врагом. Беспощадный авантюрист, лишенный чести, совести и морали, но в то же время, если того требовали обстоятельства, блестящий придворный и политик как внутри страны, так и за ее пределами — словом, настоящий государственный деятель. Макиавелли писал, что в эту июльскую неделю 1505 года, проведенную в Сиене, ему часто казалось, что он «потеряет голову прежде, чем вернет ее во Флоренцию!»

Голову — может быть, но не время, потому что в Сиене он получил прекрасный урок политики! Мудрость, говорил Петруччи, которому Никколо пожаловался на то, что пребывает в полном замешательстве и смятении от невозможности с уверенностью судить ни о чувствах, ни о поведении других в настоящем и еще менее в будущем, состоит в том, чтобы «действовать сообразно каждому данному дню, а свое суждение о делах составлять с часа на час, если желаешь допустить поменьше ошибок, поскольку теперешние времена намного превосходят возможности нашего ума». Тактика весьма полезная для политиков, позволяющая оправдать любую смену взглядов и мнений, но также свидетельство замечательного ума синьора Сиены! Петруччи понял, что в меняющемся мире невозможно предвидеть будущее, основываясь только на знании и опыте прошлого; современный век не похож ни на какой другой, он не подчиняется правилам, которым следовал век ушедший, но постепенно вырабатывает свои собственные.

Пьеро Содерини хотел было послать Макиавелли еще и в Неаполь к Гонсальво Кордовскому. Было точно известно, что тот поддерживает Пизу, и существовали опасения, что он замышляет свергнуть флорентийское правительство, дабы с помощью Бартоломео д'Альвиано передать Тоскану «в подданство Испании». Однако такое поручение придавало персоне

Макиавелли слишком много веса, и Совет десяти воспрепятствовал его назначению.

* * *

«Знайте, что вас любят», — заявлял Франческо Содерини Никколо и в доказательство своего уважения и добрых чувств согласился стать крестным отцом второго ребенка Мариетты. Это было лестно, но опасно. Оба Содерини его «любят», следовательно, против Никколо все, кто не любит Содерини: партия Медичи, партия олигархов, которые считают, что этот слишком «демократичный» пэр предал их интересы, и все прочие хулители гонфалоньера, которого находят то слишком безвольным, то слишком смелым, и смелость эту приписывают влиянию Макиавелли. Даже в самом правительстве кое-кто поговаривал о том, что надо бы «отрубить» правую руку Пьеро Содерини, что послужит спасению Республики, благополучие которой подвергается опасности из-за многочисленных «начинаний».

Какова была роль Макиавелли в предпринятой в 1504 году и неудавшейся попытке изменить русло Арно, которая так дорого обошлась флорентийским налогоплательщикам? Те, кого приводит в ужас одна только мысль о том, чтобы поколебать миф о «необычайной прозорливости» Макиавелли, отказываются признавать за ним авторство столь безумного проекта, как план отвести воды Арно от Пизы, лишив город последнего пути доставки продовольствия и вынудив его капитулировать. Никколо даже был якобы против этой затеи Пьеро Содерини, который поддерживал ее с упрямством, часто свойственным людям от природы застенчивым, и протащил-таки ее через все советы.

20 августа 1504 года Никколо пишет доблестному комиссару Антонио Джакомини от имени Совета десяти: «Тебя уведомили вчера о принятом нами решении повернуть Арно к Торре-аль-Фаджано… Сим мы повторяем, что решение принято, и мы ждем, что оно будет выполнено; ты должен не только выполнить его, но и всячески доказывать его правильность. Тебе это говорится для того, чтобы в случае, если кто-нибудь из кондотьеров будет иного мнения, ты мог бы объявить им, что такова наша воля и мы желаем, чтобы ее исполнили не только делами, но и словами».

28 сентября Никколо (Джакомини, сославшись на лихорадку, подал в отставку) посылает подтверждение комиссару Тозинги: «Следует любой ценой продолжать работы и, вместо того чтобы бросить их, удвоить старания, дабы довести их до желаемого

конца, не жалея ни сил, ни затрат: нас призывают к этому так страстно, что и выразить нельзя. Следовательно, никто ни с вашей, ни с нашей стороны не имеет права дрогнуть…»

Можно ли свести роль Никколо к обязанностям простого писца? Если да, то почему именно теперь? Нельзя произвольно вычленять из официальной переписки Канцелярии, что является «подлинным Макиавелли», а что он писал под диктовку против своей воли. У нас нет оснований утверждать, что Никколо был противником этого проекта или сомневался в его успехе. То, что он поддерживал — и так энергично! — своим пером дело, которого не одобрял, и следил — и с каким усердием! — за его осуществлением, не может быть поставлено в заслугу нашему герою.

Идея сделать Арно судоходной с помощью системы шлюзов и каналов принадлежала Леонардо да Винчи. Она родилась еще тогда, когда да Винчи состоял на службе у Лодовико Моро и строил каналы в Ломбардии. Возможно, он мог поделиться ею с Макиавелли во время их встреч в лагере Чезаре, или в Имоле, или же в Чезене. Леонардо, создатель миланских каналов, инициатор строительства канала, связавшего Чезену с Порто Чезенатико, вырытого на средства Чезаре Борджа, мечтал о гигантской стройке с невероятными экономическими последствиями для Тосканы: о канале, который соединил бы Флоренцию и Пизу. «Если повернуть воды Арно, — писал Леонардо в своем дневнике на полях чертежей удивительных машин, придуманных специально для того, чтобы облегчить исполнение задуманного, — всяк, кто захочет, сможет найти себе сокровище в каждом клочке земли». Показывал ли он Макиавелли, как крутятся мельничные колеса, гончарные круги, машины для полировки оружия, как работают шелкопрядильные станки и лесопилки, черпающие свою энергию в силе воды? «Канал увеличит ценность земли, — говорил Леонардо. — Прато, Пистойя, Пиза, Флоренция и Лукка смогут зарабатывать на этом по двести тысяч дукатов в год и не откажутся, конечно, помочь осуществлению столь полезного предприятия…»

Хорошо мечтать о мире и процветании, но для Флоренции вот уже много лет единственной реальностью была война. Опустошив окрестности Пизы, заблокировав устье Арно с помощью трех нанятых в Провансе галер, флорентийцы грозили соседям страшной карой, если они вздумают прийти на помощь пизанцам, — но ничто не могло сломить Пизу, Пизу, которая — повторим слова Никколо — готова была призвать на помощь силы ада, лишь бы досадить Флоренции.

Непримиримая Пиза, которую во что бы то ни стало надо

было усмирить! Почему бы и не повернуть Арно, коль скоро, по мнению да Винчи, это возможно? Речь шла теперь не о том, чтобы ради общего блага связать Флоренцию и Пизу, но о том, чтобы лишить последнюю жизненно важного для нее водного пути, изолировать ее, уморить голодом, превратить из оживленного порта в агонизирующий город, гниющий в трясине в период дождей. Тогда она запросит пощады! Так можно будет победить врага, не проливая кровь, но высосав ее у него по капле. Это могло стать победой изобретателя над солдатом, природы над оружием!

* * *

В 1503 году Леонардо да Винчи вернулся во Флоренцию, должно быть, под влиянием Макиавелли и всего хода событий.

Звание главного инженера герцога Романьи — в то время Чезаре обладал еще немалым могуществом — придавало да Винчи вес в глазах Синьории. Энтузиазм Макиавелли довершил остальное. Содерини позволил себя убедить. Ведь если он одним ударом положит конец и войне, и могуществу Пизы, то тем самым укрепит свой пошатнувшийся авторитет и навеки обеспечит себе популярность и славу. Все вокруг кричали, что это безумие, очередная химера Леонардо. Не он ли, да Винчи, утверждал, что может передвинуть Баптистерий[41], приподняв его с помощью рычага?! Но гонфалоньер твердо стоял на своем. В конце июня Леонардо уехал изучать местность. В помощь ему Содерини отрядил Джованни Пифферо, отца Бенвенуто Челлини, который помимо своих обязанностей городского флейтиста делал модели мостов и машин.

К концу лета Леонардо закончил все карты, чертежи и расчеты — его участие в проекте на этом завершилось. Доверившись Леонардо, но не без «многих споров и сомнений», в лагере флорентийской армии признали проект полезным. «Дело это будет очень кстати, — говорилось в докладе, отосланном в Синьорию, — и если в самом деле возможно повернуть воды Арно или направить их по каналу, это, по крайней мере, помешает врагу нападать на наши холмы».

Все вроде было решено. Но не все оказалось столь очевидным на местности, где вскоре чуть ли не ежедневно стали возникать немалые затруднения. В кратчайший срок перегородить Арно плотиной, вырыть двойной канал для отвода речной воды в озеро близ Ливорно, а оттуда направить его к морю — казалось невыполнимым. Не хватало рабочих рук, а сроки поджимали:

погода начала портиться, и денег уже не было. Солдаты, в обязанности которых входила защита землекопов от нападений пизанцев, стремившихся засыпать ров по мере того, как его выкапывали, отлынивали от службы, которую считали скучной и недостойной. Когда во время паводка заполнился первый, только что законченный ров, заговорили было о победе, но когда вода спала и река вернулась в прежнее русло, все были просто потрясены. У строителей опустились руки, а солдаты были просто в ярости оттого, что им приходится топтаться у бесполезной трясины. Пизанцы же вопили от радости.

Однако Содерини продолжает упорствовать, и после бурных дебатов в Совете восьмидесяти работу решают продолжить. Нанимают новых рабочих, подрядчиков и «специалистов по водным сооружениям» из Ломбардии. «Придворный инженер» Макиавелли следит за всем и уверенно и щедро раздает приказы и технические советы: «Делать устья каналов как можно шире… тщательно выравнивать, дабы удалить все неровности… укрепить деревянную плотину, построенную поперек реки» и т. д.

3 октября Совет десяти, как и прежде рукою Макиавелли, поздравил комиссара, сменившего Джакомини на посту руководителя работ. Тот доложил, что осталось прорыть менее восьмидесяти саженей и второй канал, а с ним и вся работа будут закончены в течение шести дней, несмотря на то, что предстоит пройти самый тяжелый участок. А 26-го случилась катастрофа. «Дно пруда, в который должны были течь воды Арно, оказалось выше дна реки», — пишет Гвиччардини и замечает, что «часто план и его осуществление бывают весьма отличны друг от друга».

Флорентийцы были подавлены. Кардинал Содерини пишет своему *«carissimo»*[42] Никколо Макиавелли: «Мы крайне опечалены, что план с водами оказался столь ошибочным. Не может быть, чтобы в этом не было вины строителей, впавших в такое грубое заблуждение. А может быть, так угодно Господу во имя какой-нибудь скрытой от нас благой цели».

Небеса явно были настроены против Флоренции. Проливные дожди затопили стройку, и оттуда началось массовое бегство рабочих. За ними последовали еще остававшиеся там солдаты, которым надоело бездействие и постоянные задержки жалованья. Пизанцы тут же поспешили засыпать оставленные без охраны каналы. И в довершение всех бед галеры, стоявшие в устье Арно и закрывавшие вход в реку, были потоплены бурей.

Флоренция вложила в этот проект значительную сумму денег, а получила только разорение и позор. Нет ничего удивительного в том, что, стремясь обелить себя и своих друзей, кое-кто стал говорить, *a posteriori*[43], о своих возражениях, действительных или

мнимых. Джакомини, например, утверждал, что был против этой затеи и принял на себя руководство по обязанности «подчиняться отечеству», а затем вышел из игры. Если секретарь Совета десяти, как кое-кто ныне считает, разделял чувства комиссара, то и ему пришлось нелегко!

С уверенностью, однако, можно утверждать, что Никколо говорил своим друзьям — и Содерини в том числе — о том, что, по его мнению, кроме изменения течения Арно, существуют и другие способы уничтожить пизанцев.

* * *

Весной 1504 года гонфалоньер Содерини отклонил предложение Макиавелли реформировать армию и создать национальную милицию. Между тем эта реформа получила одобрение кардинала Франческо, брата гонфалоньера. «Не сомневайтесь, — писал кардинал к Никколо, — что когда-нибудь она, быть может, принесет нам славу». История с поворотом Арно, во многом случившаяся по вине дезертировавших солдат, еще раз доказала, как опасно полагаться на наемников, которые без колебаний могут покинуть свой пост и поле битвы. Народная же армия будет знать, что защищает Флоренцию и интересы родины. Храбрость, с которой она будет их защищать, возместит недостаток военного опыта. Один только факт ее существования заставит возможного агрессора задуматься. Речь шла о своего рода возврате к «республиканскому» прошлому Флоренции — хороший предвыборный лозунг! — но с учетом уроков, полученных от Чезаре Борджа.

Пьеро Содерини отклонил предложения Макиавелли и своего брата только из страха перед всеобщим возмущением. Такая реформа грозила потрясти умы и пробудить все прежние страхи: «Что будет, если эта „деревенская“ сила обратится против самой Флоренции? Что, если вооружившиеся округа станут требовать независимости?» и т. д. Более того, враги гонфалоньера могли обвинить его в том, что он рассчитывает использовать эту милицию в своих собственных целях. Флорентийцев пожирал навязчивый страх перед тиранией.

Однако идея переустройства армии понемногу утвердилась в сознании гонфалоньера, а в марте 1505 года необходимость такого переустройства стала и вовсе очевидной. Тогда во время одной из стычек с пизанцами швейцарская пехота обратилась в бегство, случайно столкнувшись с отступающей флорентийской кавалерией. Тактические ошибки капитанов, трусость и низкий

боевой дух солдат — все вело армию к «великому стыду», которым она в очередной раз себя покрыла. «Вновь завоевать утраченную честь… и вернуть Флоренции влияние и авторитет» становилось политически необходимым для гонфалоньера.

Изыскать способы исправить положение поручили Антонио Джакомини, избранному генеральным комиссаром. Макиавелли был послан в Перуджу, Сиену и Мантую, чтобы выяснить намерения тамошних правителей и по возможности заручиться их поддержкой.

Понадобилась еще одна унизительная неудача в сентябре под стенами все той же Пизы, на штурм которой наконец решилась Синьория, чтобы Никколо по поручению Содерини, но не имея, однако, официальных на то полномочий, приступил к новым для себя обязанностям вербовщика. С января по март 1506 года он колесит по контадо — флорентийской территории в узком смысле слова — от Муджелло до Казентино и в каждой деревне, на каждом хуторе убеждает крестьян и ремесленников принять участие в защите Республики. Вера в правоту этого дела, его собственная одержимость поддерживают силы Никколо, и впервые он не жалуется ни на холод, ни на ветер.

Все мобилизованные мужчины в возрасте от семнадцати до сорока пяти лет по предложению Макиавелли были объединены в роты, каждая из которых имела свое знамя, украшенное вышитым изображением флорентийской лилии; роты, в свою очередь, объединялись в батальоны. Ополченцев вооружили копьями, мушкетами, рогатинами и протазанами[44], снабдили головными уборами, камзолами, штанами и башмаками. Оставалось научить их маршировать в каре или строем, подчиняться командам и понимать язык труб и барабанов. Этому посвящались воскресные и праздничные дни.

Тяжкий труд! «Если кто-нибудь мне не верит, пусть приезжает и попробует сам: он увидит, что значит собрать вместе всю эту деревенщину», — писал Никколо, которого раздражало и нетерпение Синьории, и «закоренелое неповиновение» ополченцев, и их мелкие дрязги. Ко всему этому добавлялись обычные проблемы со снабжением и нехваткой командиров. «Если не прибудет вовремя оружие и мне не пришлют коннетаблей, я не смогу двинуться дальше», — бушевал секретарь. Он сражался в одиночку. Джакомини, уязвленный нападками, которые обрушились на него после «пизанского дела» — отказа швейцарцев войти в пробитую артиллерией брешь и захватить город, — несмотря на мольбы Никколо, подал в отставку, поскольку кое-кто требовал именно этого. В результате зарождавшаяся армия лишилась руководителя, способного

привести ее к победе.

В качестве главнокомандующего Никколо удалось навязать Синьории внушающего всем ужас дона Микеле — будь он проклят! — служившего прежде капитаном у Чезаре Борджа (вспомним, что его, помимо прочего, обвиняли в убийстве Альфонсо Арагонского, второго супруга Лукреции Борджа, и в устройстве западни в Сенигаллии). Никколо надеялся, что этот страшный человек будет неукоснительно следить за дисциплиной, которая в идеале должна быть железной.

Во Флоренции же многие по-прежнему воспринимали эту реформу как эксперимент, сомневаясь, необходима ли она, не несет ли в себе угрозу гражданскому миру и свободам. Но когда во время карнавала 1506 года пехотинцы контадо впервые прошли по улицам Флоренции, одетые в белое, сверкая на солнце панцирями, копьями и аркебузами, народ аплодировал, не жалея ладоней. Превратившись в зрелище, армия покорила общественное мнение — такова во все времена главная цель военных парадов.

Однако саму реформу узаконили только в декабре 1506 года, создав новую магистратуру — Комиссию девяти по организации ополчения, на «печати которой был изображен Иоанн Креститель с гравированными по кругу буквами его имени». Составляя устав, регулирующий деятельность милиции, Макиавелли предусмотрел все, вплоть до самой последней мелочи, чтобы уже в самих правилах можно было найти ответы на возможные замечания и критику.

«Велико должно быть ваше удовлетворение, что благодаря вам положено начало столь достойному делу», — писал ему из Рима кардинал Содерини. Да, Никколо был удовлетворен: его назначили — и по справедливости — канцлером Комиссии девяти и ответственным — а кто еще мог им быть?! — за «его» милицию; называли «мессером» и «Великолепным». Но кроме признания заслуг он не получил никакого материального вознаграждения, которого, как всегда, удостоился кто-то другой. В глазах же противников Содерини и «республиканского» режима Макиавелли был навеки заклеймен каленым железом.

* * *

Флорентийцы спорили и по поводу других «начинаний», в которых так или иначе был замешан Никколо. Они не затрагивали благополучие города, однако от этого не были менее важны для его репутации.

Отсутствие в трудах и переписке Макиавелли каких-либо размышлений об искусстве и о красотах родного города дает многим повод поверить в то, что он оставался глубоко равнодушен к этим проблемам. Это слишком поспешный вывод! Незачем искать в «Государе», «Рассуждениях…», в трактате «О военном искусстве» и других сочинениях Макиавелли страницы, достойные занять место в путеводителях по историческим местам и памятникам искусства. Тогдашних путешественников больше занимали характеры и нравы, чем декорации. Когда Макиавелли встречался с Петруччи в кафедральном соборе Сиены и, беседуя о политике, мерил шагами паперть или неф, он вел себя не как турист, восхищенно созерцающий черно-белую мозаику и готовый лопнуть от желания поделиться с кем-нибудь своим восхищением.

Да, без своего собора Сиена не была бы Сиеной, как Флоренция не была бы Флоренцией без колокольни Джотто. Но сиенцы и флорентийцы создавали не музеи, но среду, в которой жили. Искусство было для них воздухом, которым они дышали, землей, по которой ступали.

Для того чтобы в чьи-либо записи просочилось хоть малейшее упоминание об искусстве, этот кто-то должен был быть одним из богатейших государей или прелатов, что время от времени приобретали драгоценные вещи или делали заказы тому или иному художнику (хотя даже в записях Чезаре Борджа нет ни слова о том, что он думал о художественных сокровищах Урбино, которые он, захватив город, велел упаковать в ящики и повсюду возил за собой).

Простые граждане спорили об искусстве прямо на улицах и площадях, и в ситуациях исключительных, таких, как, например, открытие «Лаокоона» или установка «Давида» Микеланджело.

Весь Рим сбежался посмотреть на то, как в одном из виноградников города доставали из земли античную скульптурную группу, изображавшую сына Приама и Гекубы, жреца Аполлона, и двух его сыновей, которых душат две ужасные змеи. Восторженная толпа, охваченная чувством гордости за свою родину перед лицом воскресшего из небытия прошлого, под звон колоколов и залпы пушек замка Святого Ангела сопроводила усыпанную цветами повозку с новым трофеем Юлия II по украшенным флагами улицам от Капитолия до самого Бельведера.

За два года до этого события вся Флоренция сбежалась на площадь перед Палаццо Веккьо посмотреть на «Давида» Микеланджело, который для одних был символом мужества и храбрости Флоренции, сражавшейся за свою свободу с голиафами

того века — Францией, Священной Римской империей и папством, а для других — символом Республики, победившей тиранию Медичи и Савонаролы. Говорили о гениальности скульптора, чьим творением стала эта статуя. Задавались вопросом, не лучше ли было прислушаться к мнению Сангалло и да Винчи и поместить ее в Лоджию дворца Синьории, чтобы защитить драгоценный каррарский мрамор и чтобы она не «мешала проведению церковных празднеств». Гонфалоньер Содерини выразил свое удовлетворение, но заметил, что, по его мнению, нос несколько великоват. И тогда скульптор влез на лестницу и притворился, что тут же все и исправил!

Неужели из-за того, что Никколо не оставил нам никакого письменного комментария, можно всерьез делать вывод о том, что он никак не отреагировал на столь важное для города событие? Тем более если оно стало своеобразной точкой отсчета времени: сразу стали говорить, что то-то и то-то произошло до или после «Давида». Трудно поверить в это, тем более что статуя стояла на самом виду, по пути в Синьорию.

Можно предположить, что, движимый восхищением, которое питал к Леонардо да Винчи и его творениям, Макиавелли использовал все свое влияние на Содерини, чтобы именно Леонардо, возвратившемуся в 1503 году на родину, доверили роспись нового зала Большого совета. Синьория хотела запечатлеть подвиги Флоренции и попросила Леонардо изобразить сражение 1440 года при Ангиари, в котором флорентийцы одержали победу над миланцами. Канцелярия Макиавелли взялась предоставить художнику необходимые сведения. В «Дневниках» Леонардо мы находим подробный план, написанный рукой Агостино Веспуччи, одного из подчиненных Макиавелли, быть может, под диктовку последнего. Художник должен был следовать этому плану, призванному, скорее всего, обуздать его воображение.

Хотелось бы увидеть выражение лица Макиавелли, когда он впервые смотрел на картон да Винчи, который тот по своему обыкновению написал прежде, чем приниматься собственно за фреску! Леонардо пренебрег не только данным ему планом, но и правдой истории, во всяком случае, той, что мы находим в «Истории Флоренции»: «…При столь полном разгроме, при том, что сражение продолжалось четыре часа, погиб всего один человек, и даже не от раны или какого-либо мощного удара, а от того, что свалился с коня и испустил дух под ногами сражающихся»[45].

Никколо, поглощенный созданием милиции, ожидал, что фреска прославит военную доблесть, а да Винчи показал всплеск

жестокости. Никогда и никто не видел раньше ничего столь ужасного. Мечи рассекали облака и обрушивались на корчащиеся в страданиях тела; обезумевшие скакуны вставали на дыбы, их раздувающиеся ноздри извергали пламя, их истерзанные удилами рты издавали дикое ржание, люди падали им под копыта и были смяты их дымящейся массой; живые резали друг друга, мертвые тела сплетались в смертельных объятиях… Все кричало *o pazzia bestialissima* — животном безумии, войне. Той войне, которую так ненавидел Леонардо.

Макиавелли решительно не везло с да Винчи! Как инженер и художник он разочаровал Синьорию и отбил у Никколо всякое желание просить за него Содерини, когда тот, несмотря на обещание, данное Леонардо, что он один будет расписывать зал, решил поручить вторую фреску Микеланджело.

На этот раз Канцелярия ни во что не вмешивалась, и Микеланджело получил полную свободу в выборе сюжета. Результатом его трудов стала «Битва при Кашине», которую флорентийцы прозвали «Купальщики», потому что на ней было изображено, как пизанцы захватили врасплох флорентийских солдат, чья нагота позволила художнику продемонстрировать свой талант скульптора.

Флоренция с интересом наблюдала за «битвой картонов», в которой столкнулись восходящая слава и слава, подвергшаяся сомнению; сторонников у Микеланджело было больше, чем у да Винчи.

Однако ни одно из этих творений так и не украсило зал Большого совета. К великому гневу гонфалоньера, Леонардо, доведенный до отчаяния неприятностями, которые доставляла ему штукатурка (рецепт ее он, говорят, нашел у Плиния), в мае 1506 года покинул Флоренцию. Что касается Микеланджело, то как он мог противиться притяжению Рима и десяти тысяч дукатов, которые Юлий II обязался заплатить за свою грандиозную гробницу?! Дело с росписью зала Большого совета, ставшее причиной стольких волнений и всплеска страстей, было забыто, тем более что готовилась другая битва, гораздо менее академическая, чем «битва картонов»: Юлий II собирался воевать.

КОГДА ПАПА РИМСКИЙ ИДЕТ НА ВОЙНУ

Заняв свой досуг переложением в стихах «бедствий, которые перенесла Италия за последние десять лет, когда звезды всячески противились ее благополучию», Никколо был удостоен всяческих похвал. «Пиратские» издания его поэмы «Деченнали» множились, и друзья предсказывали ему блестящую литературную карьеру, которая принесла бы ему гораздо больше денег, чем труд «наемного работника». Но уже глубоко пораженный политическим вирусом, Никколо отверг славу и (кто знает?) богатство ради того, чтобы скакать вслед за Юлием II: летом 1506 года не Флоренция, как того желал Макиавелли в заключительных строках своей поэмы, а папа «вновь открыл врата в храм Марса»[46].

Юлий II пустился вскачь по дорогам Италии за своей химерой — светской властью. Чтобы ее иметь, требовалось силой вернуть Церкви ее владения, изгнать из государства тех, кто, подобно Венеции, незаконно занимал там место, а также вассалов, склонных считать себя абсолютными властителями, подобно Бальони в Перудже или Бентиволье в Болонье. Так Юлий II хотел доказать, что является наследником и продолжателем дела Александра Борджа, с той только разницей, что, сменив тиару на шлем и скипетр на шпагу, он не только благословил этот поход, но и сам его возглавил. Папа решился на это, потому что международная обстановка ему благоприятствовала и он мог рассчитывать на объединенную помощь Франции и Испании.

После войны в Неаполитанском королевстве политический климат претерпел множество изменений. Между прежде враждовавшими сторонами был заключен окончательный мир. Людовик XII отказался от Неаполитанского королевства в пользу своей племянницы Жермены де Фуа, которую выдал замуж за весьма кстати овдовевшего Фердинанда Арагонского[47]. Тот рассчитывал на союз с Францией в своем споре с зятем, Филиппом Красивым, за наследство Изабеллы Кастильской. Отношения же между Австрией и Францией, напротив, стали весьма прохладными. Людовик XII получил от императора Максимилиана за немалое количество экю титул герцога Миланского, но не исполнил обещания выдать свою дочь принцессу Клод за сына Филиппа, Карла — великого герцога Люксембургского (будущего императора Карла V).

Римский понтифик начал операцию под названием «Освобождение Папской области» только потому, что Венеция была слишком обеспокоена возможной высадкой императора

Максимилиана в Северной Италии, чтобы отвлекаться на события в Романье.

Не ожидая подкрепления, которое Юлий II запросил у ошеломленных Франции, Испании, итальянских государей и Флорентийской республики, папский отряд — кучка людей — 25 августа, спустя всего восемнадцать дней после того, как папа объявил о принятом им решении, выступил из Рима. Тем самым он лишил своих союзников возможности обдумывать и согласовывать свои действия и взял их за горло.

* * *

Уже 27 августа Никколо присоединился к понтифику в Непи. Юлий II сидел за столом и не был расположен говорить о делах. Флорентийский секретарь вынужден был ждать до завтра, чтобы уже в Чивитавеккья принести от имени Синьории извинения за то, что та не смогла предоставить в его распоряжение своего кондотьера Маркантонио Колонна, без которого, как она утверждала, не могла сейчас обойтись: «Война в Пизе… груз, давящий на нас еще сильнее, чем прежде… сокращение численности войск, к которому Флоренция была вынуждена прибегнуть, сохранив только строго необходимое для защиты своей территории, и единственный военачальник, Маркантонио…»

Не могло быть и речи о том, чтобы Флоренция слепо бросилась вслед за Юлием II в авантюру, которую все — включая приближенных папы — считали рискованной, но некоторые дипломатические предосторожности надо было все же предпринять.

Не только Флоренция пыталась охладить боевой пыл Юлия II. Венецианцы вооружились до зубов, якобы для того, по утверждению их посла, чтобы отразить возможное наступление Максимилиана, а на самом деле, чтобы испугать папу. Призванный папой маркиз Мантуанский[48] задерживался, что, по мнению некоторых, означало: король Франции устранился от участия в походе. Говорили, что Людовик XII обещал свою помощь очень неохотно и под давлением королевы Анны, которая, будучи очень набожной, желала угодить папе, но Людовик XII мог и отказаться от выполнения своих обещаний.

Никколо должен был распутать весь этот клубок интриг, разобраться в намерениях каждого и, если дело окажется серьезным, оценить силы папы. Последние были сосчитаны быстро. Что же касается плана Юлия II, то он был прост и ясен:

ничто не мешало ему занять Перуджу. Дальнейшее, по мнению Никколо, зависело от французов. Если папе не удастся расшевелить их, он может позвать на помощь Светлейшую — на это надеялись венецианцы, рассчитывавшие таким способом сохранить Римини и Фаэнцу, отобранные ими у Чезаре Борджа. Неопределенность не помешала Юлию II объявить о своем прибытии в Болонью и отдать приказ ее правителю приготовить квартиры для пятисот французских копий. Он — бессознательно или же для устрашения — всячески демонстрировал величайший оптимизм: у него была, как он говорил Никколо, «подпись короля» и ему этого было достаточно. Людовик XII и вправду повелел Шомону д'Амбуазу, правителю Милана, предоставить в распоряжение Юлия II все свободные войска.

Поход, в котором участвовал Никколо, больше напоминал папское турне. Юлий II, чтобы исключить в свое отсутствие любую возможность беспорядков, потащил за собой всех своих кардиналов и их семьи — в Риме остались только больные да беспомощные старики.

Форсированным маршем прошли Витербо, Монтефьясконе и Орвьето, покидая лагерь на заре или затемно, при свете факелов. Шестидесятилетний папа был неутомим. Везде толпы народа ожидали папского благословения, но в Орвьето ему устроили прием, который превзошел все. На главной площади посадили дуб — эмблему делла Ровере, — скрытый в его ветвях детский «хор ангелов» строфу за строфой повторял за приглашенным для такого случая «Орфеем», стоявшим у подножия дерева, латинские вирши, восхвалявшие понтифика. Полный триумф!

А когда добрались до берегов Тразименского озера, о «крестовом походе» и вовсе забыли. Папа не мог устоять против красоты этих мест. Он решает остановиться, отплыть в сопровождении нескольких кардиналов на острова и организовать приятную рыбалку под музыку. Другие предпочли охоту.

События, произошедшие по пути в Перуджу, действительно располагали к отдыху: Джанпаголо Бальони прибыл в Орвьето лично и принес заверения в своей покорности. Макиавелли не мог прийти в себя от удивления: синьор города Перуджи имел возможность без труда бросить вызов понтифику со своего укрепленного холма, возвышавшегося над долиной Тибра, а он бросился к его ногам! Сильный отряд Бальони, состоявший из всадников и пехоты, был в состоянии оказать сопротивление папской армии, а он предоставил его в распоряжение Юлия II!

Зная Джанпаголо, отсутствие у него всякой совести и его преступное прошлое, от этой кажущейся покорности можно было

ожидать всего или, по крайней мере, следовало быть начеку; но папа не принимал никаких мер предосторожности и, казалось, испытывал удовольствие от того, что лез прямо в пасть волку. Понтифик отпустил кондотьера из Орвьето под предлогом, что тому надо подготовиться к встрече, и 12 сентября на глазах потрясенного Макиавелли вошел в Перуджу лишь в сопровождении свиты прелатов, оставив свои войска за стенами города. Идеальная ловушка! Хотя объективности ради Никколо отметил, что войско Бальони стояло еще дальше от городских ворот.

В городе царила суматоха, благоприятствовавшая любому нападению. Носилки с папой не могли ни продвинуться вперед, ни отойти назад, настолько плотно окружила их восторженная толпа. Замешкавшаяся где-то личная охрана понтифика отдавала тем самым Юлия II в руки Бальони.

Но Бальони ничего не предпринимал.

«Я спрашиваю себя, каков будет исход дела: это выяснится за те семь или восемь дней, что папа будет оставаться в городе». Никколо не перестает искать объяснения странному параличу синьора города Перуджи. Между тем Юлий II не торопится уезжать, председательствует на множестве церемоний и склоняет различные кланы, доселе яростно сражавшиеся между собой, ко всеобщему публичному примирению. У Бальони было время для того, чтобы действовать. Но ничего не случилось. Упущена была такая прекрасная возможность, пожалеет впоследствии Макиавелли. «Людьми рассудительными, находившимися тогда подле папы, была отмечена дерзновенная отвага папы и жалкая трусость Джанпаголо; они не могли уразуметь, как получилось, что человек с репутацией Джанпаголо разом не подмял под себя врага и не завладел богатой добычей, видя, что папу сопровождают все его кардиналы со всеми их драгоценностями. Люди эти не могли поверить, что его остановила доброта или что в нем заговорила совесть; ведь в груди негодяя, который сожительствовал с сестрой и ради власти убил двоюродных братьев и племянников, не могло пробудиться какое-либо благочестивое чувство»[49].

Когда Макиавелли писал эту главу «Рассуждений…», где-то между 1513 и 1519 годами, он словно позабыл суждение, вынесенное им по горячим следам в докладе для Синьории: «Если он не сделал зла человеку, пришедшему отнять у него государство, то исключительно по доброте своей и гуманности!» Иронизировал ли тогда секретарь или думал о том, чтобы пощадить своих хозяев, которые намеревались воспользоваться услугами Бальони и не могли согласиться с тем, что поручают

защиту государства «человеку, отягощенному злодеяниями», убийце?

Ни то ни другое. Он дал волю своей неодолимой потребности понять, рационально объяснить поведение человека и переложить его на язык политики… а может быть, Макиавелли-чиновнику было необходимо подтвердить свои способности, заставить о них говорить. Странное поведение Бальони, охарактеризованное в «Рассуждениях…» словом «трусость», в письмах к Синьории получило разумное объяснение, превратившись во взвешенное политическое решение, пожалуй, одно из самых мудрых. Как-то раз сам Бальони сказал Никколо, что существует только одна альтернатива: сила или покорность. Если бы кондотьер захватил папу, против Бальони поднялась бы вся Италия; Франция и Испания вынудили бы его отпустить добычу; Бальони мог оказать сопротивление небольшой армии папы, но не коалиции. С другой стороны, он рассчитывал на поддержку, и немалую, в самом папском окружении: герцог Урбинский во время своей борьбы с Борджа нашел себе убежище в Перудже, а Гвидобальдо да Монтефельтро был не из тех людей, которые отказываются от друзей, еще меньше его можно было обвинить в неблагодарности. Отдав «все свои интересы в руки герцога Урбинского», докладывает Макиавелли Синьории, Бальони нашел наилучший выход из создавшегося положения и обеспечил себе максимальный выигрыш. Отметим: и он не мог бы найти себе более красноречивого защитника.

Что же до смелости Юлия II, то присутствие с ним рядом герцога Урбинского делало ее весьма относительной, хотя даже видимость ее поражала всех, увеличивая престиж папы и страх, который он внушал.

Вообще-то воспоминания современников противоречат тому, что пишет Никколо, который, как нам кажется, преувеличивает опасность и драматизирует события то ли для того, чтобы покрасоваться, то ли… ради красного словца. Многие мемуары говорят о том, что папа и кардиналы вошли в город в сопровождении «множества вооруженных людей, пеших и конных». Но как совершенно справедливо пишет Макиавелли во вступлении к «Рассуждениям…», «всей правды о прошлом узнать невозможно!» Многие считают, что отдаленность во времени является гарантией объективности, как будто бы шансы узнать истину обратно пропорциональны расстоянию. Но не забудем: Никколо эпохи «Рассуждений…» уже не тот человек, что следовал за папой осенью 1506 года[50]. Жизнь его помяла и побила. Его суждения о людях и событиях несут на себе отпечаток пережитого. Он переполнен горечью. Сарказм — оружие

отчаяния. Не учитывать этого — значит исказить смысл сурового заключения, сделанного Макиавелли спустя годы: «Так вот, Джанпаголо, не ставивший ни во что ни кровосмешение, ни публичную резню родственников, не сумел, когда ему представился к тому удобный случай, или, лучше сказать, не осмелился совершить деяние, которое заставило бы всех дивиться его мужеству и оставило бы по себе вечную память, ибо он оказался бы первым, кто показал прелатам, сколь мало надо почитать всех тех, кто живет и правит подобно им, и тем самым совершил бы дело, величие которого намного превысило бы всякий позор»[51].

Слова Макиавелли звучали в унисон с голосами других людей, которые, не скрывая своего негодования, стремились к большей чистоте в нравах Церкви. Он лил воду на мельницу Реформации, когда писал: «…Дурные примеры папской курии лишили нашу страну всякого благочестия и всякой религии. Что повлекло за собой бесчисленные неудобства и бесконечные беспорядки, ибо там, где существует религия, предполагается всякое благо, там же, где ее нет, надо ждать обратного. Так вот, мы, итальянцы, обязаны Церкви и священникам прежде всего тем, что остались без религии и погрязли во зле»[52]. «Сложные образования, такие, как республики и религии» нуждаются в изменениях, в постоянном обновлении, которое возвращало бы их «к началу». Макиавелли прославляет Франциска Ассизского и святого Доминика, апостолов бедности и чистейших источников веры, которые «не допустили, чтобы религия исчезла при попустительстве епископов и предводителей Церкви».

Некоторые считают, что эти строки были продиктованы Макиавелли не его верой, но его политическими убеждениями. Им можно ответить словами, которые Никколо написал в 1510 году о португальских маранах — евреях, оставшихся верными иудаизму, несмотря на насильственное обращение в христианство: «Очень трудно судить о том, насколько хороши или плохи религиозные чувства людей!» Конечно, Никколо Макиавелли, хотя и был воспитан набожной матерью, не очень прилежно посещал службы и, если верить его друзьям, вечное спасение его не заботило; не следует ждать от него особого религиозного рвения, как от тех итальянских реформаторов, что погибли на костре. Но достаточно ли этого, чтобы сделать из него безбожника? Область его интересов не теология, а политика. А последняя несет на себе отпечаток мощного антиклерикализма — настроения, которое разделяли многие современники Макиавелли. Главная задача Никколо — разоблачить беды, которые могло принести Италии честолюбивое стремление

папства к светской власти. Владычество Церкви, писал он, «сохраняет Италию раздробленной и бессильной» перед нашествиями варваров, к помощи которых она, Церковь, без колебаний прибегает, дабы утвердить свое господство над другими государствами.

…Однако еще не настало время сожалеть о том, что Бальони не стал национальным героем. Сейчас, в Перудже, Макиавелли испытывает совсем другие чувства. Увлеченный приключением и желая узнать, чем оно закончится, он скачет вслед за Юлием II и его кардиналами, которые тащат за собой «все свои сокровища».

* * *

Итак, Юлий II захватил Перуджу без боя и движется теперь к Болонье.

Что Людовик XII не хочет помогать понтифику в его предприятии против Джованни Бентивольо, поскольку владетель Болоньи считается его другом, — это еще мягко сказано! Маркиз Мантуанский попал в гораздо более деликатную ситуацию: Бентивольо — его родственник. Но что можно противопоставить папе, который утверждает, что осуществляет священную миссию, который заявляет, что начал войну, «чтобы освободить города Италии от тиранов и сделать их достоянием Церкви», и который будет считать себя «виновным перед Богом, если не использует все имеющиеся средства, чтобы достичь этой цели»?

Никколо вместе со всей курией выехал навстречу маркизу Франческо Гонзага, который, к величайшей радости папы, должен был прибыть в Перуджу в сопровождении сотни арбалетчиков. Несколькими днями раньше Никколо слышал, как презрительно Юлий II отзывался об угрозе, которую якобы представлял собой император и которую постоянно использовали венецианцы, чтобы напугать понтифика: «Эти венецианцы по своему усмотрению приводят императора в Италию и уводят его. Ерунда! Все образуется, если придет Мантуя и перестанет хромать Франция».

Наконец Мантуя здесь! Между тем все надеются, что Франческо Гонзага удастся убедить папу договориться с Бентивольо и отказаться от немедленного нападения на Болонью. Однако Макиавелли настроен весьма скептически: ничто не остановит Юлия II! Папа «до сих пор вел свое дело с необычайной горячностью, а теперь он весь — огонь».

Вместе с экспедиционным корпусом Никколо покидает Перуджу и углубляется в горы. Миновав 22 сентября Губбио, изнуренный кортеж вступил в дикое ущелье, ощетинившееся

утесами, к которым цеплялись могучие крепости; люди и животные с трудом продвигались по узкой крутой тропе, окаймленной оврагами и бездонными пропастями. Какое было облегчение выйти через два дня на менее крутые склоны долины Метауро! Наконец 29 сентября показались башенки дворца Урбино, напоминавшие каменный фонтан, устремившийся к небу.

Гвидобальдо да Монтефельтро приказал открыть городские ворота и пропустить папский кортеж. Папа расположился в герцогском дворце, этом «городе в городе», как описывает его Бальдассарре Кастильоне[53]. Теперь тут царила совсем иная атмосфера, чем в то время, когда Чезаре Борджа давал здесь Никколо ночные аудиенции. В великолепное жилище Гвидобальдо вернулись сокровища, украденные завоевателем. В течение четырех дней папа, страстно любящий искусство, любуется богатствами дворца и его сияющим изяществом. Тем временем в Болонье отказываются выполнить приказ папы отослать гарнизон; напротив, прошел слух, что его усиливают.

Святой Отец, возвращайся к своему святому Петру
И обуздай свои желанья
Уйти в поход, потом вернуться —
Позора больше, чем если остаться сзади!

Такую песенку распевают в Болонье и Венеции. Но папу не трогают ни оскорбления, ни угроза созыва собора, к поддержке которого Бентивольо намерен прибегнуть в случае, если папа решит отлучить его от Церкви, ибо французы говорят, что послали на помощь папе десять тысяч пехотинцев и тысячу копий, то есть гораздо больше, чем обещали.

Юлию II, которому не сидится на месте, этого вполне достаточно. Пренебрегая общим мнением, он отдает приказ двигаться дальше. Чтобы добраться до Чезены, минуя Римини — папа опасается венецианцев и не хочет терять времени, — он с небольшим кортежем решает идти через горы. Никколо предпочитает присоединиться к тем, кто двинулся обычным путем. «За те два дня, что понадобятся для того, чтобы добраться до Чезены, не может произойти ничего важного», — оправдывается он. На самом же деле ему просто не хочется снова идти по раскисшим от ледяного сентябрьского дождя дорогам и ночевать под открытым небом. Он оказался прав: из трехсот мулов, которые везли поклажу папы, только две сотни добрались до Чезены, настолько был труден выбранный понтификом путь.

В Чезене Юлий II принимает посланцев Болоньи, среди которых и личный секретарь Бентивольо. Никколо присутствует

при этом поворотном пункте всей драмы.

Болонцы ни живы, ни мертвы от страха. Они еще не пришли в себя от известия об убийстве в Болонье отца датария (начальника папской канцелярии). Это преступление могло подписать им смертный приговор, если бы советники папы не решили, что жизнь послов более полезна, чем их казнь. Вместе с тем послы нашли в себе смелость сообщить папе об отрицательном ответе своего государя. Чтобы обосновать его, они упомянули о прошлых договорах с предыдущими папами. Юлий II гневно отвечает, что ему наплевать на обещания предшественников. К тому же эти договоры, по его мнению, недействительны и не имеют законной силы, потому что были подписаны под давлением обстоятельств. Он, Юлий, наведет порядок. По доброй воле или насильно, но Бентивольо сдаст Болонью Церкви.

Никколо писал Синьории: «Что будет: мир или война, — выяснится в Чезене». Ультиматум папы — это война.

Четверо папских курьеров получили опасное поручение доставить в Болонью папскую буллу, предписывавшую семейству Бентивольо покинуть город и в течение девяти дней распустить свою армию под угрозой полного отлучения от Церкви. Чтобы обеспечить безопасность курьеров, посланцев Болоньи задержали в лагере папы «не в качестве заложников, но в качестве гостей» (у этой формулы большое будущее!).

Чем больше проходило времени, тем яснее становилось, что Бентивольо не сдастся. Папа теперь тоже не мог отступить от своего решения. Более того, он вынужден наступать без промедления, потому что владетель Болоньи спешно готовился к сопротивлению. Но Юлий II двигался к достижению своей цели настолько быстро, насколько ему это позволяли плохая погода, ревматизм и последствия «французской болезни», которой он страдал. Опасаясь нападения венецианцев, папа снова устремился в горы, выбрав самую неудобную из всех возможных дорог на Имолу. Макиавелли вместе с остальным двором встретил его там 20 октября.

Несколько дней спустя Маркантонио Колонна привел туда сто копий, поскольку колебаниям Синьории и, следовательно, миссии Никколо пришел конец. Макиавелли, как не преминули коварно заметить его враги, не многого добился. Ему пора было возвращаться во Флоренцию, чтобы там защитить свое место. «Постарайтесь приехать до того, как будут продлевать сроки полномочий», — писал ему Буонаккорси, как всегда, пекущийся о его интересах.

Судьба Болоньи была решена. Даже Феррара, несмотря на родственные связи герцога и Бентивольо, пришла в движение.

Бентивольо оставалось только попытаться спасти свою жизнь и имущество (его бесстрашная, но дальновидная супруга давно уже начала переправлять в Милан ковры и драгоценности). Шомон д'Амбуаз помог ему бежать. Папа как добрый государь и хороший политик разрешил ему *in fine*[54] удалиться в Милан под крыло Франции и увезти с собой все свое добро.

Таким образом, 11 ноября 1506 года Никколо не стал свидетелем триумфа Юлия II — «освободителя», «изгоняющего тиранов», как провозглашали триумфальные арки, воздвигнутые на всем пути блистательного папского кортежа, в котором следовали, помимо сановников курии, итальянские государи или их полномочные послы. Хотя Макиавелли и не увидел, как папа в пурпурном облачении, расшитом золотом и драгоценными камнями, в окружении толпы прелатов прошествовал через весь город на sedia — папском троне, используемом для церемоний, который несли гвардейцы, он вынес из этого странного предприятия урок, подтверждавший тот, что он получил от Чезаре Борджа, и, следовательно, незабываемый: «Часто дерзостью и стремительностью можно добиться того, чего невозможно получить обычными средствами».

«ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»

…Группа молодых дворян обедает вместе с Аламанно Сальвиати и Бартоломео Ридольфи, возглавляющими оппозицию правительству Содерини; вино льется рекой, языки развязались, сотрапезники всячески поносят mannerino — марионетку, подручного, сводника. «С тех пор как я вошел в Совет десяти, я ни разу не дал ни одного поручения этому негодяю», — утверждает Сальвиати. Mannerino — это о Никколо Макиавелли. Совершенно очевидно, что лестные слова, предпосланные «Деченнали», не смягчили Сальвиати, которому была посвящена поэма. Между тем Никколо искренне восхищался человеком, который когда-то умиротворил Пистойю и Вальдикьяну, — энергичным и властным, прозорливым гонфалоньером, пожизненное избрание которого Макиавелли радостно приветствовал тогда, когда только вводилась эта должность. Но восхищение Макиавелли по силе своей было сравнимо с недоверием, которое, в свою очередь, испытывал к нему Аламанно только потому, что Никколо был связан с братьями Содерини.

Сальвиати и его друзья не могли простить Содерини, что тот предал свое сословие и объявил себя «демократом» тогда, когда после падения Савонаролы они надеялись на триумф олигархической партии и мечтали навязать городу конституцию, созданную по образу и подобию венецианской, а также всемогущий сенат, все места в котором заняли бы они, оптиматы, члены могущественных семейств.

Эта оппозиция начала действовать более активно, когда Максимилиан Австрийский, мечтая воскресить прежнюю Священную Римскую империю[55], объявил о своем намерении провозгласить себя императором и короноваться в Риме. В этих условиях Флоренция должна была выбирать, какую внешнюю политику ей проводить. Оптиматы желали сближения с империей, может быть потому, что тут сказывались традиции, которые были еще живы в знатных семействах. Содерини же считал, что у Максимилиана нет никаких шансов добиться цели, потому что он никогда не получит согласие и финансовую поддержку от всех государей и городов Германии, без которых не может ничего предпринять[56]. Кроме того, Людовику XII не понравится, что императорская армия пойдет через Ломбардию, а французы — это реальная опасность, и с ней следует считаться. Противники же усматривали в настойчивой франкофильской политике Содерини желание кардинала[57] сохранить свои церковные бенефиции во Франции.

Юлий II, не доверяя Максимилиану (поговаривали, что тот хочет получить и тиару), пытался отговорить его от этой затеи, хотя и пообещал, что предоставит своему легату полномочия короновать Максимилиана в Риме.

Высадка в Италии императорской армии — что это, бахвальство или реальная угроза? Содерини решает отправить Макиавелли на разведку. Но оппозиция возмущена: почему снова этот чиновник? Во Флоренции достаточно родовитых молодых людей, будущих послов, для которых это прекрасная возможность попрактиковаться. Франческо Веттори, например, который тоже «хорошо пишет». Содерини уступает: пусть будет Веттори. Пусть он отправляется в Констанц-на-Рейне, где созван рейхстаг — имперское собрание, — но не в звании посла. Посла назначат тогда, когда дело примет серьезный оборот.

Друзья успокаивают Никколо: они рады, что Маккиа «послал императора к черту», как писал один из них.

Но игра еще не окончена. Если оппозиция опасалась того, что при императоре будет находиться человек правительства, объективность которого одним этим уже будет подвергаться ими сомнению, то Содерини боится теперь, что доклады Веттори из Констанца, сознательно или нет, будут лить воду на мельницу его врагов. Кроме того, сможет и захочет ли неопытный юноша противостоять требованиям Максимилиана, которому нужны деньги — много денег — в обмен на покровительство: император не сомневается, что ему удастся подчинить своей власти всю Италию. И Содерини решает все-таки отправить туда Макиавелли, чтобы проследить за Веттори и передать ему четкие инструкции: торговаться, торговаться и еще раз торговаться! Если придется давать деньги императору, то пусть сумма будет как можно меньше и передана как можно позже — тогда, когда он и в самом деле перейдет границу, — и частями.

Повод для того, чтобы послать секретаря Макиавелли, был найден: ненадежность почты, которую регулярно перехватывала полиция императора. Макиавелли должен доставить Веттори последние инструкции Синьории.

Никколо, выехавший в последних числах декабря 1507 года из Флоренции в Констанц через Савойю и Швейцарию, чтобы не попасться ни французам, ни венецианцам, и в самом деле передал инструкции Веттори, но устно. Опасаясь, что в Ломбардии его будут обыскивать, Никколо вынужден был уничтожить письма, которые вез. Если бы он был простым курьером, не знавшим содержания посланий, Веттори не получил бы нужные инструкции.

* * *

Чего не могли предвидеть ни Содерини, ни Сальвиати, так это того, что между Веттори и Макиавелли завяжется тесная дружба, основанная на взаимном уважении и восхищении. Оба говорили на одном языке, языке культуры, который стирает разницу в возрасте и происхождении, оба горели одинаковой страстью к политике.

Веттори не нуждался в Макиавелли, чтобы писать донесения — его перо было столь же элегантно и точно, как перо секретаря Канцелярии. Хотя донесения написаны рукой Никколо, но подписаны они Франческо, который говорит «я», упоминает о Макиавелли в третьем лице и представляется единственным собеседником императора и его советников.

Зато Веттори не стеснялся советоваться со старшим другом: «Мы с Макиавелли долго обсуждали это…» Более того, Веттори убеждает Синьорию, что присутствие Никколо ему необходимо, в то же время давая понять, что он остается главным: «Я послал Никколо в Тренто… Я поручил Никколо отправиться ко двору, наблюдать за тем, что там будет происходить, и докладывать мне, дабы я смог указать ему линию поведения…» Может быть, Веттори делал это, чтобы успокоить оппозицию, встревоженную тем, что ее ставленник в своих письмах подтверждает мнение Содерини о неспособности «нуждающегося императора» собрать армию, достаточно сильную для того, чтобы успешно воевать в Италии.

Веттори знал, что его анализ ситуации не нравится партии, которая желала бы, чтобы он иначе оценивал неуверенного в себе и своих вассалах императора, но тем не менее он пишет: «Если бы я был единственным, кто видит их такими, я мог бы думать, что ошибаюсь, но все — от самого мудрого до наименее толкового — все думают так же» и «если кто-то думает иначе, пусть приедет сюда или пусть его пошлют, и он увидит, если он мудр и честен, что меня нельзя упрекнуть в том, что я описываю события иначе, чем они происходят в действительности».

Письма Веттори содержат множество размышлений о том, как трудно вынести верное суждение о событиях, свидетелем которых являешься, и еще труднее предвидеть их последствия: «…Хотя день за днем мы видим, что происходит, нашему взору доступна только внешняя сторона событий».

Макиавелли скорее всего разделял эти скептические заявления, как и раздражение, которое доставляли им обоим их критики.

Хоть и нельзя «угадать правду» без того, что на языке Церкви

называется благодатью, друзья пытаются сделать это. Подобно военным корреспондентам, они едут в Тренто и Больцано, затем в Мерано, откуда по возможности часто, как того требует начальство, отправляют подробнейшие донесения. Источники их информации чрезвычайно скудны. И тогда, за неимением лучшего и чтобы хоть чем-нибудь занять время, они начинают свою игру и со страстью заставляют императора, папу, Францию, Венецию то отступать, то переходить в атаку, придумывают все новые ходы фигур и в конце концов принимают шахматную доску своего вынужденного безделья за реальное поле политической деятельности, на котором сталкиваются могучие державы. К тому же нет никаких свидетельств, что дела идут по-другому.

Веттори, для которого это была первая командировка, пытался найти в происходящем определенный смысл, а Никколо уже знал, что каким бы умным ни был наблюдатель и какими бы полномочиями он ни обладал, ему все равно не проникнуть в тайну поведения государей. Юлий II был таким же непредсказуемым, как Чезаре Борджа, но еще более непонятным оказался Максимилиан, безвольный император, собственные министры которого говорили, что «он разрушает сегодня то, что сделал вчера… и на его решения нельзя полагаться», потому что в его действиях нет никакой логики.

Прошло еще полгода, но Франческо и Никколо по-прежнему не обладали всей нужной информацией, потому что их держали в изоляции и следили за каждым их шагом.

Максимилиан между тем потерпел поражение во Фриуле. Венецианцы готовы были пропустить императора в Рим, но с небольшим эскортом, так как цели императорской армии были очевидны.

Неудача была оплачена подписанным в июне 1508 года прискорбным для Максимилиана перемирием, по которому Венеции отходили все завоеванные ею территории.

Конечно, император может пробудиться после этого еще более бодрым и крепким, чем когда-либо, писал Веттори (в угоду германофилам). Однако имперская мечта, кажется, теперь уже окончательно похоронена. Торг между посланцами Флоренции и людьми Максимилиана касательно участия Республики в его предприятии больше не уместен, по крайней мере пока. Миссия Никколо завершена, и он собирается вернуться во Флоренцию, тем более что страдает от болей в мочевом пузыре. Франческо при мысли об отъезде друга впадает в панику. Остаться одному в Тренто, где, как он признается, чувствует себя «словно на затерянном острове», выше его сил, он тоже болен. Кроме того, его дальнейшее присутствие здесь может повредить интересам

Флоренции. Если Синьория считает необходимым заключить договор с императором, пусть посылает настоящих послов! Они давно назначены — это Аламанно Сальвиати[58] и Пьеро Гвиччардини. Но гонфалоньер Содерини, опасающийся проимперских настроений послов, до сих пор задерживает их отъезд.

* * *

Франческо и Никколо чувствовали себя неуютно среди немцев, потому что не сумели наладить отношения, кроме самых поверхностных, с народом, характер и нравы которого сильно отличались от итальянских. В разгар зимы Макиавелли молнией пересек Швейцарию и считал, что за время двухчасового ужина понял то, что посол Савойи, опытный дипломат, не смог, по его собственным словам, понять за много месяцев. В Германии он не видел ничего, кроме кусочка Тироля, а языковой барьер не позволял выходить за пределы круга образованных людей, способных объясняться на латыни или на итальянском. Это обстоятельство, тем не менее, не помешало ему сразу после возвращения домой составить доклад «О положении дел в Германии», основные тезисы которого он повторил в «Рассуждениях о германских событиях» и спустя несколько лет в «Описании германских событий», которое стало «литературным итогом» двух предыдущих опытов. На этом «затерянном острове» Макиавелли увидел совсем мало, а на то, что увидел, смотрел, как будут говорить потом, «глазами Чезаре», но он понял главное: уязвимость императорской власти проистекает из отсутствия в государстве сильного центра, автономии вольных городов и архаичной организации армии.

«РАДИ ЧЕСТИ И СПАСЕНИЯ РОДИНЫ»

Синьория не дала Никколо времени подлечить его мочекаменную болезнь и понежиться в объятиях Мариетты, решив в очередной раз покончить с Пизой. Никколо, возвратившийся домой 16 июня 1508 года, 16 августа получил приказ отправиться в командировку. Приказ был подписан… им самим в качестве секретаря Совета десяти, и текст его был таков:

«Мы, Десять свободы и Балии[59] Флорентийской республики, свидетельствуем каждому, кто читает эти верительные письма, что предъявитель их действительно достойный уважения и просвещенный Никколо, сын Бернардо Макиавелли, наш секретарь, которого мы посылаем призвать и набрать в армию некоторое количество пехотинцев на территории Пизы. Вследствие этого мы приказываем всем вам, кто числится в реестрах военной милиции нашей республики, подчиняться означенному Макиавелли так же, как вы подчиняетесь нам…» и т. д.

Теперь Никколо, которому Бьяджо Буонаккорси присвоил звание «главнокомандующего», собирает отряды в Сан-Миньято и в окрестностях Пеши, чтобы затем напасть на пизанские нивы. Речь идет о том, чтобы уничтожить урожай и не позволить врагу убрать его. Эта операция не увенчалась успехом, поскольку уничтожение велось недостаточно энергично, с точки зрения Содерини. И вообще, покуда пизанцы получают помощь от Лукки, Генуи и более-менее открыто от Венеции, всегда готовой ослабить Флоренцию, своего торгового конкурента, их сопротивление трудно сломать. Плотины, перегородившей Арно в районе Сан-Пьетро-а-Градо и закрывшей Пизе выход к морю, было недостаточно для того, чтобы помешать подвозу в город продовольствия. Строят еще одну, на Мертвой реке, а милиция и кавалерия, стоящие лагерем в Сан-Якопо и в Меццане, перекрывают проход через долину Серкьо или через Кальчи.

Никколо успевает везде, даже на канал Озоли, где он и его пехотинцы «с Божьей помощью» смогли «установить три ряда кольев по пятнадцать в каждом ряду, соединенных с железными копьями, дабы пизанцы не могли ни вырвать их, ни сломать». Брод получился таким прочным, что довольный собой и своими солдатами Макиавелли заявляет, что «по нему могли бы пройти и полчища царя Ксеркса».

Милиция и правда держится хорошо. Люди «кажется, вошли во вкус службы», в лагерь из увольнений все возвращаются в назначенный день. Только один капрал вместе с дюжиной

подчиненных перешел на службу к венецианцам и пытается с помощью нескольких дукатов спровоцировать беспорядки в отряде. И это не может поколебать веру Никколо в боевой дух милиции, который выше, чем боевой дух наемников, ибо ее поддерживает любовь к родине. Но люди есть люди, и приходится пользоваться и пряником, и кнутом, примерно наказывать предателей и регулярно платить тем, кто верно служит.

Самый тяжелый фронт, на котором сражается Никколо, — это Синьория. Надо беспрестанно напоминать о задержанном жалованье, что часто доводит Макиавелли до отчаяния. Казначей и интендант в одном лице, он должен покупать солому, кирки и лопаты, заботиться о перевозке раненых и о подвозе хлеба: «… Короче, мы сидим без единого сольдо, а нам между тем надо есть!»

В верхах признают, что все заботы о блокаде Пизы лежат на плечах Макиавелли, но с него не снимают и обязанности разведчика и дипломата в отношениях с Луккой и владетелем Пьомбино, который служит посредником между Флоренцией и Пизой.

Никогда еще полномочия Никколо Макиавелли — он сам себе отдает приказы — не были так велики. Это раздражает Аламанно Сальвиати, назначенного в конце зимы военным комиссаром отчасти для того, чтобы облегчить бремя забот Макиавелли, а отчасти в угоду противникам Содерини. «Вы здесь не для того, чтобы приказывать солдатам», — возмущается комиссар. Бьяджо взывает к мудрости Никколо: «Самые могущественные должны быть всегда правыми. Надо оказывать им должное уважение. И ублажать их. Будь немного умнее!» Пусть Никколо напишет комиссару несколько писем, пусть не оставляет без внимания Комиссию девяти: «Все любят, чтобы им курили фимиам и уважали их; это ваша служебная обязанность, а сказать пару добрых слов и разок-другой спросить совета — значит доставить людям удовольствие и получить выгоду». Содерини через Бьяджо тоже призывает Макиавелли к терпению «из дружбы к нему».

Может быть, именно стараниям Аламанно Сальвиати Никколо обязан тому, что через месяц Совет десяти решает отправить его в Кашину к комиссару Никколо Каппони, в обязанности которого входило снабжение армии оружием и продовольствием. «Я знаю, что пребывание там будет менее опасным и трудным, но если бы я хотел избежать опасностей и тягот, то не покидал бы Флоренции. Итак, я прошу у Ваших Светлостей оставить меня в лагере, где я занят тем, что вместе с комиссарами решаю текущие дела, и где я могу пригодиться; там

же я буду не нужен и умру от отчаяния». Эта мольба произвела впечатление: больше и речи не было о том, чтобы отправить Макиавелли в тыл, далеко от армии, «его детища». И от театра военных действий, которыми он руководил, тем более что цель — победа над Пизой — была уже почти достигнута.

Но капитуляция пизанцев, которые четырнадцать лет успешно противостояли Флоренции, произошла не столько вследствие эффективности блокады, сколько из-за изменений в международном положении.

В декабре 1508 года Юлию II, дабы вырвать у венецианцев города и земли Романьи, по-прежнему находившиеся в их руках, удалось объединить против Светлейшей Францию, Испанию, Австрию и государства Северной Италии. Эта лига, провозглашенная в городе Камбре (откуда и происходит ее название), объявила своей целью «погасить… ненасытный аппетит венецианцев и их жажду владычества». Помимо папских городов Светлейшая удерживала земли империи: Фриуль, Верону, Виченцу и Падую, недавно захватила города и замки, принадлежавшие ранее Милану: Бергамо, Брешию и Кремону; на побережье Адриатики она владела портами королевства Неаполитанского. Против Венеции пришла в движение потрясающая своей мощью военная машина. Флоренция, призванная присоединить к ней свои силы, сослалась на войну с Пизой, чтобы сохранить нейтралитет.

И это послужило к ее выгоде. Пизанцы больше не могли рассчитывать на помощь Венеции, как, впрочем, и на помощь кого-либо еще в Италии. В час, когда могущественные державы, а также те, кто, подобно маркизу Мантуанскому, маркизу Монферрата, герцогам Феррары и Савойи, рассчитывал поживиться крошками с общего стола и рвал на кусочки Светлейшую, никому не было никакого дела до независимости Пизы. Более того, Людовику XII и Фердинанду Католику требовалось много денег, чтобы осуществить цель, стоявшую перед лигой, и они готовы были превратить в них свою «незаинтересованность» проблемами Пизы. Никколо лишь издали наблюдал за гнусным торгом, в результате которого Флоренция должна была, как напишет он во второй поэме «Деченнали», «наполнить их пасти и раскрытые глотки»; но в конце концов сто тысяч дукатов — это не такая высокая плата за то, чтобы убрать с дороги все препятствия.

Начиная с марта 1509 года пизанцы, предвидя возможное развитие событий, делают первый шаг навстречу. Мирные переговоры начинаются в мае, спустя неделю после поражения венецианцев в битве при Аньяделло, где армия Людовика XII

разбила войско, которым командовал злейший враг Флоренции Бартоломео д'Альвиано. «В один день, — скажет Макиавелли, — венецианцы потеряли все, что с таким трудом собирали восемьсот лет». Он в который раз показал себя хорошим пророком, когда говорил ранее о взятии Фаэнцы: «Или она станет дверью, которая откроет им всю Италию, или она станет их погибелью».

8 июня ликующие колокола Флоренции наполнили своим звоном всю округу. На площадях взметнулись к небу праздничные костры. Все плачут от радости, смеются, поют. Всеобщее ликование граничит с безумием. Никколо — в Пизе, куда он вошел вместе с сотней бойцов «своей» милиции, после того как завершились переговоры, прошедшие при его активном участии. Если бы он был в этот день во Флоренции, друзья с триумфом пронесли бы его на руках по праздничному городу! Теперь же они довольствовались тем, что письменно прославили его до небес как автора «этого прекрасного дела», «главную пружину» этой капитуляции; одни хотят посвятить ему речь, достойную Цицерона, другие не колеблясь называют его «самым великим пророком, когда-либо существовавшим у иудеев или у других наций».

Однако такая преувеличенная признательность не находит отклика в официальных кругах. Доклад от 6 июня, ставящий Синьорию в известность о благополучном завершении переговоров, подписан на латыни тремя генеральными комиссарами: Антонием де Филикайя, Аламанно Сальвиати и Никколо Каппони. Те же три подписи будут стоять и под договором. Имя Никколо Макиавелли не будет выбито и на мраморе рядом с именами комиссаров в память об этой победе. Секретарь — он и есть всего лишь секретарь. Не дай Бог, если успех вскружит голову обыкновенному человеку или он вообразит себя спасителем отечества потому только, что добился торжества «военного устройства, которое отвечает нашему стремлению „ради чести и спасения Родины“», как писал ему два года назад кардинал Содерини. Ведь тогда ему может прийти в голову потребовать, например, включить свое имя в списки на следующих выборах или, хуже того, прибавки к жалованью!

ТАЙНЫЙ АГЕНТ

Можно сказать, что император Максимилиан вовремя подоспел на помощь тем, кто по той или иной причине желал удалить Никколо Макиавелли от дворца Синьории. Они хотели бы послать его к черту, но отправили всего лишь в Мантую и Верону, которым вновь угрожали отряды венецианцев.

Взамен на присоединение к Камбрейской лиге Максимилиану были обещаны Падуя, Виченца и Верона, не считая Фриуля и других земель, которые он потерял, когда с войной вступил в Италию, чтобы короноваться в Риме, а Венеция преградила ему путь. Обещания были выполнены: после Аньяделло Людовик XII вручил ему ключи от всех тех городов, которые венецианцы оставили при своем отступлении к заливу. Максимилиан довольствовался тем, что направил туда своих чиновников в сопровождении небольших отрядов, дабы те вступили от его имени во владение ими. Максимилиан так вяло готовился к своему наступлению, что, устав ждать, Людовик XII вернулся во Францию вместе с большей частью своей армии, оставив в Венето только несколько отрядов.

В июле 1509 года венецианцы возвратились в Падую, восставшую против императорского владычества. Остальные города тоже были готовы броситься в объятия Светлейшей. Император, который мог дорого заплатить за свое опоздание, в августе наконец прибыл в Италию во главе тридцати тысяч человек.

Поскольку императорская армия уже находилась на итальянской земле, Флоренция не могла больше уклоняться от выполнения взятых на себя обязательств. Первая часть денег в счет сорока тысяч дукатов, выторгованных императором — результат переговоров, которые после отъезда Никколо из Тренто вели флорентийские послы, — была выплачена в октябре. В ноябре Макиавелли было поручено доставить в Мантую десять тысяч золотых флоринов — сумму, которая была оговорена в качестве второго платежа. Другое задание, которому первое служило своего рода прикрытием, заключалось в том, чтобы наблюдать за тем, что происходит в Вероне, где после неудачной попытки вырвать Падую из рук венецианцев обосновался штаб императорской армии. Пусть Никколо отправляется в Верону «или куда сочтет нужным, чтобы получить самые достоверные сведения, какие возможно».

* * *

…И вот Никколо в Мантуе, утонувшей в тумане, который поднимался от воды, окружавшей этот маленький город. Он остановился у некоего Джованни Борромеи, как ему и приказали, потому что именно туда должен был явиться посланец императора. Может быть, это будет тот же самый, что в октябре приходил за первой частью платежа и которого ему описали как человека в возрасте тридцати — тридцати двух лет, невысокого роста и упитанного, кучерявого, рыжеволосого и рыжебородого. Никколо следует опасаться всяких проходимцев, и потому он должен потребовать от порученца, кем бы тот ни был, удостоверить свою личность.

Первая часть операции прошла гладко. Правда, агент императора не был рыжим, но он предъявил письмо, написанное рукой его господина, в котором ему поручалось принять деньги, и выдал расписку. Однако Никколо не может сразу же отправиться в Верону, потому что ему надо дождаться еще одного посланца, которому он должен передать еще тысячу дукатов. Ситуация в Вероне развивается не лучшим образом и там вполне может разразиться такая же буря, как и в Виченце, которая, как стало известно Макиавелли уже в Мантуе, изгнала из своих пределов гарнизон императора.

Никколо не тот человек, который склонен терять время или проводить его, как нераскаявшийся рифмоплет, в работе над «Деченнали». Он пользуется отсрочкой, дабы побродить по городу, изучить настроения людей, а чтобы понять настроения двора, посещает дворец Гонзага, чтобы приветствовать маркизу от имени флорентийской Синьории. Изабелла д'Эсте в свои тридцать пять лет была еще очень красива. Леонардо да Винчи, по-видимому, был влюблен в нее до такой степени, что, испугавшись своего чувства, бежал из Мантуи, где скрывался после падения Лодовико Моро, своего прежнего хозяина. Она приняла Никколо «весьма любезно» в большом зале, где решала государственные дела, после того как ее муж попал в плен по пути на позиции артиллерии императора, осаждавшей Падую.

Франческо Гонзага, супруг Изабеллы, с августа томился в Венеции, в Торреселло — башне-тюрьме Дворца дожей, где по этому случаю сменили засовы и добавили решетки. Венецианцы наслаждались местью, заточив своего бывшего славного кондотьера в тесную и мрачную темницу как предателя, перешедшего на службу Камбрейской лиге. Получив известие о пленении Гонзага, папа бросил на землю шапку, проклиная святого Петра!

Изабелла была настоящей знатной дамой. «Nec spe nec metu!» («Без надежды и страха!») — гласил ее девиз. Осушив слезы, она твердо взяла бразды правления в свои руки. Она готова была перевернуть небо и землю, только бы освободить мужа. До сих пор ее усилия не приносили плодов, потому что Людовика XII, Юлия II и Максимилиана заботила не столько судьба несчастного маркиза, сколько возможность закрепиться в Мантуе под предлогом помощи женщине, оставшейся без защиты, и Изабелле приходилось прилагать массу усилий, чтобы держать их на расстоянии.

Перед посланцем Флоренции она не показала той озабоченности, которая ее снедала. Никколо не стал бы оплакивать судьбу маркиза больше, чем судьбу Чезаре Борджа. Маркиз стал жертвой своей безрассудной храбрости и своего стремления к славе, почему и решился в одиночку завладеть Леньяно, маленьким укрепленным местечком на берегу Адидже. Его захватили ночью на ферме, где он спал, не предприняв никаких мер предосторожности; враг выгнал его, как кролика, в поле, куда он выпрыгнул из окна в одной рубашке. Италия открыто смеялась над ним.

Как истинный гуманист, отстаивающий принцип свободы воли, Никколо возлагал на самих людей значительную часть ответственности за их счастье и несчастье, процветание или разорение. «Я предположу, что, может быть, судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину или около того она предоставляет самим людям»[60], — напишет он в «Государе». Судьба — это не что-то сверхъестественное, это сама природа вещей: человек не может ни уничтожить ее, ни безнаказанно ей противиться. Но он может «связать нити заговора», если пустит в дело свой ясный ум, свою волю и свою храбрость. В данном же случае маркиз Гонзага, храбрость которого нельзя отрицать, не показал себя ни умным, ни свободным от страстей.

Изабелла д'Эсте, напротив, подает пример доблести, необходимой для того, чтобы противостоять ударам судьбы. Она напоминает Никколо Мадонну Форли и его первые опыты в качестве посредника. Если Катарину Сфорца можно было сравнить с Минервой, то Изабелла д'Эсте была скорее похожа на Евтерпу[61], но от обеих исходила властная сила, и им приписывали большую ловкость в политике.

Во время своего протокольного визита Никколо хотел узнать, что думает маркиза о сближении, наметившемся уже в июле, между Юлием II и венецианцами, — настоящем ударе ножом в спину Франции. Но этот вопрос нельзя было задать напрямую: от

мира между папой и Венецией Изабелла д'Эсте наверняка ожидала освобождения своего супруга. Поэтому Никколо довольствовался разговором о Виченце. Изабелла не знала ничего сверх того, что знали все: войска императора были изгнаны оттуда без всякого кровопролития — это означало, что они бежали, как из Падуи. Что же касается Вероны, близости французов, то для них уже подыскивали квартиры и тысячи пятисот испанцев, стоявших гарнизоном в городе, будет достаточно для того, чтобы удержать веронцев в рамках благоразумия. Возразил ли Никколо — и это было бы весьма смело, — что народом обычно руководит вовсе не разум? Или же он приберег это соображение для Синьории, давая отчет о визите, в целом весьма его разочаровавшем.

Испытывая настоящее отвращение к Мантуе, «где изобилуют только лживые новости, и даже при дворе их больше, чем на площади», Никколо мечтает лишь о том, чтобы «пуститься бежать», дабы присоединиться к императору, где бы он ни находился, — но где он? — при условии, однако, что до него можно добраться. Такая оговорка навлекла на него насмешки во Флоренции. Бьяджо удивляется: Никколо никогда раньше не боялся идти на риск! Это значит, что там, во Флоренции, не отдают себе отчета в том, насколько небезопасно сейчас в Северной Италии, охваченной партизанской войной. Крестьяне поддерживают Венецию, на стороне императора остались только дворяне. Венецианские отряды уже замечены на самых подступах к Вероне. Если бы Никколо еще хотя бы на день отложил свой отъезд, все дороги были бы уже отрезаны.

В первых числах декабря 1509 года он прибывает в Верону. Конечно, императора там нет. Одни говорили, что он отправился в Инсбрук, другие — что в Аугсбург, где должен собраться сейм, скорее всего для того, чтобы весной вновь начать военные действия. Воюющие стороны смотрят друг на друга, как фаянсовые собаки: «Вот два монарха, один из которых мог бы воевать, но не хочет, а другой хотел бы что-либо предпринять, но не может».

Никколо убивает время, продолжая свои «рифмованные жалобы» — вторую часть «Деченнали», пишет письма друзьям и в обмен на любовные тайны Луиджи Гвиччардини рассказывает тому историю, в которую он попал из-за «нехватки супружеских ласк». Это приключение, реалистичность и непристойность которого Макиавелли усиливает для того, чтобы доставить удовольствие адресату, биограф может использовать только для того, чтобы подчеркнуть талант Макиавелли, соперничающий с талантом Банделло[62], талант, который искупает то, что во всем,

касавшемся супружеской верности, Макиавелли был всего лишь обыкновенным человеком.

* * *

В середине декабря, потому что ему нечего было делать в Вероне, Никколо вернулся в Мантую, где стал дожидаться приказаний новых приоров. Каждое очередное изменение состава правительства всегда и везде ведет к новым распоряжениям и установкам. Прежние приоры назначили возвращение Макиавелли на время, когда император покинет Италию. Новые, быть может, прикажут следовать за Максимилианом в Германию, чего Никколо очень опасается. Он не испытывает ни малейшего желания снова оказаться на «затерянном острове», как во время посольства с Веттори, потому что — он это знает по опыту и предупреждает об этом Флоренцию — император опять поместит его в какую-нибудь глушь. Максимилиан не любит, когда при его дворе рыщут агенты — и даже послы — иностранных держав, которые все являются осведомителями, чтобы не сказать — шпионами. Таким образом, пребывание его там будет совершенно бесполезно. Чтобы окончательно обескуражить Синьорию, Никколо заговорил о деньгах; ему их потребуется много, поскольку «в этих странах не у кого занять ни гроша».

Маневр удался, и Макиавелли разрешено вернуться во Флоренцию. Но разрешение на отъезд совпало по времени с тревожным письмом от Бьяджо Буонаккорси: пусть Никколо остается там, где находится! Ни за что на свете ему нельзя появляться во Флоренции, прежде чем не погаснет костер, который разожгли для него его враги! Никколо, должно быть, читал и перечитывал те строки письма Бьяджо, в которых шла речь о возможной гражданской смерти Макиавелли: «Завтра будет неделя, как тщательно закутанный неизвестный явился в сопровождении двух свидетелей к нотариусу консерваторов и передал ему уведомление — с требованием передать его властям, — в котором говорилось, что, будучи рожденным от отца и т. д., вы никоим образом не можете занимать ту должность, которую занимаете сейчас, и т. д.».

Надо думать, Бьяджо не было нужды выражаться более ясно для того, чтобы быть понятым. Это «и т. д.» не скрывало того, что было бы для Никколо тяжким откровением: он знал, о чем идет речь.

Биограф Маниовелли Томмазини делает из этого стыдливого «и т. д.» вывод о том, что тот был незаконнорожденным, и этой

версии придерживается большое число исследователей. Более скептически относившиеся к источнику, из которого почерпнул свои сведения Томмазини, думают, что Бернардо Макиавелли просто был несостоятельным должником коммуны. Это было в принципе «неисправимым изъяном» всякого, кто претендовал на административную должность. Но только в принципе, поскольку, по словам того же Бьяджо, которого, кажется, больше пугала шумиха, чем исход дела, такой прецедент уже был и «закон на стороне Макиавелли настолько, насколько это возможно».

Много шума из ничего. Никколо нисколько не встревожен тем, что, по словам Бьяджо, говорят и трубят о нем и обсуждают даже в борделях. Он возвращается во Флоренцию 2 января 1510 года и, как обычно, является в Палаццо Веккьо, где никто, похоже, не встревожен.

Для того чтобы поколебать правительство Содерини, нужно большее. По всей видимости, пытаясь дискредитировать его секретаря, целились в гонфалоньера. Напрасный труд. Никколо Макиавелли остался на службе в Синьории, Совете десяти и Комиссии девяти и в качестве представителя последней должен снова провести смотр солдат контадо — «ради чести и спасения Родины», как сказал бы Содерини, — потому что Юлий II вновь «развернул свои священные знамена», и на этот раз Флоренция опять рисковала попасть в вихрь новой войны.

ГОСПОДИН ПОСРЕДНИК

Как опасались одни и надеялись другие, Камбрейская лига приказала долго жить. Юлий II, несмотря на противодействие кардиналов-французов, простил Венецию и в феврале 1510 года подписал с ней сепаратный мир, нанеся тем самым Людовику XII удар в спину. Что это было? Очередная выходка непредсказуемого папы? Нет. Юлий II использовал лигу, чтобы заставить венецианцев преклониться перед папским троном, и вовсе не стремился окончательно уничтожить Светлейшую, про которую сказал однажды, что «если бы ее не существовало, надо было бы ее выдумать».

Получив благодаря французам и их союзникам все, что хотел, в Романье, он мог теперь думать о том, как с помощью Венеции очистить Италию от наглого французского присутствия. А поскольку не может быть войны без девиза, то на смену лозунгу «Смерть Венеции!» пришел лозунг «Варвары, вон!», принадлежавший, как говорили, маркизу Мантуанскому, но так точно выражавший мысли папы, что ему и приписали авторство. Население с радостью подхватило этот лозунг, поскольку армия Людовика XII, как и любая оккупационная — пусть даже освободительная — армия, вызывала только ненависть. «Италия для итальянцев!» — такая формула могла бы понравиться Никколо Макиавелли, если бы — вот парадокс! — не исходила от человека, который сам призвал чужеземцев в Италию.

«Эти французы лишили меня желания есть и пить», — жаловался Юлий II. Они лишили его даже сна. Папа ночи напролет бродил по своим апартаментам в Ватикане, стуча по полу палкой, которая часто опускалась на спины нерадивых слуг, невнимательных секретарей и, случалось, епископов, чьи речи имели несчастье не понравиться папе. Юлий II не просто вынашивал планы мести — он сразу начал действовать. Шахматная партия с Людовиком XII (который также не стеснялся в словах относительно предательства понтифика) еще не началась, а папа уже выдвигал свои пешки. Одну он поставил в Швейцарии, дабы быть уверенным в том, что Конфедерация закрепит за ним эксклюзивное право на ее солдат и оружие; другую в июле выдвинул в Испанию, отдав ей в единоличное владение Неаполитанское королевство и аннулировав тем самым буллу Александра VI, согласно которой оно было разделено между Испанией и Францией. Третью пешку папа двинул в Англию, рассчитывая на то, что освященная золотая роза, посланная им Генриху VIII, убедит юного короля высадиться на

французском побережье. Что касается Максимилиана, то не было никакой необходимости покупать его или обхаживать — папа утверждал, что «опасается его не больше, чем голого младенца».

Война еще не была объявлена, но никто не сомневался в том, что она скоро начнется. Об этом свидетельствовали даже Небеса: над Вечным городом пылала комета с хвостом в виде огненного меча, острием своим обращенного к северу. Римляне говорили, что грозный папа Юлий II бросил в Тибр ключи святого Петра, оставив себе только меч святого Павла. Не с мечом ли он велел Микеланджело изваять себя? Но статуя Юлия II, и поныне возвышающаяся на паперти кафедрального собора в Болонье, лишь грозит прохожим пальцем.

Флоренция оказалась между молотом и наковальней. И не она одна. С тех пор как Юлий II перешел от угроз к делу и решил завладеть Феррарой, герцог которой, Альфонсо д'Эсте, бывший союзником Франции и собиравшийся таковым и оставаться, отказался сложить оружие, маркизу Мантуанскому тоже было весьма не по себе. Призванный папой, который вытащил его из венецианской темницы, он рисковал навлечь на себя гнев короля Франции и — что еще хуже — гнев своей супруги. Изабелла д'Эсте приходилась герцогу Альфонсо родной сестрой, ее родственные связи и любовь к Франции, которую она не считала нужным скрывать, приводили папу в ярость, а Франческо Гонзага — в крайнее замешательство, тем более что Юлий II, дабы быть уверенным в его преданности, требовал в заложники его юного сына и наследника, что очень испугало друзей Изабеллы, прекрасно осведомленных о нравах понтифика. Дабы избежать необходимости принять чью-либо сторону, Гонзага сослался на страдания, которые перенес в тюрьме и которые так сильно подорвали его здоровье, что он не в состоянии действовать. Подобной лазейки не было у флорентийской Синьории, но у нее, к счастью, был Никколо Макиавелли.

* * *

Место флорентийского посла при французском дворе было вакантным; предыдущий посол был отозван во Флоренцию прежде, чем прибыл его преемник: ситуация не нова и создана была специально, потому что в тех непростых обстоятельствах давала Синьории время на размышления. Посланец без титулов и полномочий позволял «посмотреть, что получится». Никколо Макиавелли однажды уже играл эту роль в первое свое посольство во Францию, десять лет тому назад, но сегодня,

пользовавшийся безоговорочным доверием Содерини, он в некотором роде являлся личным глашатаем гонфалоньера.

Кроме официальной миссии, порученной ему Советом десяти, которая заключалась в том, чтобы заверить короля Франции в лучших чувствах Флоренции и объяснить ему, какие трудности испытывает Республика в создавшейся ситуации, Пьеро Содерини рассчитывал, что Никколо убедит Людовика XII заплатить за возможность для Франции удержать свои позиции в Италии продолжением войны с Венецией до полного уничтожения последней. Содерини даже лелеял мечту расширить границы конфликта. Король Венгрии, побуждаемый Людовиком XII, мог бы напасть на владения Венеции в Далмации. Потеря этих территорий навсегда разорила бы Светлейшую. За неимением лучшего пусть Никколо как следует объяснит Людовику необходимость «держать венецианцев в страхе, посредством чего папа и король Испании будут вести себя мирно, первый — потому что ему не хватает хорошего войска, второй — потому что он слишком далеко для того, чтобы напасть».

Но такое упрощенное видение ситуации не учитывало роль в происходящем самих людей и их страстей. Безусловно, разорение Венеции могло бы стать «отличным делом», как говорил гонфалоньер, но Людовик XII, уязвленный поведением Рима по отношению к нему, считал, что было бы лучше уничтожить папу.

Вот уж чего Пьеро Содерини ни в коем случае не хотел! Следуя его инструкциям, всю нереалистичность и противоречивость которых он сам не до конца осознавал, Никколо должен был одновременно подталкивать короля к продолжению войны с Венецией, невзирая на новую политику папы, и в то же время убеждать его «сделать все возможное, чтобы не разрывать слишком уж явно отношения с понтификом. Потому что, хотя дружба папы не стоит ничего, его ненависть очень опасна, принимая во внимание уважение, которым пользуется Церковь, и опасность, что, объявив ему войну *de directo*[63], можно навлечь на себя всеобщую ненависть…». К просьбам брата добавил свои и кардинал Франческо Содерини, умоляя «своего дражайшего» Никколо «следить за тем, чтобы этот государь пребывал в добром согласии с Его Святейшеством папой», считая, «что необходимо согласовывать их действия, хотя между ними иногда и случаются кое-какие разногласия».

После трех дней пути 18 июня 1510 года Никколо во второй раз оказался в Блуа, любимой резиденции Людовика XII. Место это никак не могло поразить его своим великолепием — в Италии было много дворцов более величественных и роскошных, хотя для нового главного корпуса, наконец законченного, позаимствовали

у итальянцев все декоративные мотивы, а сады, террасами спускавшиеся к Луаре, были созданы, как и сады Амбуаза, итальянским садовником Пачелло ди Меркольяно. Макиавелли был знаком с нравами двора, знал, как манипулировать придворными, важными и не очень, вплоть до точного размера взяток, которые следует давать тем или другим. Между тем ему уже не придется иметь дело ни с Жоржем д'Амбуазом, ни с его привратником. Кардинал Руанский, «истинный король Франции», скончался в мае к величайшей радости Юлия II. Никколо не мог предвидеть, что к концу своего посольства будет отчаянно сожалеть о смерти этого опасного противника, с которой и Франция, и Италия потеряли так много! Осиротевшим Людовиком XII руководят двое: архиепископ Парижский, «человек спокойного характера и считающийся мудрым», с которым можно разговаривать, потому что он, по мнению Никколо, здраво судит о создавшейся ситуации; и по-прежнему могущественный Флоримон Роберте, казначей, влияние которого на короля известно всем послам, как, впрочем, и его продажность и бессовестность.

Роберте принял подношение — треть от десяти тысяч дукатов, которые обычно выплачивались кардиналу Руанскому, — но оно не смягчило его плохого настроения. Юлий II использовал все возможное для того, чтобы навредить Людовику XII: он поддерживал смутьянов, которые стремились освободить Геную от французского владычества, и подстрекал к этому флорентийского кондотьера Маркантонио Колонну. Последний во главе армии понтифика двигался к Генуе, имея пропуск, выданный Флоренцией, надменно упрекает Роберте ее посланца. Как примирить позицию правительства Флоренции, не дающего себе труда даже предупредить короля о том, что замышляют против него в Италии, с наивными речами флорентийского секретаря, стремящегося убедить того же самого государя в том, что гонфалоньер Содерини «желает только трех вещей в мире: славы Божией, счастья своей родине и счастья и славы Его величеству королю Франции и что он не может поверить, что его родина может быть счастлива, если счастье и слава отвернутся от французской короны»?

Никколо уверяет казначея в искренности своего правительства: да, по просьбе папы Колонне был выдан пропуск, но не в Геную, а в Болонью. Кроме того, кто во Флоренции мог вообразить, что между папой и королем возможно хоть малейшее недоразумение? Наконец, здесь и говорить не о чем — если бы Синьория узнала, что против Франции задумывается что-то серьезное, она не преминула бы поставить об этом в известность

короля.

Роберте как будто бы смягчился, но оставалось еще развеять недоверие Людовика XII:

— Секретарь, я не испытываю вражды ни к папе, ни к кому-нибудь другому, но сегодня ненависть и дружба зарождаются так внезапно, что я прошу твоих Синьоров без промедления заявить о том, что они на моей стороне, и уточнить, какие меры они предпримут и насколько те будут серьезны в день, когда папа или другая держава начнет притеснять или сделает вид, что притесняет одно из моих итальянских государств…

Людовик XII требовал от Флоренции немедленного ответа. Он «хочет знать, кто в Италии ему друг, а кто враг».

— Король высадится в Италии даже среди зимы, — сказал секретарю Роберте.

Ибо начиная с июля речь шла уже не просто о «разногласиях», о которых сожалел кардинал Содерини, не желая признать их неразрешимость. Франческо делла Ровере, юный герцог Урбинский, племянник папы, назначенный им главнокомандующим Церкви, не без успеха атакует Феррару. Многочисленные претензии, накопленные Юлием II в отношении Альфонсо д'Эсте, герцога Феррарского, как будто бы оправдывали желание папы покарать непокорного вассала; но на самом деле понтифик стремился в лице этого самого надежного и хорошо вооруженного союзника короля в Италии унизить и ослабить Людовика XII. В то время как герцог Урбинский занял значительную часть территории к югу от озер Комаккьо (соляные разработки в Комаккьо были одним из *casus belli*[64] папы и герцога д'Эсте), Ломбардии угрожала тысяча спустившихся с Альп швейцарцев, оплаченных понтификом.

При французском дворе, как и в курии, кое-кто находит, что надо еще подлить масла в огонь. «Ваши Светлости могут себе представить, что здесь говорят о папе, — пишет Никколо 21 июля, — говорят не меньше, чем о том, чтобы разорвать клятву повиновения папе, собрать Собор и уничтожить как его светскую, так и духовную власть». Однако люди разумные сожалеют о том, что «прежние друзья смертельно враждуют между собой». Архиепископ Парижский сказал Никколо: «…если начавшаяся война затянется, то она будет такой великой и яростной, какой давно уже не видывали». Даже посол папы признает, что «при мысли о том, сколь яростно противники будут наступать и защищаться, у меня мурашки бегут по коже».

Никколо, находясь под впечатлением от услышанного, умоляет Синьорию, которая вот уже месяц молчит, как немая: пусть она хоть как-то проявит себя в этой ситуации, если хочет

сохранить поддержку Франции, — собирается ужасная буря. «Удар, который нанес французам папа, настолько серьезен и так задел короля, что тот или отомстит за него оглушительно и полно, или потеряет в этом предприятии все свои итальянские владения». При одной мысли о том, как огромная и неудержимая армия переходит через Альпы, чтобы в который уже раз опустошить итальянские земли, посеять разорение, отчаянье, смерть, всех и вправду бросает в дрожь.

* * *

Людовик XII и Юлий II заявляют о своем желании разорвать друг друга, но Роберте и папский посол не теряют надежды их примирить. В начале августа это кажется вполне возможным. Попытка папы поднять мятеж в Генуе провалилась. Венецианский флот, пришедший поддержать это предприятие, вернулся восвояси. Англия, на которую Юлий II рассчитывал, что та, со своей стороны, нападет на Францию, напротив, подписала в Блуа мирный договор в присутствии всех послов и на глазах у Никколо. Это должно умерить пыл понтифика и дать ему понять, что «откусить этот кусок гораздо труднее, чем он себе воображал». С другой стороны, и короля можно убедить в том, что если он нападет на Церковь, то восстановит против себя весь мир. Людовик XII говорит папскому послу, пришедшему к нему с речами о мире (побуждаемый, кстати, к этому Никколо, не считавшим себя ни судьей, ни чьим-либо сторонником, но только посредником):

— Папа нанес мне удар, и я готов перенести все, что угодно, лишь бы не утратить собственную честь и честь моего государства. Но я клянусь вам, что если папа проявит ко мне доброту величиной хотя бы с ноготь, я, со своей стороны, готов проявить к нему доброту размером с руку.

Следовательно, «все может уладиться, но при условии, что найдутся достойные доверия миротворцы, которые захотят вмешаться в это дело во имя христианского мира в целом и во имя Италии в частности», потому что ни один из этих двух упрямцев не сделает первого шага.

Взоры Франции обращаются в сторону Флоренции. Кардинал Франческо Содерини, находившийся в Риме, кажется подходящим человеком. Джованни Джиролами, поверенный в делах кардинала во Франции, согласен отправиться в Палаццо Веккьо и предложить Синьории посредничество между папой и королем, которое она может представить как собственную инициативу. Ни

в коем случае нельзя давать понять, что шаг этот был подсказан Францией.

Роберте сообщает Никколо о принятом решении. Тот с ним согласен, но дело может уйти из рук секретаря, а во Флоренции и без того считают Макиавелли совершенно бесполезным. И он берет ситуацию под свой контроль.

— Мне надо, — говорит он Роберте, — написать синьорам, что его величество согласен на то, чтобы они взяли на себя инициативу. Если король не хочет сказать мне об этом сам, пусть от его имени выступит один из его советников.

Это был правильный ход. Роберте соглашается поговорить с королем. Людовик XII, подогретый своими советниками и мольбами королевы Анны, которая, будучи доброй католичкой, больше всего боялась столкновения с папством, выразил свое стремление к миру: пусть Флоренция посредничает, но переговоры должны вестись в тайне. Итак, Никколо мог доложить своим начальникам и о своем участии в этом деле, вернув таким образом Джованни Джиролами роль простого посланца.

Макиавелли не сомневался, что действует в соответствии с общим направлением политики Содерини: сделать все, чтобы избежать разрыва между королем и папой. Между тем тому надо еще получить согласие приоров и заставить замолчать оппозицию, решившую поддержать папу, потому что последний обещал им сменить правительство.

Страх — хороший советчик. Никколо в своем послании во Флоренцию подчеркивает решимость короля, «его усиленные приготовления»: созыв всех прелатов королевства на Собор в Орлеане, дабы вывести Францию из-под омофора[65] Рима; приглашение императору принять участие в весенней кампании. Его величество поклялся Максимилиану «душой в том, что он либо потеряет свое королевство, либо коронует императора в Риме и поставит туда удобного ему папу». Сообщает Макиавелли и о полученном от короля Испании письме, «источавшем мед и сладость», в котором тот выражает сожаление по поводу событий в Генуе. В конце своего доклада Никколо, знавший, кому он пишет, не преминул сыграть и на гордыне адресатов: «Ваши Светлости могут теперь оценить, сколь велика будет перед лицом Бога и людей заслуга того, кто своей мудростью сможет предотвратить столь губительное столкновение».

Но во Флоренции, где внимательно следили за развитием событий, осторожные политики, подобные Веттори, думали, что папа и король просто разыгрывают нечто вроде партии в покер. Юлий II блефует: у него в руках нет ничего, кроме обескровленной Венеции. Со своим другом Веттори откровенен:

хорошо бы, «чтобы король захватил Болонью, развил свой успех, изгнал папу из Рима, и мы покончили бы со всем этим кривляньем, пусть даже все полетит к черту».

Никколо не колеблясь высказывает похожее мнение в докладе от 18 августа: «Было бы желательно, чтобы наши поганые священники в свою очередь узнали уже в этом земном мире, что значит сносить обиды». Вся загвоздка в том, что Флоренция находится там, где находится, и надо быть реалистами: Людовик XII далеко, а папа совсем рядом. Если разразится война, загнанная в тупик Синьория будет вынуждена принять одну сторону, «несмотря на все обязательства перед другой стороной», — осторожно пишет Никколо. И бесполезно прятать нос в воротник: французы «не испугаются, если вы выступите против них, и не опасаются, что им придется обходиться без вас, — они слишком горды и могущественны, чтобы опускать свой взор так низко».

Коль скоро невозможно сохранить нейтралитет, можно попробовать представить, что будет, если победит Франция, и подумать о том, как получить максимальную выгоду при таком раскладе соразмерно с опасностью, которой себя подвергаешь. Намеки короля на возможные выгоды и прямые слова Роберте — «не подойдет ли республике какое-нибудь герцогство, такое, например, как Урбино?» — могли бы перевесить чашу весов.

По мнению Никколо, если флорентийские синьоры, прижатые к стенке и вынужденные выбирать, посчитают возможным «попытать счастья вместе с Францией, то это будет того стоить: в случае успеха они получат возможность стать хозяевами большей части Тосканы, ее полновластными хозяевами, предоставив другим нести все тяготы войны в обмен на ежегодную контрибуцию…».

Но — ибо есть все-таки одно но — Франция может выиграть войну только в союзе с империей и Англией. А эти державы захотят потом разделить Италию, и не один Макиавелли опасается, что наградой за победу может стать Флоренция.

Значит, надо предотвратить войну. Следуя примеру «всех здешних итальянцев, которые так много могут потерять», пишет Никколо, было бы предпочтительнее показать королю — если примирение невозможно, — что «для обуздания папы» есть другие способы кроме как посеять смятение в Европе; достаточно сделать так, чтобы римские бароны, «которые не настолько угасли, что нет больше способа снова их зажечь», загнали бы папу в замок Святого Ангела.

Никколо, видимо, напрасно подкреплял свои мысли множеством исторических примеров: Роберте не принял его

предложение покончить с папой, не прибегая к открытому столкновению. По свидетельству нашего героя, которого неудача сделала гораздо скромнее, для того чтобы «заморочить голову» французам, нужен кто-нибудь более авторитетный, чем он сам. Война стала неизбежной, надежда на примирение — неосуществимой. Неудача генуэзского восстания не охладила воинственный пыл Юлия II. Ничто, даже паутина женских интриг, не может остановить его в стремлении овладеть Феррарой, превратившемся в навязчивую идею: «*Ferrara, t'avo, al Corpo di Dio!*» («Феррара, я получу тебя, клянусь Телом Господним!»)

* * *

Маркиза Мантуанская пытается спасти своего брата Альфонсо д'Эсте. Она требует от мужа, чтобы тот уклонился от предложений папы стать во главе его войск, и — через дочь — призывает зятя, герцога Урбинского, назначенного капитаном Церкви, умерить свой пыл в борьбе с дядей своей супруги. Она не колеблясь использует нежные чувства, которые маркиз Мантуанский питает к своей невестке Лукреции Борджа, супруге Альфонсо д'Эсте, дабы заставить его вести двойную игру, когда он больше не сможет уклоняться от службы папе и откроет второй фронт против Альфонсо. Все это, разумеется, делалось втайне и весьма ловко, чтобы не спровоцировать Юлия II, который держал ее сына заложником в Риме. К счастью, маркиза Мантуанская и герцогиня Урбинская нашли поддержку в самом сердце Ватикана в лице Фелиции делла Ровере, дочери понтифика, а во Франции они могли рассчитывать на Анну Бретонскую, если вдруг Людовик XII согласится пожертвовать герцогством ради примирения с папой.

В первых числах сентября приведенный в отчаяние медлительностью своих капитанов и чуя измену, Юлий II в сопровождении кардиналов форсированным маршем двинулся в Болонью, чтобы там встретить армию французов под командованием Шомона д'Амбуаза. Двое кардиналов, более храбрых, чем остальные, рискнули предложить сбавить темп и поторговаться, но получили в ответ лишь град оскорблений. Что мог сделать в этой ситуации кардинал Содерини? Юлий II считает, что флорентийцы — «французы сердцем», — писали Макиавелли. Кто проболтался? Французы клялись, что они здесь ни при чем, но они были слишком заинтересованы в том, чтобы скомпрометировать Флоренцию, так можно ли им верить?

Затея Юлия II казалась совершенно безумной; «глупое

ребячество», считал Роберте. Но после взятия Модены, одной из лучших крепостей герцогства Феррара, Никколо поверил в то, что у папы есть шансы преуспеть. Юлий II уже доказал однажды, что «лучше быть дерзким, чем осторожным». Храбрость и стремительность шли рука об руку с Фортуной, о которой Никколо позже напишет, что она, как «женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать!»[66]. Фортуна, «подруга молодых», казалось, не гнушалась старым понтификом, который не обращал внимания ни на свой возраст, ни на ревматизм, ни на сифилис, ни на суровую погоду: с октября непрерывно шли дожди, которые до февраля утопили все дороги.

Папа не встретил на пути никаких серьезных препятствий. Людовик XII был поглощен своими обширными приготовлениями к весне и нисколько не заботился о плачевном положении Феррары, тогда как достаточно было лишь небольшого подкрепления из нескольких сот копий, чтобы поддержать ее. Но «король не помышляет об этом: лекарям наплевать, а больной умирает».

Опережая инструкции Синьории, пришедшей в ужас от взятия Модены, Никколо крутится как белка в колесе, чтобы объяснить королю и его советникам всю серьезность сложившейся ситуации: «Теряя Феррару, можно одновременно потерять Тоскану и всех союзников короля на пути между Феррарой и Флоренцией». Напрасно! В Блуа отказываются воспринимать все происходящее трагически. Людовик XII рассчитывает, что «весеннее наступление все исправит». Но успеет ли оно? Никколо очень хотел бы, чтобы кто-нибудь разделил с ним его пессимизм.

Во всяком случае, без устали объясняет Никколо, Франция не должна рассчитывать на военную помощь Флоренции ни сегодня, ни впоследствии. Не потому что Республика хочет уклониться от выполнения своих обязательств, но потому, что следует принимать во внимание ее географическое положение: если папа решит окружить ее, как она будет защищаться, если пошлет свою милицию на север? Никколо не скупится на аргументы, чтобы показать, насколько абсурдно оставить Флоренцию незащищенной, чтобы потом, ценой величайших затрат, лететь к ней на помощь. Одна из его речей имела такой успех, что накануне его отъезда Людовик XII пообещал прислать подкрепление из ста копий, как только это станет возможным, то есть когда швейцарцы, добровольно или нет, перестанут угрожать Ломбардии.

Не слишком большое достижение для трехмесячной миссии! Скорее это провал. Секретарь приехал защищать мир, а уезжал, увязнув в войне.

Но нельзя возлагать на Макиавелли ответственность за события, которые не зависели от Флоренции, хотя бы потому, что у Республики, что бы она по этому поводу ни думала, не было «ни влияния, ни престижа», как с горечью писал прозорливый Буонаккорси. Ибо не один только Макиавелли понимал, что происходит.

История учит, что успех посредничества больше зависит от желания противников уладить разногласия, чем от авторитета и ловкости арбитра, который является всего лишь приводным ремнем, даже если в своей гордыне — или наивности — он приписывает себе весь успех. Юлий II хотел не мира, а войны, Людовик XII притворялся, что хочет мира, но делал все для того, чтобы распалить папу и сделать мир невозможным, вплоть до того чтобы вывести французскую церковь и ее паству из-под омофора понтифика.

Сделав ставку на страх, Никколо, как верный слуга, попытался добиться того, чтобы во Флоренции победила франкофильская политика Содерини, но это было обоюдоострое оружие. Он слишком много писал о безразличии Людовика XII к судьбам его итальянских союзников, и теперь страх мог толкнуть Синьорию в объятия папы, тем более что Юлий II уже начал всячески притеснять флорентийских купцов. Именно поэтому Никколо заботливо передает все слухи, способные поднять дух флорентийцев. Он утверждает, что король якобы сказал в совете: «…Необходимо сделать Республику более великой и более могучей». И убеждает синьоров, что они должны знать: «Нельзя достичь великих целей, не подвергаясь хоть какой-нибудь опасности». Питал ли Никколо какие-то иллюзии относительно эффективности своих увещеваний? Во всяком случае, Буонаккорси, у которого вызывала отвращение медлительность трусливых и безвольных правителей, вполне мог вывести его из подобного заблуждения: «Мы люди, тающие от жары и дрожащие от холода».

ГАСИЛЬНИК ДЛЯ ЦЕРКОВНОГО СОБОРА

Людовик XII не торопится — совершенно не торопится — в Тур, где 27 сентября 1510 года в его присутствии соберется Синод епископов, который позволит ему объявить войну папе, — это придаст видимость законности действиям короля и успокоит, как он надеется, совесть королевы Анны. Серьезность момента не мешает королю предаваться по пути в Тур радостям охоты. Макиавелли тоже не настолько поглощен политикой, чтобы только о ней и думать. Буонаккорси вынужден не без иронии напоминать ему о том, что «жена его еще жива, а детишки уже бегают», и дело тут не столько в служебном рвении секретаря, сколько в некой «прекрасной торговке рыбой».

Людовик XII все же прибыл в Тур, и у Макиавелли, вынужденного дожидаться там посла, который, как ему сообщили, должен сменить его при французском дворе, есть время, чтобы разузнать о первых предложениях Синода. Прелаты галликанской церкви среди прочих намерены были рассмотреть вопрос о том, «может ли папа, купивший тиару и торгующий бенефициями, бесчисленные мерзости которого могут быть доказаны, считаться папой» и следует ли считать в таком случае интердикты, исходящие из Рима, действительными. Это, по всей видимости, не слишком тревожило Никколо.

Между тем машина Истории неумолимо двигалась вперед, чтобы сокрушить не папу, но Флорентийскую республику, правительство Содерини и некоего Никколо Макиавелли.

* * *

Съезд в Туре сделал то, чего ждал от него король. За Людовиком XII было признано право отправиться в Италию на защиту своего союзника герцога Феррарского, любые же возможные отлучения и прочие санкции Юлия II были признаны не имеющими законной силы. Это означало разрыв галликанской церкви с Римом, раскол. Королева Анна заклинает духовенство Бретани не подписываться под экстремистскими постановлениями Синода. Но поздно: эскалация войны в Италии продолжается, Шомон д'Амбуаз, послушный королевскому приказу, перешел в наступление.

Юлий II, не помня себя от гнева, отлучает от Церкви всех французских военачальников — война с Францией превращается в священную войну.

Папа требует, чтобы все кардиналы явились к нему в Болонью. В ответ на это пятеро из них отправились в Милан искать защиты у Людовика XII: двое французских кардиналов, один из которых, Гильом Брисонне, кардинал Сен-Мало, был прежде суперинтендантом Людовика XI, а впоследствии правой рукой Карла VIII во всех вопросах, касавшихся отношений между Францией и папством; двое испанских кардиналов, Карвахаль и Борджа, и один итальянец, кардинал Сан-Северино, столь же вспыльчивый, как и его брат капитан Фракассо.

Взбунтовавшиеся кардиналы решили созвать Собор, чтобы низложить папу. Правда, решение об этом было принято только в марте 1511 года на втором Синоде, после многочисленных уловок, потому что по такому серьезному вопросу трудно было добиться всеобщего и безоговорочного согласия. Чтобы оправдать подобные действия, сослались на постановление Собора в Констанце, которое предписывало собирать Вселенский Собор каждые десять лет. Папа же не сдержал торжественно данное им при восшествии на престол обещание созвать такой Собор незамедлительно, если возникнет необходимость срочно обсудить вопросы реформирования Церкви. Кроме того, папа недостоин занимать престол святого Петра как по причине своего «безнравственного» поведения, так и из-за военных действий.

Максимилиан хотел, чтобы Собор прошел во Флоренции, и рассчитывал заставить флорентийцев заплатить дукатами за предоставленную им честь. Синьория же ясно дала понять: она не в восторге от такого выбора. Тогда Людовик XII потребовал, чтобы Флоренция доказала свою преданность Франции и разрешила провести Собор в Пизе, которая в 1409 году уже открывала для этого свои ворота. После яростных дискуссий и благодаря тем, кто с любовью вспоминал о Савонароле, который поддержал бы идею такого Собора, Флоренция дала свое согласие, но договорились держать все в тайне как можно дольше, поскольку папа не испытывал ненависти к Республике и еще оставалась надежда на то, что с ним удастся договориться.

Тем более что положение Юлия II не было таким уж безнадежным. В октябре 1510 года Шомон д’Амбуаз чуть было не захватил его в Болонье, но папе удалось обмануть этого слишком уж совестливого француза, которому было явно не по душе атаковать римского первосвященника. Д’Амбуаз вынужден был снять осаду, когда прибыли испанцы и венецианцы, которым начатые переговоры позволили прийти на помощь понтифику. Окрыленный успехом, Юлий II в январе 1511 года лично участвовал, в самый разгар снежной бури, в осаде и взятии Мирандолы. Эта победа вдвойне была неприятна французам,

поскольку маленький городок, расположенный в сорока километрах от Феррары посреди болот долины реки По, был своего рода ключом ко всему герцогству, а графиня Франческа Пико, великолепно его оборонявшая, соревнуясь в этом с Катариной Сфорца, приходилась внебрачной дочерью Джан Джакомо Тривульцио — Тривульсу, маршалу Франции.

Война стоит дорого. Альфонсо д'Эсте закладывает свое серебро и драгоценности жены. Юлий II в свою очередь «создает» кардиналов: эти назначения не только питают папскую казну, но и имеют политическое значение. Кардиналами становятся посол Англии, швейцарец Шиннер и Матиас Ланг, епископ Гуркский, правая рука императора. Без поддержки Генриха VIII, швейцарских кантонов и Максимилиана «сборище» Людовика XII может превратиться в фарс, и его организаторов просто поднимут на смех.

Требование к папе явиться 1 сентября 1511 года в Пизу вывешено во всех христианских церквях и даже на стенах церкви в Римини, что в двух шагах от дворца, в котором укрылся Юлий II, потерявший в мае 1510 года Болонью. Тогда подули совсем другие ветры, и под стенами Болоньи появился уже не робкий Шомон д'Амбуаз, но суровый Тривульс вместе с юным и бурлящим энергией капитаном Гастоном де Фуа, племянником короля. Чтобы оправдать свое поражение, герцог Урбинский утверждал, что «город был сдан французам ценою предательства». Он был призван папой в Равенну и собственной рукой среди бела дня прямо на площади убил кардинала Алидози, фаворита Юлия II и правителя Болоньи, которого в этом предательстве обвиняли.

Юлия II снедали гнев, печаль, тревога и лихорадка. Максимилиан, оскорбленный плохим приемом, который был оказан его посланцу, привезшему папе приглашение на мирные переговоры в Мантую, заявил, что не только отправит в Пизу своих епископов, но и постарается уговорить короля Венгрии и польского короля сделать то же самое. Но папа и не думал сдаваться без боя. По возвращении в Рим он сумел взять себя в руки и решил ответить ударом на удар: он сам созовет Вселенский Собор, который — и это известно любому школяру — может созвать только папа. Посмотрим, кто кого низложит. Людовик XII хочет отнять у него тиару? Он сам отнимет корону у короля Франции и отдаст ее королю Англии! А пока Юлий II отлучает от Церкви всех мятежных кардиналов и грозит интердиктом всем городам и государствам, которые так или иначе поддерживают «сборище».

* * *

Флоренция попала в эпицентр событий. Как отказаться от столь легкомысленно данного Людовику XII обещания, чтобы при этом не создалось впечатления, будто ты на стороне его врага? Как сдержать слово и отвести от себя удар?

Макиавелли должен опять отправиться во Францию. Данное ему поручение было похоже на русскую матрешку. Он предложит королю: 1) «надеть на Собор гасильник»; 2) если это невозможно — перенести Собор из Пизы в другое место; 3) если невыполнимо и это, перенести его начало на два или три месяца — «срок, в течение которого могли бы произойти изменения, способные смягчить существующие ныне разногласия», иными словами, на срок, в течение которого желчный старик, может быть, сойдет в могилу. В августе 1511 года дважды во все концы отправлялись курьеры с известием о кончине папы, но на следующий день Юлий II неизменно «воскресал», съедал земляники и выпивал стакан мальвазии. «Кардиналы, узнав, что папа жив, сами чуть не умерли», — писал венецианский посол. Не столь эмоциональные флорентийцы ждали третьего приступа.

Но прежде Никколо следует перехватить по дороге из Генуи в Пизу кардиналов — организаторов Собора (после внезапной смерти Франческо Борджа их оставалось четверо): они ни под каким видом не должны появиться во Флоренции. Их надо уговорить, «умоляя, призывая и заклиная…» — эти слова прекрасно передавали панику, царившую в Совете десяти.

Макиавелли встречается с королем спустя всего десять дней после получения приказа, успев до того объясниться с кардиналами, которых нашел в Борго-Сан-Доннино и от которых не смог добиться ничего, кроме обещания изменить маршрут. В Милане он побеседовал с Гастоном де Фуа, королевским наместником, не раскрывая ему, однако, сути своей миссии, чтобы Людовик XII и его советники узнали об этом первыми.

В Блуа, на следующий день после приезда, Никколо идет на штурм рука об руку с находящимся там флорентийским послом Роберто Аччайоли. «Оружия» и «боеприпасов» у них было достаточно: Синьория снабдила их всеми необходимыми аргументами и доводами — они должны быть достаточно убедительными.

Людовик XII чувствовал себя не в своей тарелке. С одной стороны — кардиналы-смутьяны, с другой — королева Анна, беременная и до смерти напуганная пророчеством папы: если она не сможет отговорить мужа от его воинственных и раскольнических планов, сказал Юлий II ее бретонским

епископам, которых она под свою ответственность отправила в Рим, она распрощается с дофином!

— Я ничего так не желал бы, как мира, — вздыхает король, — и я буду очень признателен любому, кто его добьется!

— Но зачем тогда Собор?

— Потому что это единственный способ вынудить папу к переговорам, — уверен Людовик.

Макиавелли и посол отходят на вторую позицию: перенос Собора в другое место.

— Невозможно, — отвечает король, хотя прекрасно знает, сколько неудобств создаст Флоренции намерение провести Собор в Пизе.

— Решение принято, — говорит король, — и пересматривать его уже поздно: прелаты в пути. Но пусть Флоренция успокоится: положение не столь драматично, и папа не посмеет ничего сделать. Ни наложить санкции на богатых купцов — если они сами не «раскошелятся», ни разжечь войну, против которой выступает Испания.

Говорят, глух тот, кто хочет быть таковым. Между тем Людовик XII был не так глух, как казалось. Но если бы все зависело только от него… Беда в том, что он уже не управлял машиной, которую сам же и запустил. Роберте нечаянно сказал правду: нельзя давать Максимилиану никаких поводов к отступлению от намеченного плана: недовольство кардиналов пересмотром принятого решения может стать одним из них.

Оставалось перенесение сроков — третий и последний путь к спасению Республики.

Казалось, Людовик XII только того и ждал. Действительно, за два месяца может произойти какое-нибудь счастливое событие, которое развяжет этот узел, например, успех флорентийского посредничества, или, скажем, кончина понтифика, или, на худой конец, суровая зима (хотя ни снег, ни буран не смогли остановить неукротимого Юлия II в прошлом декабре во время взятия Мирандолы).

— До Дня Всех Святых никто не отправится в Пизу, — постановил король, не осмеливаясь, однако, сообщить об этом официально, чтобы не поколебать решимость императора.

Надо замедлить ход административной машины, и тогда кардиналы, озабоченные собственной безопасностью, не отправятся в путь без охранной грамоты и всех необходимых гарантий…

* * *

Флоренция не могла ожидать от короля большего. Но этого было явно недостаточно, чтобы обезоружить папу или хотя бы заставить его начать переговоры. Разъяренный сочувственным отношением Синьории к «сборищу», которое она согласилась провести на своей территории, несмотря на все его нагоняи, Юлий II решил задушить в зародыше саму возможность посредничества, на которое так надеялся Людовик XII: в тот самый день, когда в Блуа Никколо безуспешно пытался отговорить короля от его предприятия, папа наложил на Республику интердикт[67].

Но эти церковные санкции тревожили флорентийцев гораздо меньше, чем угроза, нависшая над их торговлей, возможный разрыв банковских отношений с Римом и перспектива войны. И чтобы отвести беду, необходимо было как можно скорее выдворить из Пизы кардиналов, поскольку так и не удалось воспрепятствовать проведению Собора.

Никколо только что вернулся из Франции, а назавтра его уже отправили в Пизу вместе с отрядом, который якобы должен был обеспечить охрану кардиналов, чтобы им не нужно было призывать на помощь французских лучников. Но на самом деле этот отряд призван был внушить кардиналам мысль, что им лучше продолжить свою работу где-нибудь в другом месте.

Никколо нашел город в величайшем возбуждении. Местное духовенство сбежало, дабы не подчиняться папскому интердикту. Двери кафедрального собора были забаррикадированы. Раскольники облюбовали себе древнюю базилику Сан Микеле дель Борго, которая, впрочем, смогла вместить всех. На этот Собор, гордо названный организаторами Вселенским, кроме четверых кардиналов приехали всего два архиепископа, двадцать четыре епископа, из которых шестнадцать были французами, и небольшое число аббатов, теологов и юристов. Ничтожно мало было испанцев; из итальянцев был только один аббат; не было ни немцев, ни англичан, потому что император, как всегда нерешительный, уже готов был сделать один из своих обычных кульбитов. Хотя он еще официально и не примкнул к Священной лиге, созданной 4 октября Испанией и Венецией при подстрекательстве Юлия II для борьбы с расколом и ради возвращения Церкви всей Папской области, но это должно было вот-вот произойти.

Короче, это было поражением Собора, несмотря на всю пышность, которая сопровождала открытие его заседаний 5 ноября 1511 года. Никколо присутствовал на нем. Яростная обвинительная речь итальянского аббата, доказывавшая легитимность ассамблеи, собравшейся для реформирования

Церкви «в ее главе и членах», возвратила его на много лет назад. Это Савонарола, обличающий Александра Борджа! Никколо, конечно, оценил всю иронию принятого в конце заседания решения выгравировать на печати Собора… голубя.

После завершения первой сессии Макиавелли выходит на авансцену. Главное действующее лицо, Карвахаль, кардинал Санта-Кроче, прекрасно знал, чего добивается секретарь Синьории. Они сталкивались уже не в первый раз. В сентябре в Борго-Сан-Доннино, маленьком городке в Эмилии, где они встретились, кардинал ответил на предложение Никколо страстным призывом к христианскому сознанию Синьории, которая должна способствовать проведению Собора «во имя любви к Христу и ради блага Церкви». Теперь на рапиры были надеты наконечники и речь шла о вещах более прозаических. Кардинал мог убедиться *de visu*[68], какие проблемы создает размещение отцов — участников Собора в городе, как минимум враждебном их предприятию, не стесняясь в словах, подчеркивал Никколо. Без вмешательства флорентийских чиновников перед ними не откроется ни одна дверь. Эти трудности только возрастут после приезда «опоздавших», коварно добавляет он, потому что совершенно ясно, что говорить надо было не об опоздании, а об отступничестве остальных. Карвахаль понял: речь идет не столько об удобствах прелатов, сколько об интересах Флоренции, — и без возражений согласился на переезд.

Что это было: победа красноречия Макиавелли или результат пизанского «гостеприимства»? Прелаты были испуганы, они опасались за свои жизни. Флорентийские солдаты, которые якобы их защищали, разделяли вместе с населением все муки отлучения; участились столкновения между ними и людьми кардиналов. Те не решались появляться на людях, преследуемые криками ненависти. Наверное, они бы покинули город и без вмешательства Макиавелли. Тем не менее 12 ноября кардиналы решили перенести Собор в Милан.

Республике казалось, что можно перевести дух. Но она заблуждалась.

МОЛНИЯ

В Палаццо Веккьо попала молния. От ее удара почернели три золотые лилии, украшавшие фасад дворца. Никколо составляет завещание: он убежден, что «всякому кардинальному изменению в городе или государстве всегда предшествуют предсказания, откровения, чудеса или небесные знамения». В апреле 1492 года молния, разбившая купол кафедрального собора, предсказала смерть Лоренцо Медичи; молния, испортившая в ноябре 1511 года лилии на флорентийском гербе, предвещала неприятности и лилиям герба французского.

Людовику XII угрожали со всех сторон: швейцарцы напали на Ломбардию, испанский король собирался занять Наварру, английский — высадиться в Нормандии, а Максимилиан — вступить в войну. И было ясно, что окончательно все решится в Италии, на территории между Вероной и Миланом, между Комо и Болоньей.

Содерини тешил себя иллюзиями, что ему удастся удержать Флоренцию в стороне от конфликта с помощью небольшого числа копий, которые он готов был предоставить французской армии, дабы никто не подумал, что Флоренция не выполняет принятых на себя обязательств, и обеспечить тем самым будущую безопасность города. А утверждение о финансовом нездоровье Республики могло послужить алиби перед лицом папы, который желал, чтобы она тоже вступила в игру.

Первые успехи испано-папистских сил, которыми командовал вице-король Неаполя Рамон де Кардона, подтверждали правоту пессимистов. В январе лига разбила лагерь под стенами Болоньи. Юлий II, возможно, очень скоро заставит болонцев дорого заплатить за то, что те посмели обезглавить его бронзовую статую, из которой герцог Феррарский велел отлить пушку, назвав ее в насмешку Джулией.

К счастью, у Франции был свой «святой Георгий» — племянник короля Гастон де Фуа, герцог Немурский. Ему было двадцать четыре года, он был красив, как статуя Донателло, храбр, как рыцарь из легенды, а главное, был гениальным полководцем. Восхищенный Никколо увидел в этом юном военачальнике все, чем восторгался у Чезаре Борджа и чему историки не преминули воспеть хвалу. «Крайняя осторожность и молниеносная быстрота, — напишет Анри Лемоннье, — ясность мысли, предприимчивость, не имеющая себе равных точность действий, умение ограничивать результаты сообразно их истинной полезности, замечательное искусство экономить силы

для того, чтобы их приумножить; точное чувство цены времени; удивительное видение стратегии и тактики…»

В феврале — апреле 1512 года Гастон де Фуа спас Милан от швейцарцев; не потеряв ни одного солдата и не потратив ни дуката, он соединился с герцогом Феррарским; изгнал противника из Болоньи; захватил Брешию, разбив при этом венецианскую армию (Юлий II рвал на себе волосы от злости!), и, несмотря на ужасную погоду, продолжал преследовать армию лиги, которая всячески уклонялась от сражения. Все закончилось 11 апреля 1512 года кровавой победой в битве при Равенне (образцовой с точки зрения тактики ведения боя, по мнению Макиавелли), которая принесла французам и радость и боль, потому что вместе с известием о победе король узнал о гибели своего славного племянника.

В лагере противника царило отчаяние: всего за несколько дней в руках французов оказалась вся Романья, и кардинал Сан-Северино, легат Собора в Пизе, отправился в путь, чтобы низложить Юлия II.

Будет ли папа спасаться бегством, как ему советуют? Думать так значит совершенно не знать его. Он заявил, что ради продолжения войны готов продать свою тиару. По мнению папы, ничто еще не потеряно. Такой оптимизм приводил в недоумение его окружение, но вскоре он был подкреплен новостями, которые принес Джулиано Медичи, получивший их из уст своего брата-кардинала: лишившись Гастона де Фуа, французская армия пребывает в полной растерянности; в командовании раскол; герцог Феррарский, оскорбленный критикой французских военачальников, закрылся в своей палатке; Милан опасается нападения швейцарцев; император предает своих союзников.

Больше, чем на силу оружия, Юлий II рассчитывал на Вселенский Собор в Латеране, который должен был открыться 3 мая, и надеялся вернуть ему первенство в Церкви, а колеблющихся вырвать из французского альянса. Пока же папа соглашается на переговоры, делая вид, что уступает событиям и просьбам.

* * *

Хотя опасения Макиавелли разделяли многие — Гвиччардини напишет, что нейтралитет подобает соблюдать только сильным, — они не нашли отклика у гонфалоньера. Пьеро Содерини упорствовал в своем отрицании того, что плавать среди рифов не совсем уж безопасно: он думал, что сможет отвести

угрозу, притворившись, что ее не слышит, или отослав Гвиччардини в Испанию. Но половинчатость его действий не могла удовлетворить никого, а вот раздражала она абсолютно всех.

Во Флоренции росло влияние оппозиции — сторонников Медичи. Правда, неудавшийся заговор привел в тюрьму человек пятнадцать сторонников Медичи — паллески (название партии происходило от итальянского слова «palle» — шары, которые украшали фамильный герб рода Медичи), в результате чего Совет десяти вновь воспылал доверием к Содерини и проголосовал за чрезвычайные законы для защиты республиканских свобод. Но назначение кардинала Джованни Медичи папским легатом в армию Священной лиги придало веса медичейской партии. Победит Юлий II в столкновении с Флоренцией или согласится начать с ней переговоры — паллески теперь были уверены, что любой исход послужит к их выгоде.

Победа французов под Равенной могла бы разрушить все их надежды, если бы королевская армия сразу после этого разбила Юлия II. Но, как кардинал Медичи проинформировал папу, французская армия лишилась и души, и головы. А затем в течение нескольких недель эта армия, оставившая Романью, чтобы попытаться спасти Ломбардию, и преданная императором, который отозвал своих ландскнехтов и пропустил швейцарцев кардинала Шиннера, лишилась и своего тела. За поражением в конце июня последовало настоящее бегство, и она «рассеялась, как туман на ветру», — напишет Веттори, «как толпа проституток» — уже не столь поэтично скажет кардинал Шиннер.

Происшедшее утверждает Никколо во мнении: «Французы на первый взгляд кажутся больше, чем мужчины, а в конце концов оказываются меньше, чем женщины»[69].

* * *

Италия «освобождена», Рим спасен! Святой Престол даже не покачнулся, потому что «сборище» — кстати, очень плохо принятое в Милане — рассеялось вместе с армией. Юлий II умножает благодарственные молебны и приношения и заказывает Рафаэлю фреску, изображающую изгнание Гелиодора из храма в Иерусалиме[70]. Но когда прошла эйфория, настало время платить по счетам. Папа поклялся «вырвать сорную траву». Правительство Содерини, который даже после поражения французов противится присоединению к Священной лиге, — один из таких сорняков. Единственный способ разрушить узы, связывающие Флоренцию с

Францией, говорит Юлий II, — это вернуть Медичи во дворец на виа Ларга и установить их власть над городом.

По инициативе императора в августе в Мантуе состоялось собрание членов лиги, призванное решить все проблемы, вызванные полным поражением французов, и перекроить политическую карту. Кто получит герцогство Миланское? Что ждет Феррару и ее герцога? Свергнут или нет Флорентийскую республику?

Выбор Мантуи для проведения этого собрания рассердил Юлия II, который предпочел бы, чтобы ассамблея прошла в Риме и он мог бы на ней главенствовать. Он делегирует в качестве своего представителя Джулиано Медичи, снабдив его подобающими инструкциями. Мантуя же была благосклонна к клану, который мог спасти Феррару.

Изабелла д'Эсте принимала ассамблею у себя как государыня. Она использовала все свое очарование и весьма доступные прелести своих фрейлин — настоящего женского батальона, — свой ум и политическое чутье, чтобы помочь юному племяннику Массимилиано Сфорца (сыну покойной сестры Беатрисы и Лодовико Моро, сгинувшего в зловещем донжоне замка Лош) добиться герцогства Миланского, которое император и король Испании желали заполучить для своего внука Карла (будущего императора Карла V).

А вот флорентийцев не защищал никто. Их судьба была решена заранее и единогласно. Кардинал Джованни Содерини, несчастный представитель Флоренции (отметим отсутствие на лиге Макиавелли), должен был сообщить Синьории и ее гонфалоньеру, что Священная лига требует восстановить власть Медичи и что в случае неповиновения готова прибегнуть к силе.

Во Флоренции тешили себя надеждой, что папа никогда не осмелится на такую крайность и что натянутые отношения с Испанией не позволят ему пойти на это. Здесь отказывались поверить в реальность угрозы, хотя знали, что армия вице-короля Неаполитанского Рамона Кардоны уже выступила в поход. И только когда она оказалась на расстоянии не более дня пути от границы Тосканы, во Флоренции наконец поверили в неотвратимость происходящего, но было уже слишком поздно, чтобы помешать врагу перейти через горы.

* * *

Трудно сказать, что в решениях, принимаемых Советом десяти, было следствием ослепления и тактических ошибок, а что

— результатом предательства. Антонио Джакомини, славный капитан, который, по мнению Макиавелли, «намного превосходил всех флорентийцев», предложил возглавить три тысячи пехотинцев и сотню всадников, дабы остановить врага на перевале Фута. Однако предложение этого пламенного патриота было отклонено, как и сама мысль о том, чтобы дать противнику открытый бой. Но как оказать сопротивление и какими силами? Оставлять Флоренцию без защиты нельзя, поскольку это означало бы предать ее внутренним врагам Республики, но оставлять в городе слишком много вооруженных людей, с точки зрения некоторых, тоже опасно… В конце концов было решено разместить гарнизон в просторной крепости Прато, что в десяти милях от Флоренции — и, следовательно, достаточно близко для того, чтобы защитить город в случае нападения, — а врага как можно дольше задерживать на границах ее владений — в Фиренцуоле. Макиавелли поручили установить этот «предохранитель».

Вернувшись из Пизы, Макиавелли, наделенный чрезвычайными полномочиями, каких во Флорентийской республике прежде не удостаивался никто, колесит по окрестностям, проводит смотры милиции, собирает отряды, назначает командиров, улаживает конфликты, инспектирует крепости и укрепляет их оборону. Мариетта дрожит от страха, но ему некогда ее успокаивать: он поручает это своему верному Бьяджо. Муж раз и навсегда доказал ей свою преданность и уважение тем, что назначил ее в своем завещании опекуншей детей и всего своего скромного состояния.

Никколо был убежден, что испанцы остановятся в Фиренцуоле, чтобы не оставлять в тылу у себя сильный гарнизон, и у Флоренции, таким образом, будет достаточно времени разместить основные силы в Прато и стянуть туда провиант и боеприпасы. 23 августа 1512 года он уверяет Синьорию, что, хотя ему желательно было бы иметь на трех или четырех канониров больше, все равно «мы находимся в наилучшей позиции и не боимся ничего».

В тот же день в испанский лагерь прибыл посланец Совета десяти, которому было поручено разузнать о намерениях вице-короля. Туда не направили Макиавелли, который больше других подходил для такого рода миссии и был более ловок в дипломатических беседах, чем честный служака. «Человек Содерини», быть может, смог бы уговорить Кардону остановиться и, что еще вероятнее, получить какие-нибудь сведения, позволяющие оказать ему достойное сопротивление. Посланец Синьории, которого два дня «допрашивали с пристрастием» в

испанском штабе, и в самом деле не привез ничего, кроме уверений в том, что назавтра, 25 августа, «армия и артиллерия будут в Барберино ди Муджелло». Это означало, что Кардона выбрал другой путь, и Макиавелли со своей тысячей пехотинцев напрасно будет ждать его в Фиренцуоле.

Очевидно, что лига была в курсе избранной Советом десяти тактики и что она стремилась не к военному, а к политическому решению конфликта. Наступая быстро на Флоренцию, она надеялась оказать давление на город, который изнутри обрабатывали сторонники Медичи. Кардинал Джованни Медичи и его брат Джулиано, находящиеся на стороне испанской армии, поддерживали с ними связь и снабжали их инструкциями, прибегнув к помощи какого-то крестьянина — в лучших традициях любого заговора. Разграбление виллы одного из комиссаров в Скарперии, в тридцати километрах от Флоренции, убийство ее защитников, насилие, учиненное над их женами и дочерьми, имели целью запугать флорентийцев и подтолкнуть их к восстанию. В то же самое время Джулиано Медичи подкупал население каждой занятой деревушки Муджелло, щедро раздавая деньги и обещания.

В ночь на 25 августа посол вице-короля просит аудиенции у Синьории. Испанская армия пришла не как враг, говорит он, она не покушается на свободы города, так как лига желает вступления Флоренции в свои ряды. Гонфалоньер, чувства которого к французам были известны всем, являлся единственным препятствием на пути к осуществлению чаяний Флоренции и всей Италии, и, следовательно, его необходимо было сместить.

Положение было драматическим. Перед созванным им Большим советом Содерини произнес речь, достойную великих римлян. Такого от него совсем не ожидали, и он сумел покорить слушателей: он готов подать в отставку, если его сограждане, и только они, потребуют этого, потому что он занимает свое место по воле народа и будет послушен ей одной.

— Но пусть хорошенько подумают, — добавил он, — кого хотят изгнать из Флоренции: меня или республику? Речь идет не о том, чтобы защитить или погубить человека, но о том, чтобы защитить или погубить свободу!

Взволнованный призыв к сопротивлению и самопожертвованию воодушевил собравшихся.

— Да здравствует республика! — кричали все. — Да здравствует Содерини! Смерть Медичи!

В то время как Комиссия восьми, в обязанности которой входили функции политической полиции, арестовывала сторонников Медичи — молодых дворян самых знатных

фамилий: Ручеллаи, Альбицци, Торнабуони, кондотьеры, посовещавшись, единогласно высказались в пользу обороны Флоренции, где предполагали сгруппировать максимальное число солдат. Содерини, которого занимал главным образом вопрос о том, как не допустить государственного переворота, был удовлетворен. Но при этом никто не собирался оставлять и Прато, обороняемый трехтысячным гарнизоном.

Макиавелли срочно вызывают во Флоренцию. Перед этим он по приказу Синьории побывал в Скарперии, оценил создавшуюся там ситуацию и убедился в лояльности Республике ее населения. Искренен он был, или заблуждался, или просто не хотел подрывать боевой дух Содерини? На самом деле во всех городках и деревнях, где проходила испанская армия, поддерживали кардинала Джованни Медичи и его брата, которые не уставали повторять, что выступают против правительства, но не против народа.

* * *

26 августа Кардона нападает на Прато, но это сражение принесло поражение испанской армии и победу флорентийскому сопротивлению.

Вице-король решил не подвергать свои отряды дальнейшим испытаниям; к тому же у него не было ни артиллерии — если не считать двух пушек, присланных кардиналом Медичи, из которых одна тут же взорвалась, — ни денег, ни продовольствия. Кардона умеряет свои запросы. Если ему дадут хлеба и денег, извещает он Синьорию, то он откажется от требования низложить гонфалоньера, передав «дело Медичи в руки Его Католического Величества, который, возможно, сумеет просьбами, а не силой убедить флорентийцев».

Содерини поддался триумфальным настроениям и позволил паллески манипулировать собой. Они же, в ярости от того, что быстрая победа не удалась, хотят заставить Кардону сражаться дальше.

Если судить по той главе «Рассуждений…», в которой, приводя в пример поведение Содерини, Макиавелли доказывает, что «желая добиться слишком многого, можно потерять все», то вполне допустимо предположить, что Никколо был в числе тех, кто советовал гонфалоньеру спасти главное: единое правительство. Но «Рассуждения…» принадлежат к более позднему периоду, чем описываемые нами события, — это критика *a posteriori*[71]. Никколо слишком долго внушал Содерини

уверенность в своей милиции, чтобы вдруг усомниться в ее возможностях при встрече с армией, которая, казалось, вот-вот рассыплется. Кроме того, он наверняка тоже был ослеплен временной победой и отблеск славы ее пал бы, наконец, и на него, создателя ополчения. Как мог он, будучи в самом деле прозорлив, поверить, что Республика купит свое окончательное спасение за несколько подвод с хлебом и горсть дукатов?

То, что в «Рассуждениях…» он хочет самого себя укрепить в этом убеждении, не означает, что такое же мнение он высказал тогда, когда его хозяин в кои-то веки занял твердую позицию. Политик скорее всего подумал бы о том, что хотя отступление врага, не надеющегося добиться своего силой оружия, и не обеспечивало Республике полной победы, оно давало ей безусловное преимущество за столом будущих переговоров, и значительно большее в случае, если дипломатическое отступление превратилось бы в отступление военное…

Но в эти критические часы Никколо находился не в Палаццо Веккьо, не среди советников, противостоявших Содерини, не среди тех, кто поддерживал его по более или менее достойным мотивам, но в лагере, среди солдат территориальных войск. Там он получил предупреждение Бьяджо (который подписывал свои письма «frater Blasius» — «от имени того, кого вы знаете», то есть Содерини) о том, что армия вице-короля вовсе не деморализована и движется по направлению к Кампи, на расстоянии одной мили от Прато, и намеревается заночевать там 27 августа, «что ему совсем не нравится и что весьма его удивляет». Ироничный подчиненный добавляет (по-прежнему от имени гонфалоньера): «Прощайте, сделайте все возможное теми средствами, которыми располагаете, так, чтобы время не проходило в пустых прениях».

Вот так Никколо, который уже ничего не мог сделать, стал последней надеждой Содерини… и Республики!

* * *

Вице-король не мог бесконечно вести бесплодные дискуссии и позволить своим людям умирать с голоду под стенами города, в котором было полно провизии; он не мог и отступить, не заключив хоть какого-нибудь соглашения. Следовательно, он пошел в наступление — и на этот раз Прато сдался.

Франческо Гвиччардини напишет потом, что испанцы «были поражены тем, сколько трусости и неопытности выказали солдаты». Этими трусами были солдаты милиции, солдаты Никколо Макиавелли! Гвиччардини испытывал чувство горького

торжества, ибо он никогда не верил в территориальные войска и считал ополчение своего друга Макиавелли плодом демократических мечтаний. Хватило одного пушечного выстрела, одной бреши в стене, даже меньше «окошка», напишет другой современник, чтобы враг ворвался в крепость и взял штурмом стены монастыря. При виде этого защитники Прато побросали на землю свои пики и аркебузы и разбежались, как зайцы.

Сцена эта могла бы быть весьма забавной, если бы за ней не последовали все те ужасы, какие может испытать город, отданный на разграбление. Весьма удивительно читать строки, вышедшие из-под пера Изабеллы д'Эсте, о том, что возвращение Медичи «будет значительно лучше воспринято всеми потому, что оно счастливо обошлось без кровопролития». Неведение великодушной женщины! Тысячи мужчин, женщин, детей, ограбленных, замученных, изнасилованных[72], заплатили в Прато за «трусость и неопытность» людей, рекрутированных будущим автором трактата «О военном искусстве»! Никто не подготовил этих крестьян и ремесленников, которые гордо маршировали по Флоренции, к встрече с мусульманами испанской армии, известными своей жестокостью, равной только жестокости албанских наемников императора, наводивших ужас на Феррару.

Флоренция обезумела от страха и жила в ожидании худшего. Пустели дома, закрывались лавки, женщины осаждали монастыри, надеясь обрести там убежище, хотя во время взятия Прато, даже несмотря на усилия кардинала Медичи и его брата, пытавшихся защитить обители, те были осквернены. Только Содерини сохранял каменное спокойствие. Он считал, что твердо держит в руках руль и сможет провести государственный корабль через бурю: он начнет переговоры — а как он может иначе поступить? — но останется непреклонным в вопросе о возвращении Медичи.

Аристократическая оппозиция, бывшая прежде яростным противником Медичи, присоединяется к тем, кто, опасаясь падения Республики, стремится убедить гонфалоньера согласиться с их возвращением. В конце концов, говорят они, Медичи уже не те, что раньше. Пора прекратить делать из них пугало. Речь идет не о смене правительства, а о возвращении граждан Республики, мужественных людей, которые за столько лет ни разу не оскорбили ни одного флорентийца «ни публично, ни с глазу на глаз» и которые оказали множество услуг своим соотечественникам. Щедрость Медичи и в самом деле столь ярко контрастировала со скупостью кардинала Содерини, что обеспечила им уважение; порог их римского дворца переступали без колебаний, «словно, — напишет Гвиччардини, — это было не

жилище бунтовщиков, но резиденция флорентийского посла».

Другие ворчали, что упрямство одного человека подвергает опасности весь народ. Возмущение нарастало, опасались государственного переворота. Гонфалоньер же уверовал, что своей прекрасной речью сумел разжечь республиканский огонь и объединить вокруг себя флорентийцев, что испанская армия отступит перед ними, не дожидаясь, чтобы ее разрубила на куски доблестная милиция Макиавелли. Но он ошибался.

Три посланца, среди которых был и Никколо Валори, выехали из Флоренции в ночь на 30 августа, чтобы вести переговоры с Кардоной. В лагере вице-короля согласились на компромисс, потому что, выдвигая ультиматум «Медичи или война!», Кардона попросту блефовал. Ведь падение Прато вовсе не означало падения Флоренции. Найден был изящный вариант выхода из тупика: Джулиано Медичи женится на племяннице Содерини.

Но перспектива всеобщего примирения была недопустима для паллески. Они должны действовать, и действовать быстро. В ту же ночь, когда в лагере вице-короля шли переговоры об альянсе Медичи и Содерини, из Палаццо Веккьо неизвестно кем и как были освобождены все политические заключенные. Трудно поверить, что только страх заставил дворцовую стражу покинуть свои посты.

Утром следующего дня бывшие пленники с оружием в руках ворвались в зал Совета, где заседала недавно переизбранная Синьория. Для Содерини в эти минуты на кон было поставлено все. Все может быть спасено — или все потеряно. Перед лицом разгневанных молодых людей Содерини струсил и попытался выиграть время. Несколькими днями раньше, выступая перед Большим советом, своими речами он ввел всех в заблуждение. Но всем, включая Никколо, и хотелось обмануться в нем. Теперь от Содерини, взятого в плен юными безумцами, ожидали, что он впишет новую героическую страницу в историю Республики, опять произнесет гордые слова, которые потом выбьют в мраморе, и подставит в случае необходимости свою грудь под удары этих «сыновей Брута», которых он так долго щадил…

Но… Один из них схватил гонфалоньера за шиворот, и тот простонал:

— Сохраните мне жизнь.

В давние времена Брут пожертвовал своими сыновьями для спасения республики, которую те хотели уничтожить, дабы вернуть Тарквиниев. А Содерини — не Брут. Содерини — «дитя», напишет Макиавелли.

Пьер Содерини жил на белом свете,

и вот душа его явилась в ад,
но тут Плутон вскричал: «Ступай назад,
в преддверье ада, где другие дети!»[73]

В самом деле, только «дитя» могло поверить в справедливость, верность законам, в честность и человеческую доброту тех, кого оно осыпало благодеяниями! Содерини не был ни Брутом, ни Цезарем. И только это можно поставить ему в упрек.

«…Он не только верил в то, что терпением и добротой сможет истребить злые помыслы и благодеяниями победить вражду, но и считал (и много раз говорил об этом своим верным друзьям), что если он хочет отважно противостоять оппозиции и разгромить своих противников, ему необходимо присвоить себе чрезвычайную власть и преступить законы гражданского равенства. Такое решение, хотя он и не был расположен тиранически пользоваться его плодами, так сильно встревожило бы весь народ, что после его (Содерини. — *М. Р.)* смерти никто никогда больше не стал бы выбирать нового пожизненного гонфалоньера; а он считал, что такой порядок должно было поддерживать и укреплять. Подобное уважение к закону было честным и добрым; однако никогда нельзя давать возможность распространиться злу и позволять ему теснить добро, когда это добро легко может быть им, злом, побеждено. Он, должно быть, думал, что если кто-нибудь будет судить о его делах и намерениях по их результату (коль скоро Фортуна и жизнь будут ему сопутствовать), о котором сможет свидетельствовать любой, то этот кто-нибудь сможет подтвердить, что все, что им было сделано, было сделано ради спасения родины, а не для утверждения своей власти… Но его первая и главная ошибка была в том, что он не знал, что злобу нельзя ни обуздать временем, ни задобрить никакими дарами. Таким образом, не сумев уподобиться Бруту, он потерял вместе с родиной и свое положение, и репутацию».

Этот отрывок из «Рассуждений…» объясняет смысл приведенной выше эпиграммы. Наивное дитя — не оскорбление, но дань, которую сами Небесные силы отдают душевной чистоте Содерини. Чистота души — добродетель, для государственного деятеля весьма желательная, но иногда она достойна сожаления. Макиавелли высказывает здесь неудобную истину, которую История подтверждает и сейчас: невозможно управлять с помощью одних только добрых чувств, так же как невозможно вести чистую войну…

* * *

«Сохраните мне жизнь», — простонал Содерини, которого бесцеремонно вытолкали в соседнюю комнату, тогда как приоры, не зная, чью сторону принять, начали совещаться. Гонфалоньер потребовал к себе Макиавелли, которому доверял, не задумываясь о том, что губит его вместе с собой. Никколо поспешил к нему, что было весьма смело для человека, о котором впоследствии будут говорить как о ловком царедворце.

По просьбе несчастного гонфалоньера Никколо отправляется на поиски Франческо Веттори. Вся надежда Содерини только на его заступничество, поскольку Паоло Веттори, один из главарей бунтовщиков, приходился ему братом. Франческо, не желая, чтобы его заподозрили в пособничестве бунтовщикам, и одновременно страшась выступить против них, хотел покинуть город. Никколо умоляет его, убеждает, что он не рискует ничем, если последует за ним в Палаццо, но может выиграть все. Только он, как брат Паоло, может урезонить заговорщиков и гарантировать свободу гонфалоньеру; он должен это сделать ради человека, от которого не видел ничего, кроме добра. Говоря языком политики, не такое уж это невыгодное дело — стать посредником и не дать паллески покрыть себя кровью. Все ему будут за это благодарны. Неизвестно, что побудило Франческо действовать: уважение к Макиавелли, невозможность оправдать свое невмешательство или желание продемонстрировать свои дипломатические таланты, — но он пошел с Никколо.

Между тем приоры (напомним, что они были вновь избранными), проявив мужество или просто не желая брать на себя ответственность за подобное деяние, отказывались подчиниться паллески и позволить им отставить гонфалоньера, избранного пожизненно. Франческо же убеждает их, что речь идет именно о жизни Содерини: отказаться низложить его значит приговорить к смерти. Велика же была его ловкость, если он смог убедить Синьорию, являвшуюся гарантом законности, взять на себя ответственность за уход Содерини и заставил всех, таким образом, забыть о насилии, которое этому уходу сопутствовало.

Никколо присутствовал при этой сцене. Он сжимал кулаки и терпел, испытывая отвращение к собственному смирению. Конечно, он очень бы удивился, если бы Содерини повел себя как «настоящий римлянин», но гонфалоньер олицетворял все, во что он верил. Тем не менее осторожность заставляла Никколо молчать.

В письме, написанном в сентябре 1512 года некой «весьма знатной даме», она прочтет, что паллески «изгнали гонфалоньера,

каковое событие, по молитвам многих граждан, совершилось по обоюдному согласию и без какого-либо насилия; они сами проводили его до его дома, и следующей же ночью в сопровождении большого эскорта с согласия Синьоров он отправился в Сиену». Правда, Никколо умолчал о том, что при выходе из Палаццо Веккьо Пьеро Содерини упал. Едва дойдя до моста Санта-Тринита, гонфалоньер, сопровождаемый заговорщиками, которые, в насмешку или из великодушия, охраняли его, не смог больше сделать ни шагу от волнения, усталости и безумного страха перед необходимостью встретиться лицом к лицу с толпой. Его почти на руках донесли до дворца Веттори, который, к счастью, находился неподалеку и где готовы были его принять.

В это время трое новых посланцев скакали во весь опор в лагерь вице-короля, чтобы развязать все узлы, которые завязали их предшественники. О свадьбе больше и речи не было — Медичи могли возвратиться во Флоренцию без всяких условий.

Кардинал и Джулиано Медичи дают знать Светлейшей о счастливом событии: «Завтра (1 сентября 1512 года. — *К. Ж.)* милостью Божией и милостью Его Преславной Матери мы вернемся в наш дом и на нашу родину к удовлетворению и радости всей Флоренции… Множество граждан из принципатов и самых знатных семейств пришли к нам как горячие друзья принести свои поздравления, исполненные счастья и довольства нашим удачным возвращением, которым они удовлетворены по разным причинам, но особенно потому, что оно свершилось без кровопролития и скандала в городе».

Пьеро Содерини по пути в ссылку, без сомнения, размышлял о том, о чем Макиавелли так хорошо напишет в «Государе»: «…о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, — но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся»[74].

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

Власть! Как ее приобретают и как теряют — так называется глава в истории Флоренции, которую в конце лета 1512 года пишут на глазах у Никколо Пьеро Содерини и семейство Медичи задолго то того, как мы сможем прочесть об этом в «Государе». А секретарь пишет свою главу: *как сохранить место.*

В первом, очень коротком, акте драмы Содерини 7 сентября отправился в Сиену, но, спасаясь от агентов Медичи, оказался в Рагузе (ныне Дубровник), которая находилась тогда под оттоманским владычеством, а Джованни и Джулиано Медичи, сыновья Лоренцо Великолепного, возвратились в свой дворец на Виа Ларга с фресками Беноццо Гоццоли. В Палаццо Веккьо водворяют, уже не пожизненно, а сроком на год, нового гонфалоньера, убежденного сторонника Савонаролы, как будто для того, чтобы восстановить прежние «республиканские» порядки, достаточно поменять человека и фразеологию. Все это было лишь декорацией, дымовой завесой, призванной скрыть наступление паллески.

Второй акт драмы развернулся на городских улицах спустя несколько дней после возвращения изгнанников. Кардинал Джованни, его брат Джулиано и их кузен кардинал Джулио притворились, что довольны уже тем, что вновь стали полноправными флорентийскими гражданами, но «рядовые члены» партии Медичи (самостоятельно или под чьим-то влиянием) с этим не были согласны. Демонстрации, сопровождавшиеся криками «palle! palle!», 16 сентября переросли в беспорядки на площади Синьории. Начальник охраны кардинала Джованни, прошедший хорошую школу на службе у Чезаре Борджа, воспользовался этими беспорядками и захватил дворец, где кое-кто из граждан, среди которых был и Джулиано Медичи, обсуждал реформу государственных учреждений. Весь город взялся за оружие; крики «palle! palle!» звучали явно громче, чем крики «свобода!», и под давлением того, что она выдавала за волю народа, Синьория «обратилась к парламенту»[75].

Люди кардинала окружили площадь Синьории, где проходило чрезвычайное собрание граждан, перекрыли все выходы и дирижировали выкриками из толпы так, чтобы казалось, будто народ поддерживает государственную реформу и одобряет создание чрезвычайной магистратуры — балии, которая должна эту реформу провести. Отныне и на неопределенное время всего лишь пятьдесят граждан, по большей части сторонники Медичи и сочувствующие новой власти, сосредоточат

в своих руках и законодательную, и исполнительную власть. Государственный переворот был совершен под прикрытием законности: Медичи не захватывали власть в городе, а получили ее из рук народа.

После этого в городе воцарилось спокойствие. Никколо по-прежнему сидит на стуле секретаря, словно и не боится с него упасть. Он, конечно, знал, что у него есть враги, но не хотел доставлять им удовольствие, обнаруживая свои опасения. К тому же он, скорее всего, был уверен, что и при новом режиме, каким бы тот ни был, найдется место для такого человека, как он. Макиавелли не пытался уйти в тень. Кардинал Джулио требует возврата земель, конфискованных у него двадцать лет назад, — Никколо (письменно) советует ему умерить аппетиты: теперь эти земли — законная собственность других граждан. В интересах Медичи и их политического будущего понять, что «люди склонны сильнее оплакивать утраченную собственность, нежели убитых брата и отца». Он предлагает разумный компромисс для всех сторон и ручается, что сможет убедить балию с ним согласиться.

После падения Содерини в Республике нарушилось политическое равновесие. Оптиматы (которые, напомним, представляли главенствующий класс) разделились на тех, кто мечтал об олигархической республике, и тех, кто был согласен поделиться властью с Медичи. В стане паллески также не было согласия: среди них можно было найти как непримиримых, так и тех, кто готов был вступить в союз хоть с самим дьяволом. Для этих последних Никколо и пишет свое обращение «К паллески»: бойтесь случайных союзников, лживых братьев, «которые, как шлюхи, вертят задом и перед народом, и перед Медичи», а сами только и думают о том, как бы захватить власть.

В полемике, развернувшейся по поводу государственного устройства Флоренции, сторонники олигархии демонстрировали внезапную и непонятную заботу о Большом совете — символе демократии. Они хотели его сохранить, хотя бы для виду, тогда как Медичи требовали его немедленного уничтожения. Но оптиматам этот Совет был нужен, чтобы в будущем иметь средство противостоять попыткам Медичи и их союзников захватить власть.

Такая же игра просматривалась и в полемике, развернувшейся по поводу судебного процесса, который оптиматы собирались возбудить против Содерини. Им было мало его головы — они «хотели бы доказать, что он был предателем, и тем самым снять с себя перед народом ответственность за то, что боролись против него». В случае возврата прежнего режима такое решение было бы выгодно им, но не Медичи, потому что осуждению

подвергался не республиканский строй, а один человек; а это совсем не то, подчеркивал Никколо, что потребно тем, «кто хочет разделить с ними (Медичи. — *К. Ж.)* их судьбу, счастливую или злую».

Было совершенно очевидно, что Макиавелли хотел встать вместе с Медичи против истинного врага Республики — олигархической партии. Сторонники «народной», демократической партии потеряли власть потому, что не обладали тактикой борьбы за нее, думал Никколо, который по горячим следам событий записывал свои размышления, мечтая создать «книгу о республиках».

Макиавелли навело на эти мысли то, как Содерини бился в сетях власти. Как править вместе с Советами, изнутри разлагаемыми оппозицией? После переворота каждый задним числом знал, что следовало бы предпринять, дабы избежать его. Содерини сначала не смог или, вернее, отказался пересмотреть свою политику «смирения и терпения», а когда наконец начал лавировать, то делал это неловко и невпопад, проявляя твердость там, где нужна была гибкость. «Когда в государстве зло достигло своей высшей точки, разумнее выждать время, а не атаковать его в лоб». Флорентийцы вовремя не поняли, что необходимо реформировать свои учреждения, дабы создать надежное средство от «высокомерия грандов» и спасти Республику. Государства умирают, когда перестают действовать их учреждения, и история античности изобилует подобными примерами, утверждает Никколо, который ищет ключ к пониманию современности у Тита Ливия, хотя, быть может, все происходит наоборот и именно современность помогает ему понять прошлое.

Изменяться, приноравливаться к приливам и отливам Истории — это признак здоровья; непреклонность и несгибаемость — признак смерти. Нашей смерти. Однако чаще всего, пишет Никколо, «времена меняются, а мы меняться не хотим». Но это не относится к нему. Он никогда «не упорствовал в своем мнении, но всегда уступал обстоятельствам», — скажет Франческо Веттори, знавший его лучше всех.

Против Истории не пойдешь, говорим мы сегодня. Та же волна, что смыла в свое время Медичи, вынесла их теперь на берег и, отступая, утащила в открытое море «народный» режим Содерини. Государи уже здесь, и, следовательно, необходимо договариваться с ними, притворившись, что веришь, будто они получили власть волею народа и надеясь на то, что они продолжат политику, проводившуюся Лоренцо Великолепным и Козимо Старшим, — политику принципата, опиравшегося на народ, а не на грандов.

И вот что Никколо пишет «очень знатной даме» (может быть, матери юного Лоренцо Медичи, сына Пьеро Неудачника): город «надеется жить под защитой этих государей не менее достойно, чем в прошлом, в те времена, когда им правил их отец, доблестный Лоренцо Великолепный».

«Предательство!» — взревут те, кто хотел бы отлить Макиавелли из республиканской бронзы. «Политический цинизм», — решат другие, те, кто обратит этот «урок» в свою пользу. Третьи же оправдают его: это мудрость, скажут они, понимание интересов государства, которые ставятся выше собственных политических пристрастий. Ибо, и мы не можем в этом сомневаться, Никколо тоже мог бы подписаться под объяснением в любви к Флоренции, принадлежащим перу Веттори: «Я люблю всех ее граждан, ее законы, обычаи, стены, дома, улицы, церкви, пригороды, и я не могу представить себе большей боли, чем видеть город преданным беспорядку, а все перечисленное обреченным на опустошение».

Беспорядок, опустошение — вот ключевые слова. Веттори и Макиавелли были сторонниками порядка, честными буржуа, которые из страха (и отвращения) перед анархией готовы были броситься в объятия тирана, надеясь, что его диктатура будет временной! «…В развращенных городах сохранить республику или же создать ее — дело трудное, а то и совсем невозможное. А ежели все-таки ее в них пришлось бы создавать или поддерживать, то тогда необходимо было бы ввести в ней режим скорее монархический, нежели демократический, с тем чтобы те самые люди, которые по причине их наглости не могут быть исправлены законами, в какой-то мере обуздывались властью как бы царской»[76], — напишет Никколо в «Рассуждениях…».

Необходимо было срочно начинать работать во имя мира и во имя будущего. Одновременно с новой властью всегда рождается надежда на то, что та исправит самые вопиющие ошибки своей предшественницы. Никколо хотел верить, что нынешние государи не пойдут по пути своих предков, которые привели к власти Савонаролу («опыт учит» — это распространенное заблуждение часто вновь приводит к власти людей, ранее потерпевших фиаско на политическом поприще), и исправят ошибки последнего правительства, бессилие которого так его возмущало. Кто знает, может быть, Медичи, имея хороших советников, преуспеют там, где Содерини потерпел поражение? В желании Макиавелли сыграть роль, к которой его подготовили, как он сам не без горечи скажет, все годы, проведенные на службе у государства, — годы, «которые он не проспал и не проиграл», — не было ничего постыдного. Служить новым хозяевам Флоренции значило также

служить самой Флоренции. А он только это и умел: «…Я не умею беседовать о шелке и шерсти, прибылях и убытках; мне необходимо беседовать о делах государственных или обречь себя на молчание».

Подобная искренность обезоруживает. Неужели Никколо не понимал, что он «заклеймен» именем Содерини, именем, которое после трагедии Прато, ответственность за которую предпочли возложить на бывшего гонфалоньера, а не на Медичи, хотя именно их действия стали ее первопричиной, внушало отвращение народу? В Прато оплакивали не только тысячи жизней, но и, что еще горше, престиж и честь флорентийцев. Беспорядочное бегство милиции покрыло Флоренцию позором, и именно этого позора не могли простить отцу ополчения, которого больше не существовало: его упразднили так же, как поспешили упразднить все другие республиканские институты, но горечь и злоба остались. Человек Содерини всем мешает, никто не хочет, чтобы он болтался по коридорам Палаццо Веккьо и совал свой нос в бумаги, а во дворце Медичи этот советчик всех раздражает.

Решение избавиться от Макиавелли было принято гораздо раньше, чем он узнал об этом из декрета Синьории, датированного 7 или 9 ноября и отстранявшего его от всех должностей.

Вскоре после государственного переворота ловко, тайно, как было заведено у Медичи, которые всегда избегали любого намека на то, что они добиваются именно личной власти, кардинал Джованни незаметно захватил все рычаги управления и провел чистку правительственных органов. В Канцелярии Макиавелли заменили на бывшего секретаря семейства Медичи. Преданный соратник Никколо Бьяджо Буонаккорси разделил с ним опалу, что не только не утешило Макиавелли, но многократно умножило его растерянность: у него больше не было никакой поддержки во дворце, где торжествовали его соперники и где все делали вид, что не знакомы с ним. Его даже не пускали в здание, хотя и потребовали предоставить отчет о расходах на управление милицией и внести залог в тысячу флоринов, запретив ему покидать территорию государства вплоть до утверждения его отчета. В этой обычной организационной процедуре просматривалось тогда явное желание новых властей погубить Никколо или, скорее всего (надо помнить о том, кем был Макиавелли для своих современников, и забыть о том значении, что он приобрел по прошествии столетий), окончательно дискредитировать Содерини, выдвинув против его подчиненного обвинение в должностном преступлении.

Никколо защищался как мог. То, что секретарь Канцелярии

может лишиться всего имущества, не волновало и не интересовало никого: об этом нет упоминаний ни в хрониках, ни в мемуарах. В одном из писем к Содерини Никколо, из предосторожности разбавляя современность потоком исторических замечаний относительно невозможности найти верный способ обеспечить человеку успех — тема, к которой он будет настойчиво возвращаться в своем творчестве, признается: он «дошел до такого состояния, что ничему больше не удивляется», с горечью открыв для себя, что «ни чтение, ни опыт не научили его разбираться в делах людей».

* * *

Макиавелли думал, что, пережив 16 сентября, он уже все повидал и испробовал, однако ему оставалось пережить еще одно испытание, самое тяжкое. Его обвинили в заговоре против Медичи, арестовали, заковали в кандалы и пытали. Шесть раз его поднимали на дыбу, и впоследствии он будет гордиться тем, что достойно перенес эти мучения.

Даже дознаватели вынуждены были отметить, что Никколо, сыну мессира Бернардо Макиавелли, не в чем было признаваться, если не считать его давнего знакомства с заговорщиками, молодыми людьми из хороших семей, Пьетро Босколи и его другом Агостино Каппони, которые уже давно привлекли к себе внимание политической полиции Флоренции своими крамольными воззрениями. Что до того, каким образом и почему его имя фигурировало в записке, которую выронил из кармана один из этих двух юных безумцев, игравших в заговорщиков (если, конечно, такой документ действительно существовал), Никколо не мог объяснить, даже вися на дыбе.

Игра стоила жизни неосторожным республиканцам, мечтавшим о реванше: 22 февраля юноши были обезглавлены. Это дало возможность кардиналу Джованни спокойно отправиться в Рим на заседание конклава: в ночь на 21 февраля Юлий II отдал наконец Богу душу.

Следствие закончилось 8 марта. Сообщники Босколи и Каппони и те, кого считали таковыми, потому что было доказано, что они обсуждали с казненными «способы проведения революции» (вполне возможно, это были лишь простые интеллектуальные упражнения, столь любимые гуманистами), были приговорены к ссылке. В их числе — Никколо Валори, друг Макиавелли, разделивший с ним трудности первой легации во Францию. Осужденные находились в тюрьме, ожидая, когда

приговор будет приведен в исполнение.

Что касается Никколо, томившегося в застенках Барджелло без всякого приговора, то создавалось впечатление, что о нем просто забыли. Он был мелочью, которой можно было пренебречь. Его незаконное заточение никого не волновало. На что, на кого мог рассчитывать он, чтобы выбраться оттуда? Брат Франческо Веттори входит в правительство, но его нет в городе; Франческо Гвиччардини еще не вернулся из Испании, куда его назначил послом Содерини; Ридольфи и Строцци[77], по-прежнему весьма влиятельные друзья экс-секретаря, которые, скорее всего, и одолжили ему денег для внесения залога[78], требуемого до окончательной проверки счетов, наверное, думали, что и так достаточно сделали для него, и опасались еще больше себя скомпрометировать. Макиавелли советуют обратиться к самому Джулиано Медичи. Брат кардинала Джованни, получивший после женитьбы на Филиберте Савойской титул герцога Немурского (первый знатный титул в этой семье), слывет другом литературы и искусства; его считают человеком достаточно гуманным и чувствительным, чтобы сжалиться над судьбой не экс-секретаря экс-гонфалоньера, но поэта. И Макиавелли сочиняет два сонета, посвященных «Великолепному Джулиано Медичи».

Тут нам следует вспомнить о словах Буонаккорси, который считал, что Макиавелли не способен «пресмыкаться», хотя это качество помогло бы ему получить хоть какую-то защиту от тех, кто клеветой стремился лишить его должности. Необходимо помнить об этом, чтобы оценить неприкрытую — бесстыдную, скажет кто-нибудь, — лесть этих стихов и, конечно же, их иронию. Но все же писать о своих собратьях по несчастью: «Пусть подыхают в петле. В добрый час! А я помилования жду от вас» — это уж слишком! И не надо говорить о страхе и отчаянии, толкавших его на любые низости, лишь бы избавиться от вшей, «жирных и огромных, точно бабочки», и от беспрестанного грохота дыбы, подобного «молнии Юпитера»! В этих стихах нет и следа отчаяния! Никколо просто прикинулся дурачком, что советует в «Рассуждениях…» делать всем, у кого нет возможности начать открытую войну с государем, которым недовольны. «Прикидываться дурачком можно весьма успешно, если хвалить, говорить, смотреть и во всем и всегда действовать вопреки своим собственным склонностям, но сообразно склонностям государя», дабы войти к нему в милость, которая одна только может обеспечить безопасность, и быть готовым, когда придет пора, «подняться в нужный момент над его прахом».

Самого себя Никколо представить в такой роли не мог. Он прикинулся дурачком лишь для того, чтобы привлечь к себе

внимание Джулиано, позабавить его — государь этот слишком умен и хорошо образован, чтобы принять за чистую монету то, что является всего лишь особенностью жанра, — и, кто знает, может, внушить ему мысль сделать остроумца своим придворным шутом. Ведь выйдя из тюрьмы, Никколо вынужден будет как-то зарабатывать себе на жизнь. Почему бы и не пером? Что еще ему остается?

Тюремное заключение окончательно убило надежду, прежде вполне реальную, вернуть себе должность, после того как будут проверены и подтверждены его счета. И именно это обстоятельство стало первопричиной отчаяния Макиавелли.

БЕЗРАБОТНЫЙ

Когда пришло известие о том, что 11 марта кардинала Джованни Медичи избрали папой и он вступил на престол святого Петра под именем Льва X, Макиавелли все еще томился в Барджелло[79]. До его темницы доносились крики радости, треск праздничных фейерверков и веселая музыка. Флоренция упивалась вином, танцами и счастьем, позабыв про Великий пост. Впервые папой был избран флорентиец! И какой флорентиец! Сын Лоренцо Великолепного, тот, о ком отец говорил, что он мудр, тогда как из двух его братьев — Джулиано и Пьеро — один был добр, а другой — безумен. Тридцатисемилетний круглолицый любезный понтифик с близоруким, но приветливым взглядом был избран единогласно. «Все почувствовали вдруг, что Лев пришел к власти и железный век превратился в золотой; так все изменилось, и изменилось столь быстро, что в этом усматривали десницу Божию», — писал Эразм Роттердамский. «Цезарю унаследовал Август», — говорили все.

Что бы это ни было: милосердие Августа или сделка с его самым серьезным соперником, кардиналом Содерини, который снял свою кандидатуру, что и позволило кардиналу Медичи взойти на папский престол (такие вопросы решались путем переговоров), — но папа простил своих политических противников. Бывший гонфалоньер может возвратиться из Рагузы, обвиненные в заговоре — выйти из тюрьмы, а Макиавелли — из своей темницы.

13 марта Никколо кажется, что «наступающие времена увидят больше щедрости и меньше недоверия». Он надеется, что его друг Франческо Веттори, находившийся в Риме, сможет добиться для своего друга пусть самого скромного, но места.

Веттори пришел в замешательство. Конечно, он хорошо устроился в Риме: уважение, которым пользовался его брат, сказалось и на нем, и накануне смерти Юлия II он стал флорентийским послом в Ватикане. И чтобы сохранить свое влияние, он не хотел компрометировать себя ради человека, внушающего подозрения, хотя и не решался признаться в этом даже самому себе. Поэтому он делает вид, что не уклоняется от исполнения дружеского долга, и разражается 15 марта потоком добрых, однако ни к чему не обязывающих слов: «Я в отчаянии от того, что ничем не смог вам помочь, как того заслуживало доверие, которое вы ко мне питали… Теперь, дорогой друг, я хочу этим письмом сказать вам только одно: мужественно примите неудачу, как вы уже не раз это делали; надейтесь — ибо умы

успокаиваются, а удачливость этих людей превосходит воображение, — что вы не всегда будете повержены; и наконец, как только вы сможете свободно пересекать границы, я приглашаю вас пожить у меня так долго, как вы того захотите, если, конечно, я сам останусь здесь, в чем не уверен».

Не следует требовать от людей большего, чем они могут дать. Неужели Никколо не ведал этой истины? Он слишком многого ждал от своего очаровательного друга, одаренного умом, что делало общение с ним особо приятным. Веттори же прекрасно знал себя. «Ты знаешь, насколько я труслив и всего боюсь», — однажды напишет он брату; а 30 марта во втором письме к Никколо: «Хотя я и не возношусь, когда Фортуна ко мне благосклонна, я унижаюсь, когда она отворачивается от меня, и начинаю сомневаться во всем». На него нельзя положиться — это весьма недвусмысленное предупреждение могло бы умилить своей искренностью, если бы не сопровождалось призывом «мужественно принять неудачу».

Никколо в своем ответном письме держится твердо: «…Если наши новые хозяева пожелают дать мне возможность подняться, я буду этим тронут и думаю, что поведу себя так, что они будут довольны. Если они этого не сделают, я удовольствуюсь тем, что буду жить здесь в том состоянии, в каком пришел в этот мир, ибо я родился в бедности и дольше обучался в школе лишений, чем в школе удовольствий».

«Хотя я и не прошел школу лишений в юности, — отвечает уязвленный Веттори, — я усердно буду посещать ее в старости». Он принадлежал к тем людям, которые словами «и я тоже» заставляли замолкнуть надоедливых просителей, к тем, кто признавал свою вину, дабы обезоружить жалобщика, и готов был сам себя высечь. Весьма вяло защищая интересы Тотто, брата Никколо, скромного священнослужителя, желавшего попасть в папский список для получения какого-нибудь денежного вспомоществования, Веттори старается предупредить возможные упреки: «Я уверен, друг мой, вы будете думать про себя, что я выбрал весьма своеобразный способ вести свои дела, и хотя судьбе было угодно поместить меня, посла, у самой колыбели нового понтификата, я не сумел быть достаточно убедительным для того, чтобы включить в список близкого мне человека. Признаюсь, что это, правда, и во многом моя вина, потому что я неловок и не умею помочь ни себе, ни другим». Он кается в надежде навсегда отбить у своего дорогого Никколо желание о чем-либо его просить. «…Везде, где бы я ни был, будь то в деревне, во Флоренции или здесь, я буду всецело предан вам, как и всегда был. Я сожалею о том, что так плохо помог вам, хотя

никогда не мог и не надеюсь в будущем помочь лучше».

Никколо в порыве гордости разыгрывает из себя философа и демонстрирует великодушие: «Письмо, которое я получил от вас, причиняет мне страдания больше, чем веревка на дыбе: я в отчаянии от того, что вы могли подумать, что я позволяю себе огорчаться чем-либо, что касается меня, ибо я приучил себя не испытывать больше страстных желаний… оставь же то, что не получается! Раз и навсегда, о чем бы я вас ни просил, не переживайте, если вы не сможете для меня этого добиться, ибо меня это нисколько не опечалит». Однако не до конца понимая ситуацию, Никколо все еще слишком многого ждет от друга, который уверяет, что «предан ему всецело». «Я узнал, что кардинал Содерини много хлопочет перед понтификом, — пишет Никколо в том же письме от 9 апреля. — Я бы хотел, чтобы вы дали мне совет: считаете ли вы уместным, чтобы я написал ему и попросил рекомендовать меня Его Святейшеству, или будет лучше, если вы сами лично попросите кардинала об этом, или же лучше не делать ни того, ни другого?»

«Ни того, ни другого», — отвечает Веттори и «по зрелом размышлении» приводит свои доводы: сомнения в реальном влиянии кардинала Содерини; опасность, которую может представлять поддержка со стороны человека, являющегося предметом стольких споров; неуверенность в том, что можно получить такую поддержку, если принимать во внимание боязливость покровителя… И дабы перекрыть Никколо все пути, которыми он захотел бы воспользоваться, Веттори ясно дает понять, что не сможет сам быть посредником: «Спасение Пьеро Содерини стоило мне благосклонности одной из сторон и принесло мало благодарности от другой».

* * *

Никколо убивает время, как может, ведя существование, которое, как он пишет, «похоже на сон». В компании приятелей он таскается по улицам Флоренции, кабакам и борделям, питается сплетнями: «Граф Орландо снова втюрился в хорошенького мальчика из Рагузы», такой-то купил новую лавку… другой, едва овдовев, снова хочет жениться, — и кажется, что больше всего его заботит ссора, которую затеял с ним на Понте Веккьо один из собутыльников из-за долга в четыре сольди… Он живет, не живя, как бы между прочим.

В середине апреля ему показалось, что в конце туннеля забрезжил луч света. Лев X, руководивший из Рима политикой

Флоренции, был не очень доволен правлением своего брата Джулиано, который, с его точки зрения, во-первых, был дилетантом и, во-вторых, слишком уж заботился о своей популярности среди сторонников демократии. Он вызвал его в Рим и назначил главнокомандующим Церкви, что полностью отвечало чаяниям этого правителя, развратного, болезненного, снедаемого меланхолией и не имеющего ни вкуса к политике, ни сил, чтобы ее проводить. Отныне, решил Лев X, он сам будет править Флоренцией через своего юного племянника Лоренцо, сына Пьеро Неудачника и честолюбивой Альфонсины Орсини, к которому приставит в качестве секретаря и наставника своего человека, Горо Гери: теперь все, что бы ни случилось во Флоренции, тотчас же станет известно в Риме.

Никколо, воодушевленный известием об отъезде в Рим Джулиано, близкого друга Франческо Веттори, и о том, что кардинал Содерини постоянно находится при папе, питает твердую надежду на то, что Франческо, утвержденный в должности посла, которую боялся потерять, «конечно же найдет способ быть ему полезным». Было бы удивительно, если бы не нашлось возможности «использовать его на какой-нибудь работе, если не для Флоренции, то по крайней мере для Рима и папства: здесь я буду вызывать меньше всего подозрений». Никколо уже представлял себе, как ответит на приглашение друга: «Как только вы там устроитесь, если вы придерживаетесь прежнего мнения (ибо иначе я не смогу уехать отсюда, не вызвав подозрений), я отправлюсь в Рим: я не могу поверить, что буде Его Святейшество пожелает подвергнуть меня испытанию, я не смогу послужить интересам и чести всех моих друзей, служа своим собственным».

Обескураживающий ответ Веттори вновь погрузил его во мрак, из которого, казалось, ничто и никто не сможет его вытащить.

Никколо слишком сильно заблуждался относительно интереса, который его услуги могли представлять для папы. Льву X Макиавелли был не нужен: рядом с папой хватало достойных людей. В первую очередь это был кардинал Биббиена, товарищ по изгнанию. В свое время Лоренцо Великолепный приставил Биббиену, бывшего в то время его секретарем, к своему тринадцатилетнему сыну, добившись от папы Сикста IV кардинальской шапки для секретаря; с тех пор этот прелат — гуманист, писатель и тонкий политик — не покидал своего ученика, разделив с ним все несчастья и превратности судьбы. Он привел его на папский трон, во всяком случае, облегчил восшествие на него. Кроме Биббиены в свите понтифика состояли двое секретарей, которых Лев X выбрал сразу же после

конклава, — Бембо и Садолето, священнослужители, широко известные как ученые, поэты и выдающиеся мыслители. На несколько ступеней выше Никколо Макиавелли этих секретарей ставили их состояние и связи во всех итальянских и европейских государствах. Бембо, близкий друг герцогини Урбино и Изабеллы д'Эсте, уговаривал Беллини написать портрет последней, посвящая в то же время стихи Лукреции Борджа, что вызвало приступ ревности в Ферраре.

Веттори, задним числом осознав, насколько безжалостным было его последнее письмо к Никколо, долго распространялся о своих трудностях: «Наши старания, мои и Паголо, вытащить гонфалоньера из дворца целым и невредимым и вывезти его из города весьма навредили нам». Но кто уговорил братьев Веттори спасти Содерини, если не Макиавелли? Сознательно или нет, но не обвинял ли его Франческо в том, что теперь вынужден сидеть между двух стульев? Не в этом ли кроется причина его нежелания помочь? Конечно, хотя его положение и не столь шатко, как ему кажется, а его покровители сильнее, чем он готов признать, ему необходимо вести свой корабль с большой осторожностью, а Никколо — весьма неудобный пассажир; кроме того, он ничего не может ждать от него взамен: их положение слишком неравно. Веттори, хотя и подчеркивает свою простоту, принадлежит, подобно Ручеллаи, Сальвиати и Ридольфи, к флорентийской аристократии. Его дворец возвышается на берегу Арно, менее горделивый, чем дворец Строцци, которым и сейчас можно любоваться на нынешней Виа Торнуабони, но не менее роскошный.

Возможно ли, не лукавя и не обманываясь, отрицать, что дружба — или то, что мы так называем, — это чаще всего торг? В то же время — ибо все не так просто — Франческо искренне привязан к Макиавелли, насколько ему позволяют его природное легкомыслие и аристократический цинизм. Он не отворачивается от Никколо, напротив, стремится отвлечь его от мрачных мыслей — поговорить о женщинах и о политике. «Мне необходимо беседовать о делах государственных или умолкнуть», — стонет Макиавелли в своем последнем письме. Чтобы избежать молчания, которое рискует между ними установиться, Франческо, не сумев добиться для Никколо места, которое могло бы утолить его страсть, предложит ему «заняться переустройством Европы».

«СВИНАРНИК»

Хвалить политические суждения Никколо — самые точные из ему известных, утверждает Веттори, — значит врачевать открытую рану человека, страдающего от того, что никто не замечает его существования. Никколо тает от благодарности, ликует, оживает, и хотя, удалившись в деревню в свое фамильное имение в Сант-Андреа в Перкуссино, «он дал обет больше не заниматься политикой и не говорить о ней», с легкостью нарушает ради друга эту клятву. А то, что происходит в мире, дразнит его воображение.

Уже весной 1513 года Людовик XII сделал все, чтобы отнять Милан у Массимилиано Сфорца, которого называли «колючкой в глазу у Франции». В апреле он подписал в Блуа договор с Венецией, отдав ей Мантую и итальянские земли императора. Правда, это побудило Максимилиана I и Генриха VIII в том же месяце подписать договор, по которому Франция отходила к Англии, а Северная Италия — к империи. Папа, о котором историк Муратори писал, что тот вел корабль Церкви, сверяя курс по двум компасам, давал понять и тем и другим, что готов их поддержать.

Людовик XII решил поторопить события, и в июне его армия перешла Альпы, вновь безо всякого труда захватила Милан, которому надоели швейцарцы и герцог Сфорца, но вскоре опять позорно убралась восвояси после длившейся всего час битвы при Новаре, когда спешно прибывшие на подмогу из своих кантонов швейцарцы нанесли ей новое жестокое поражение.

Король не мог чувствовать себя в безопасности даже в собственном государстве. В июле Генрих VIII высадился в Кале и вместе с Максимилианом в августе вошел в Теруанну, французскую крепость на границе Фландрии и Артуа, в то время как швейцарцы напали на Бургундию и 7 сентября стали лагерем под стенами Дижона. Что это означало? Крушение Франции?

На фоне происходивших в мире драматических событий между Никколо и Франческо Веттори продолжается удивительная политико-фантастическая переписка. Друзья спорят о мире, «создают» и «разрушают» союзы. Они оба прекрасно знают, что чаще всего, как напишет Веттори, «события развиваются вкривь и вкось, вследствие чего излишне о них говорить, рассуждать и спорить». Но себя переделать невозможно!

В кабинете своего деревенского дома Никколо лихорадочно строчит длинные письма к Веттори, но уже в июле он начинает писать трактат «о власти, скольких она бывает видов, как ее

получают, как сохраняют и как утрачивают» — небольшой трактат «Il Principe», знаменитый «Государь». Никколо очень хотел бы, чтобы Веттори помог представить его труд «Его Светлости Джулиано», которому Макиавелли его посвятил. Папе приписывают намерение, и это ни для кого не секрет, создать, по примеру своих предшественников, государство для своего брата. Если Джулиано прочтет его труд, то Никколо сможет выйти из тени, доказать, что «он не проспал и не проиграл те пятнадцать лет, что провел в заботах о делах государственных», показать, что он обладает богатым опытом, от которого государю глупо отказываться. Это также и единственный способ заставить отступить призрак нищеты, который витает над ним и приводит в ужас, потому что он слишком хорошо знает, что нищета во Флоренции вызывает презрение. Уважение и деньги даются только богатым!

Написал бы Макиавелли «Государя», если бы не испытывал страстного желания привлечь внимание Медичи, чтобы они решились наконец использовать его, даже если бы ему пришлось для начала, подобно Сизифу, катить в гору камень? Никколо не был кабинетным человеком, теоретиком, который мог быть счастлив тем, что у него наконец появилось свободное время для того, чтобы излагать свои мысли. Мыслей, внушенных событиями, у него было, может быть, даже больше, чем у других, ибо такова была его профессия. И чаще всего они шли вразрез с общепринятым мнением, потому что таков уж был его характер. Он почти всегда отстаивал противоположную точку зрения. Друзья считали это недостатком, однако радовались остроте, которую сей недостаток придавал их беседам. Вынужденное бездействие дало Никколо время «тщательно изучить предмет», хотя он бы предпочел потратить это время иначе… Но поскольку все идет так, как идет, то облекать в литературную форму рассуждения, на которые наводили и собственный опыт, и чтение (невозможно писать серьезный труд, не ссылаясь на древних авторов), используя свои доклады и переписку, иногда даже дословно, было весьма увлекательно, тем более что труд этот сопровождали не менее увлекательные дискуссии с Филиппо Казавеккья, другом Никколо.

Макиавелли был не настолько одинок и не настолько покинут богами и людьми, как утверждал. Он не только «опускается» на деревенском постоялом дворе в компании трактирщика, мясника, мельника и двоих кирпичников, но и ведет уединенные ночные беседы с «людьми Древности», одетый сообразно случаю в «царственные придворные одеяния» — в любимый удобный халат. Знаменитое описание жизни в Сант-

Андреа, сделанное Макиавелли в декабре 1513 года, не следует понимать буквально, поскольку это всего лишь ироничный ответ на то, как описал Веттори свою блестящую жизнь в Риме; а общение с древними авторами, которых Никколо вопрошает и которые ему отвечают, есть не что иное, как обыкновенный литературный прием, понимающий взгляд, брошенный одним гуманистом на другого.

…Мирная буколика, приятный юмор, но вдруг перо начинает скрипеть и из-под него, в том же самом тексте, вырывается патетический призыв. Никколо Макиавелли не могла прийти в голову мысль, как позднее Монтеню, выбить на стене своего кабинета слова, которые можно прочесть на стенах библиотеки автора «Опытов»: «В год от Рождества Христова 1571-го в возрасте тридцати восьми лет, накануне Мартовских календ, дня своего рождения, Мишель де Монтень, устав от общественных трудов, будучи еще полон сил, удалился в лоно чистой учености, где в покое и безопасности проведет оставшиеся дни…» Никколо заперся в своей башне не по своей воле, и он мечтает только об одном: выйти из нее. Жилище предков для него не было мирной гаванью, где он мог, подобно Монтеню, наслаждаться «свободой, покоем и досугом». А свой кабинет он не рассматривал как «плодотворный инструмент, дающий наслаждение». Он не устает повторять: Сант-Андреа — это «свинарник», в котором он «прозябает», день за днем и час за часом поджидая знак судьбы, готовый откликнуться на первый же ее зов.

Макиавелли мог на бумаге как угодно жонглировать королями Франции, Испании и Англии, императором, швейцарцами и папой, но что касалось его собственной жизни, то он не знал, как и куда ее направить. Опубликовать свой труд? Не публиковать? Поехать самому в Рим? Не ехать? Отправить его, подобно тому как терпящий кораблекрушение бросает в волны бутылку с запиской? Что об этом думает такой-то? Что об этом думает Веттори? Нерешительность снедает его. Бездействие изматывает, разрушает.

Прошло полгода, а в его жизни ничего не изменилось. Он отправил все-таки рукопись Франческо. Тот сделал «Государю» несколько небрежных комплиментов, но «положил под сукно», уверенный, что «Светлейшего Джулиано» больше интересуют философские спекуляции и зажигательные зеркала, заказанные у да Винчи, который проживал в Бельведере на хлебах у папы. Быть может, в этих восьмидесяти страницах Веттори видел только средство, которое помогло его другу избавиться от горечи и дать выход его возмущению, но наверняка он понимал, что Макиавелли слишком резок в формулировках и опасен в своем

антиконформизме. Принимая во внимание, помимо прочего, недоверие, которое власть питала к бывшему секретарю Содерини, Франческо рассудил, что разумнее будет этот трактат никому не показывать. Веттори отговаривает Никколо от поездки в Рим, чем погружает его в бездну отчаяния. «Значит, я пребуду в своем свинарнике, — отвечает Никколо, — и не найду ни одной живой души, которая вспомнила бы о моей верной службе и поверила в то, что я могу еще на что-нибудь сгодиться. Но так больше продолжаться не может, ибо это подтачивает мое существование. Если Бог не сжалится надо мной, то в один прекрасный день я буду вынужден покинуть свой дом и наняться управляющим или секретарем к какому-нибудь вельможе, коли не смогу найти ничего лучшего, или забиться в какой-нибудь затерянный городишко и учить детей грамоте, оставив здесь мою семью, которая может считать меня умершим…»

УТРАЧЕННЫЕ НАДЕЖДЫ

Рождество 1513 года, казалось, принесло Никколо глоток надежды. «Из вашего письма и от Филиппо (Строцци. — *К. Ж.)* я узнал, что вы не можете безропотно покориться обстоятельствам и проживать в бездействии ваши скромные доходы, — писал ему Веттори, — мы старались найти для вас что-нибудь подходящее в Риме, но не нашли. Поговаривали о том, что, возможно, кардинал Медичи отправится легатом во Францию; узнав об этом, я сразу же подумал о том, чтобы в случае, если это произойдет, дать им знать, что вы уже бывали там, что обладаете обширными связями при этом дворе и знанием их обычаев. Если это удастся — слава Богу, если нет — мы ничего не потеряем».

Ничего, если не считать еще одной надежды.

Но папа, как мы уже говорили, не нуждался в услугах Никколо Макиавелли. У него под рукой был человек, быть может, даже более подходящий: епископ Лодовико ди Каносса, «сердце папы», как его называли. Лев X послал епископа во Францию, чтобы тот не допустил франко-испанского альянса, мысль о котором неотступно его преследовала, и помешал браку между Рене Французской, второй дочерью Людовика XII, и одним из внуков Фердинанда Католика — браку, который укрепил бы альянс, но мог окончательно сразить папу. Флорентийский посол должен был доказать королю, что такой союз будет «безнадежным средством», и внушить ему мысль о сближении с Англией, которое сделало бы всякую другую комбинацию затруднительной, если не сказать — невозможной. Каносса блестяще справился с заданием, убедив Людовика XII жениться на юной сестре Генриха VIII, чтобы получить наконец наследника мужского пола, которого Анна Бретонская, скончавшаяся в январе 1514 года, так и не смогла ему подарить.

Конечно, Никколо очень хотел бы сам дергать за все эти веревочки, но никто даже и не подумал воспользоваться его помощью — никто, кроме Веттори и Филиппо Строцци. Дружба последнего с Макиавелли не пострадала даже после того, как Содерини осудил его брак с сестрой Лоренцо Медичи.

Год спустя, в декабре 1514 года, появляется новая надежда. Людовику XII приписывали намерение в союзе с Венецией вернуть себе Ломбардию. «Коль скоро император, Католик и швейцарцы договорятся между собой ради того, чтобы ему помешать, скажите, как, по вашему мнению, должен будет поступить в такой ситуации папа, — пишет к Никколо Франческо Веттори. — Если он объединится с Францией, чего может он ждать от нее в случае

победы? Чего он может опасаться со стороны ее противников в случае поражения? Если он будет соблюдать нейтралитет, чего опасаться со стороны победившей Франции или со стороны ее врагов, если победят они?»

Ответы на эти трудные вопросы Веттори берется передать папе от лица Макиавелли и сделать это «в подходящий момент».

Веттори совершенно справедливо полагал — и не считал нужным это скрывать, — что хотя его друг уже два года как «прикрыл лавочку», он не забыл своего ремесла. В горячке и возбуждении Никколо составляет одно за другим два огромных письма, в которых содержатся подробный анализ политической ситуации, оценка сил противостоящих сторон, подсчет благоприятных и отрицательных последствий того или другого решения. Он учитывает все и приходит к выводу, что Льву X следовало бы разыграть французскую карту: «Его Святейшество владеет двумя замками, одним в Италии, другим во Франции. Если он выступит против Франции, а та победит, он будет вынужден разделить судьбу проигравших и отправиться умирать с голоду в Швейцарию, или, потеряв всякую надежду, жить в Германии, или же его ограбят и продадут в Испании. Если же он примет сторону Франции и та потерпит поражение, Его Святейшество все равно сохранит себе Францию, свой дом, королевство, всецело ему преданное и стоящее папской тиары, и короля, который посредством войны или каким-либо иным способом может тысячу раз вернуть ему его прежнее достояние».

В таком заключении было слишком много лихости, и предложение поставить на Францию было не совсем тем советом, который ожидал получить Святой престол, предпочитавший, чтобы его укрепили в желании соблюсти нейтралитет. Веттори не спешит довести предложенное Никколо решение до сведения кардинала Медичи, который — в своем письме Франческо умолчал об этом — просил его посоветоваться с Макиавелли. Однако 30 декабря папа, кардинал Биббиена и кардинал Медичи прочли оба письма и, по утверждению Веттори, были восхищены умом Никколо и похвалили его суждения. Но не следует, добавил верный друг, ждать от этого никакого другого плода, кроме похвал.

Более чем вероятно, что советы Макиавелли вызвали все-таки некоторое недовольство. Отказаться от нейтралитета, ради того чтобы крепко связать себя с Францией, означало для Льва X отказаться от возможности объединить Парму и Пьяченцу, чтобы создать княжество для своего брата Джулиано, подобно тому как Александр VI поступил с Романьей ради Чезаре. Ведь Людовик XII никогда не согласится отделить эти города от герцогства

Миланского.

Сколько карточных домиков рушится, не успев простоять и часа! От мысли о том, что, если Джулиано получит во владение Парму, Пьяченцу и Модену, а Паоло Веттори, брат Франческо, будет назначен туда правителем, он же, Макиавелли, канцлером вышеназванного, Никколо просто бросало в жар! Однако Джулиано не получил этих владений, что избавило Никколо от жестокого унижения, если судить по письму Ардинелли, секретаря папы, к Джулиано Медичи: «Кардинал Медичи под большим секретом спросил меня вчера, известно ли мне, что Никколо Макиавелли якобы состоит на службе у Вашего Превосходительства, и поскольку я ответил ему, что мне об этом ничего не известно и что я в это не верю, Его Светлейшее Преподобие сказал мне буквально следующее: „Я тоже этому не верю, однако поскольку слухи об этом дошли до нас из Флоренции, я напоминаю ему, что это ни в его, ни в наших интересах. Должно быть, это придумал Паоло Веттори. Напишите ему от моего имени, что я требую больше не впутывать меня ни во что, что имеет касательство до Никколо“».

Невозможно выразиться более ясно!

Никколо уже не раз пробовал это лекарство, когда, устав от сидения в своем «свинарнике» и стремясь скрыться от недовольного взора Мариетты, ускользал во Флоренцию «к какой-нибудь девке, чтобы вновь набраться сил». Сначала в компании, пока та еще существовала; но поскольку его корабль дал течь, прежние приятели быстро покинули судно. Какая ему разница, ведь оставалась гостеприимная Ричча! И хотя она была измучена жалобами своего философа, но, будучи доброй девушкой, все же позволяла ему сорвать поцелуй.

* * *

«Посмотрим, сможем ли мы привести свою галеру куда-нибудь, если будем грести; а если нам это не удастся, по соседству всегда найдется какая-нибудь красотка, чтобы провести с ней время; так надо относиться и к жизни», — писал Веттори к Макиавелли, предлагая приютить его в Риме, но снабдив все же свое приглашение словом «если».

Поцелуев Никколо раздавал, срывал и получал несчетное количество. По его собственному признанию, всю жизнь он следовал за любовью «через горы и долины, через леса и поля», не отказывая себе ни в одном приключении, строго следуя совету, который дал когда-то своему младшему другу Франческо:

«Удовольствие, которое вы получите сегодня, вы не сможете получить завтра… Я считаю, считал и буду считать всегда, что Боккаччо прав, когда говорит: „Лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано“».

Любовь, соглашался Веттори, прогоняет грусть, которой ни за что нельзя поддаваться. Для Франческо любовь была — не будем бояться называть вещи своими именами — непрерывным гоном: «Я не знаю ничего, о чем было бы так же приятно говорить и что было бы так же приятно делать, как… женщину. Великие люди могут философствовать сколько угодно, это чистая правда; многие ее понимают, но мало кто решается высказать вслух».

Однако тот символ веры, который Никколо столь часто повторял вместе с другом, вдруг оказался неуместным. Макиавелли склонился «пред властью Лучника, который снарядил свой лук, колчан и стрелы, чтобы ранить его». Впервые он по-настоящему влюбился. Седина в бороду, бес в ребро, ухмыльнется кто-то. Возблагодарим же этого беса за то, что он прогнал других и походя обогатил любовную палитру Никколо менее грубыми оттенками:

«…Я встретил создание одновременно столь учтивое, столь нежное, столь благородное само по себе и из-за положения, в котором она находится, что я не могу так превозносить и так любить ее, как она заслуживает. Мне следовало бы, по вашему примеру, рассказать вам, как родилась эта любовь, в какие сети она меня поймала, где их расставила и какими они были… Знайте только, что ни мои неполные пятьдесят лет не причиняют мне страданий, ни самые трудные пути не отвращают меня, ни тьма ночная не пугает. Все мне кажется легким, и я смиряюсь со всеми ее причудами, пусть даже они непривычны и противны моей природе. Возможно, я создам себе много забот, *tamen*[80] в самих этих заботах я нахожу столько сладости, столько пленительной нежности в этом лице; я изгнал из своей души всякое воспоминание о своих страданиях и ни за что на свете не хотел бы освободиться от подобных забот, даже если бы и мог. Я оставил всякую мысль о важном и серьезном. Мне больше не доставляют удовольствия ни чтение о событиях Древности, ни споры о делах сегодняшних…»

Эта родившаяся летом 1514 года связь — платоническая или нет — с соседкой по деревне, нежной и страдающей жертвой недостойного мужа, занимала Никколо, по-видимому, в течение всей осени и зимы, потому что и в конце января 1515 года он продолжал говорить Франческо о своей подруге: «Единственное убежище и единственная гавань для моего челнока, который непрекращающаяся буря лишила и паруса, и руля».

* * *

Италия тоже, казалось, неслась без руля и без ветрил; непонятно было, куда и с кем она плывет. Не было больше флорентийской политики, отдельной от политики Рима, а последняя, находившаяся исключительно в компетенции папы, была весьма переменчива. Если Юлий II легко заключал и разрывал союзы, чтобы управлять миром, то Лев X действовал всегда не спеша и заботясь о том, чтобы получить наибольшую выгоду. В 1513 году Никколо с безжалостной иронией констатировал: «Мы видим мудрого папу… непостоянного и капризного императора; гневливого и трусливого короля Франции; скупого и бесчувственного короля Испании; богатого, жестокого и жадного до славы короля Англии; диких, наглых и победоносных швейцарцев; мы же, итальянцы, бедны, честолюбивы и унижены». Картина, достойная висеть в историческом музее!

Европа неожиданно помолодела. Людовик XII умер в самом начале 1515 года, накануне нового похода на Италию, едва успев вкусить от радостей брака с совсем еще юной Марией Английской — «прекрасной дылдой, посланной Генрихом VIII для того, чтобы свести короля Франции в могилу», смеялись все вокруг. Поскольку у покойного короля не было сына, трон унаследовал его зять и кузен, герцог Ангулемский Франциск I, — супругу королевы Клод было двадцать лет. То же и в Испании: Фердинанд Католик, престарелый муж Жермены де Фуа, не замедлил освободить место для своего внука, который в шестнадцать лет стал королем Испании, а в девятнадцать — императором[81].

Было ясно, что Италия для этих молодых людей будет прекрасным полем битвы.

Франциск I, необузданный и пылкий, уже через семь месяцев после коронации перешел через Альпы, разбил швейцарцев в Мариньяно и отвоевал Милан и все герцогство, которое Массимилиано Сфорца уступил ему в обмен на почетную ссылку при французском дворе.

Папа Лев X не прислушался к советам Макиавелли, — если предположить, что Веттори их ему и вправду передал, — и принял сторону Испании. Но апокалиптические предсказания Никколо не сбылись: король Франции был милостив к побежденному папе. В декабре он встретился с ним в Болонье и согласился пожертвовать герцогом Урбинским, Франческо-Мария делла Ровере, дабы папа, как он того хотел, смог создать княжество для своего племянника Лоренцо. В благодарность Лев X пожаловал королю инвеституру на королевство

Неаполитанское, которое прежде хотел отдать тому же Лоренцо.

Все эти события держали Италию в постоянном напряжении. Что касается Макиавелли, то его, кажется, перестала интересовать «живая история» с тех самых пор, как он понял, что ему больше не дадут к ней прикоснуться.

Жизнь продолжалась. Не такая бесплодная и приводящая в отчаяние, не такая безнадежная, как представлялось. В конце концов Никколо оставил в деревне свою любовь и ее «горько-сладкие цепи» и возвратился во Флоренцию. Он продолжает — по душевной склонности или от тоски — греться у огня Донато дель Корно, содержателя игорного дома и своего старого приятеля, ради которого (способ доказать свою полезность) «изводит» Веттори просьбами, чтобы Медичи уплатили означенному Донато свои долги. Но вечера Макиавелли проводит в гораздо более приятной компании.

Козимо Ручеллаи[82] (как прежде и его отец Бернардо Ручеллаи — друг и зять Лоренцо Великолепного), отправившийся в добровольную ссылку, дабы таким образом продемонстрировать свое несогласие с правлением Содерини, открыл для интеллектуальной элиты Флоренции и всей Италии свой родовой дворец, истинную драгоценность, созданную Леоном Баттиста Альберти. *«Ave hospes»*[83] — написано было на пороге дворца. В его садах, называвшихся «Orti oricellari» (от «oricello» — щавель, который вымачивали в моче для того, чтобы затем получить краситель для ткани, на чем и разбогатело семейство Ручеллаи), можно было встретить людей всех возрастов и положений, аристократов, «популяров», сторонников Медичи, последователей Савонаролы и республиканцев. Общим знаменателем была не политика, но вкус к творениям человеческого ума и свободным беседам на любые темы, изысканным и страстным. Никколо чувствовал себя там свободно и непринужденно: его знали самые старшие, те, кто входил еще в правительство Содерини, а молодежь быстро оценила его жестокую иронию, задор и неизменное нежелание соглашаться с общепринятыми взглядами.

Здесь не предавались возвышенным философским спекуляциям, как то делали прежде неоплатоники Фичино, собиравшиеся вокруг Лоренцо Великолепного; никто не отстранялся от жизни и от современности, а чтение и обсуждение трудов древних авторов имело своей целью отыскать в прошлом объяснение настоящему и подготовить будущее. Беседовали также и о литературе. Читали стихи, свои и чужие, веселые новеллы и комедии. Никколо представил, помимо прочего, своего «Золотого осла»[84]: «приключения, страдания и муки, которые я перенес под видом осла», пародию на тему «Метаморфоз» Апулея,

веселую поэму, которую он, не удержавшись, нашпиговал политическими остротами о разложении государств и их восстановлении. Волна любовной страсти, которая еще недавно так далеко занесла его, ушла благодаря новым друзьям, и ему «снова доставляют удовольствие чтение о событиях Древности и споры о делах сегодняшних».

Там, под сенью магнолий, кипарисов, апельсиновых и других более редких деревьев, в беседках, увитых виноградом, в аллеях, украшенных статуями, колоннадами, барельефами, снятыми с древнеримских развалин Фьезоле, сидя на траве у фонтана из узорного мрамора, он создавал «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», в которых предлагалось построить новое государство по римскому образцу, общество «свободное» и «народное». Никколо посвятил свой труд Дзаноби Буондельмонти и Козимо Ручеллаи, которые заставили его написать то, что без их вмешательства сам он, как признавался в предисловии, никогда бы не написал.

Общественное недовольство стимулирует политическую мысль, а недовольство, вызванное правлением Лоренцо Медичи, которого его дядя, папа римский, сделал главой Флоренции, росло с каждым днем.

Правда, первое время все, и Никколо в том числе, этому радовались. «Я не премину рассказать вам о том, как Светлейший Лоренцо доселе себя вел, — пишет он Франческо Веттори, — его поведение таково, что порождает самые лестные надежды в городе, и все в нем словно напоминает лучшие черты его предка. В самом деле, Его Светлость ревностно занимается делами; он любезен и полон благородства в аудиенциях и отвечает только после зрелого размышления…»

Правда и то, что, поскольку Веттори являлся близким другом Лоренцо, в поведении Макиавелли была большая доля расчета, и было бы весьма глупо возмущаться этим. Никколо изменил посвящение Джулиано, первоначально предпосланное «Государю», и преподнес рукопись юному владыке Флоренции. Говорят — но скорее всего это выдумка, — что в тот же день Лоренцо подарили пару легавых, кобеля и суку, и по этой причине он забыл и о трактате, и о его авторе.

К этой неудаче прибавилось разочарование, разделяемое всеми флорентийцами, вынужденными признать, что Медичи, от которого столько ждали, не давал себе труда сохранять хотя бы видимость республиканского правления, как советовал дядя, доверяя ему власть. С жестокой иронией Макиавелли пишет в «Рассуждениях…»: «Тому, кто стремится или хочет преобразовать государственный строй какого-нибудь города и желает, чтобы

строй этот был принят и поддерживался всеми с удовольствием, необходимо сохранить хотя бы тень давних обычаев, дабы народ не заметил перемены порядка, несмотря на то что в действительности новые порядки будут совершенно не похожи на прежние. Ибо люди вообще тешат себя видимым, а не тем, что существует на самом деле»[85].

К титулу «Генеральный капитан Флоренции», который Лоренцо с блеском носил, добавился титул герцога Урбинского. Папа дождался безвременной, но неизбежной из-за слабого здоровья кончины своего брата Джулиано и с согласия Франциска I завладел этим герцогством: Джулиано постоянно противился этому из признательности к семейству Монтефельтро, которое приняло и обласкало их с братом в Урбино во времена их несчастий. Лоренцо, казалось, упивался властью, и это тревожило даже самых ярых сторонников Медичи, что касается республиканцев и оптиматов, то для них это было просто невыносимо. Впервые в истории рода Медичи один из них открыто требовал абсолютной власти во Флоренции, что вызвало неудовольствие Льва X.

Осознавал ли Никколо, даже если продолжал считать, что абсолютизм способствует возрождению государства — «… необходимо быть одному, если желаешь заново основать республику или преобразовать ее», — что его трактат, созданный для государя, который, как предполагалось, заботится об общественных, а не о собственных интересах (утопия просвещенного деспотизма), мог превратиться в «настольную книгу начинающего тирана»? Или же, посвятив ее Лоренцо, он считал, что «истинный способ найти дорогу в рай — это изучить дорогу к дьяволу, чтобы избегать ее»?

Никто «под свежей сенью этого прекрасного сада» Ручеллаи не забывал трагедии, обрушившейся на флорентийцев в Прато, и последствий, которые имело это поражение. Может быть, для того, чтобы оправдать перед «своими послеполуденными друзьями» идеи, которые вдохновили его на создание ополчения, «его детища», Макиавелли и создал между 1516 и 1519 годами семь диалогов «О военном искусстве». Он вывел на сцену своих друзей: Дзаноби Буондельмонти, Баттисту делла Палла, Луиджи Аламанни. Они окружали гостя Козимо Ручеллаи, знаменитого кондотьера Фабрицио Колонна, который, как сообщал автор, «по пути из Ломбардии, где он долго и славно сражался за короля Испании, проехал через Флоренцию и провел там несколько дней, дабы посетить Его Сиятельство герцога (Лоренцо Медичи. — *К. Ж.)* и встретиться с некоторыми дворянами, с которыми прежде был в тесной дружбе».

Это подражание классическому трактату «De re militari»[86] Вегеция, послужившему образцом и для книги «Розовый куст войн» Людовика XI, содержало оригинальные идеи Никколо, которые он давно проповедовал, заостренные — сейчас мы сказали бы «радикализованные» — его личным опытом. Для спасения государства Макиавелли готов был поставить под ружье всю нацию и призывал, если потребуется, к тотальной войне, которую должна будет начать политическая власть, нераздельная с властью военной.

Посвятив свой трактат Лоренцо Строцци, сыну Филиппо, близкому к Медичи, так как он был их родственником и советником, Никколо и на этот раз надеялся, подсуетившись, выйти из немилости.

Надежда эта вспыхнула вновь в 1519 году после кончины Лоренцо Медичи, преждевременная смерть которого, так же как смерть его дяди Джулиано, возможно, была вызвана одними и теми же причинами: слабым здоровьем, подорванным к тому же разгульной жизнью. Папа поручил кардиналу Джулио править Флоренцией, которая продолжала называться республикой. Будучи архиепископом Флоренции, Джулио Медичи показал себя человеком сдержанным, любезным, исполненным уважения к магистратам в том, что касалось выполнения ими административных функций, но в то же время заботящимся о рядовых людях. Часто видели, как он беседует то с теми, то с другими, стремясь быть ближе к своим сторонникам. Он говорил, что любит флорентийцев, тех флорентийцев, которые привели к

власти его род, и что желает забыть все несправедливости, причиненные ими его семье. Не в этом ли настроении он попросил Макиавелли — без сомнения, по инициативе Строцци — составить проект реформы государственных учреждений, которой настоятельно требовало возбужденное общество?

Можно себе представить, с каким пылом Никколо принялся за работу, результатом которой стал проект конституции. О ней исследователь Эдмон Баринку сказал: «…она составлена так хитро, что, оставаясь абсолютно монархической при жизни возлюбленных государей, могла превратиться после их смерти (естественной смерти, само собой разумеется) в конституцию вполне республиканскую».

В этом проекте можно усмотреть и черты того, что впоследствии назовут «макиавеллизмом», и проявление обыкновенного здравого смысла. Папы и кардиналы не вечны, и в роду Медичи не оставалось никого, кто мог бы принять эстафету у тогдашних государей. Лоренцо, в прошедшем году пышно отпраздновавший в Амбуазе свое бракосочетание с кузиной Франциска I, оставил после себя младенца, дочь Екатерину (будущую королеву Франции), которая воспитывалась вместе с побочным сыном Джулиано Ипполитом и его кузеном Алессандро, сыном кардинала Джулио и мавританской рабыни. Следовательно, необходимо было думать о будущем. «Для благополучия республики или царства недостаточно иметь государя, который правит мудро при своей жизни; им нужен такой государь, который подарит законы, способные поддержать их после его смерти», — читаем мы в «Рассуждениях…». Время после Медичи Никколо не мог себе представить иначе как возврат к демократии, возврат, который в интересах Флоренции сами Медичи должны были подготовить. Избежать беспорядка, порождаемого пустотой, — в этом должно было состоять их величие.

Такой план, кстати, вполне реалистичный, свидетельствует, как нам кажется, еще и о душевной чистоте его автора. Как можно было ожидать от Медичи признательности по отношению к тому, кто предлагал им самим вырыть себе яму?! Никколо, будучи реалистом, но оставаясь при этом неизлечимым идеалистом, предан был своей первой республиканской любви; предан, но только в соответствии с принципом «изменчивости», когда мужчины с завидным постоянством возвращаются к одному и тому же типу женщин.

Если кардинал Джулио хотел испытать экс-секретаря Содерини, он мог считать, что все для себя выяснил. Конечно, кардиналу гораздо больше понравилась комедия[87], написанная

Макиавелли, постановку которой он имел честь увидеть во Флоренции год назад по случаю свадьбы Лоренцо Медичи, чем государственные идеи ее автора. Никколо не услышит от него никаких слов о своем «Рассуждении о реформе государственного устройства Флоренции»: кардинал уехал в Рим на помощь папе.

Здоровье понтифика ухудшилось. Лев X уже давно страдал от «неудачно расположенного» свища и лихорадки. По предписанию врачей он жил вне Рима в своей резиденции в Мальяно, доверив дела своему кузену Джулио, который, как считалось, «держал в своих руках все карты», и кардиналу Биббиене.

Флоренцию кардинал Джулио оставил на Сильвио Пассерини, человека хитрого и изворотливого, которого все очень скоро возненавидели за непомерную жадность.

В садах Ручеллаи до поры до времени ограничивались теоретическими рассуждениями об идеальном государственном устройстве и свободе граждан. Но, слушая Макиавелли, читающего страницы своих «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», Дзаноби Буондельмонти и Луиджи Аламанни загорались республиканскими идеями, отлитыми по римскому образцу. Перейти от рассуждений к действию, вырвать у Медичи их неслыханную власть, вернуть флорентийскому народу свободу стало целью их жизни. Они ждали лишь благоприятного момента.

* * *

После смерти в 1519 году Максимилиана I король Испании стал императором Карлом V, что явилось началом беспощадной войны между ним и Франциском I за верховенство над Италией: «Франциск мешает Карлу, потому что, будучи хозяином Милана, он угрожает Неаполитанскому королевству, а Карл мешает Франциску, потому что тот, будучи хозяином Неаполитанского королевства, угрожает герцогству Миланскому».

Весной 1521 года король Франции начал военные действия на всех фронтах: в Наварре, Люксембурге и Неаполитанском королевстве, где он рассчитывал на помощь папы. Лев X после продолжительных колебаний поступил так, как поступал всегда, и в нарушение подписанных в Болонье после сражения при Мариньяно соглашений решил в июне примкнуть к противникам Франциска I, в очередной раз отмахнувшись от советов, данных ему когда-то Макиавелли. Правда, потеряв Наварру и почти потеряв Ломбардию, Франция тогда находилась в весьма затруднительном положении. Карл V, напротив, манил папу обещанием вернуть ему Парму и Пьяченцу — владения Феррары.

События развивались так, что, казалось, оправдывали выбор, сделанный папой. Лотрек, правитель Милана (должность, которую он получил не за свои заслуги, но благодаря сестре, Франсуазе де Шатобриан, всемогущей любовнице Франциска I), наделав множество политических ошибок, которые спровоцировали восстания в городах Ломбардии, теперь плодил ошибки военные. Его некомпетентность, помноженная на нехватку средств — у него не было денег на оплату услуг швейцарцев, — весной 1522 года станет причиной разгрома французской армии в сражении при Бикокке, потери Лоди и всего герцогства Миланского. Но осенью 1521 года он уже потерял Милан, Парму и Пьяченцу.

Папа был полностью удовлетворен, получив 24 ноября волнующее известие о том, что его отряды вместе с армией императора вошли в Милан: наконец-то он сможет вернуть себе Парму и Пьяченцу, обещанные ему императором, и, кто знает, получить для кардинала Джулио Милан и, может быть, даже Феррару. Мечта Юлия II о Северной Италии, объединенной властью папы римского, может наконец осуществиться! На этот раз французы, кажется, будут окончательно изгнаны из Италии!

Но в приливе радостного возбуждения Лев X забыл одеться потеплее и 1 декабря 1521 года умер от пневмонии, которую подхватил в ту ночь всеобщего ликования. Кардинал Джулио Медичи покидает войско папы, которым он командовал, и направляется в конклав.

Молодые республиканцы, среди которых были не только члены кружка Ручеллаи, посчитали этот момент удобным для того, чтобы восстановить во Флоренции республиканское правление, а кардинала — изберут его папой или нет — поставить перед свершившимся фактом. Они тешили себя надеждой, что Джулио Медичи будет открыт для переговоров. Не он ли после своего вступления во владение Флоренцией спрашивал совета у ее граждан? Не он ли просил Макиавелли разработать проект реформы государственных учреждений?

Заговор был раскрыт задолго до своего начала. Расправа была безжалостной. Двое заговорщиков взошли на эшафот. Один из них — либо Луиджи Аламанни, близкий друг Макиавелли, которому тот посвятил «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки», и один из собеседников трактата «О военном искусстве», либо его двоюродный брат, носивший то же имя. Другим, к счастью, удалось бежать в Венецию и Лион, как и другому Аламанни, который закончит свои дни при французском дворе[88]. Эти события, однако, не задели Макиавелли, и он продолжал свой путь к возрождению.

* * *

Еще в 1518 году необыкновенным успехом пользовалась его комедия «Мандрагора», слух о которой дошел до других итальянских городов и даже до самой Венеции, где настоятельно требовали еще одну комедию того же автора.

Все оценили новизну этой пьесы, сюжет которой на этот раз ничем не был обязан древним. Публика аплодировала истории о «самом доверчивом и глупом муже Флоренции», которого жена, красивая, умная и благонравная, обманутая лукавым и сребролюбивым монахом, наградила рогами с его же собственного благословения и к величайшему удовольствию одного безумно влюбленного, правда, и к ее удовольствию тоже. «И то, чего муж мой пожелал на одну ночь, — заявит молодая женщина, понявшая наконец, чего она хочет, — пусть получит до конца своих дней». Зло благодаря казуистике и жизнерадостности превратилось в добро. Это была ироническая версия «морали» «Государя»: достоинства твоего поведения в глазах ближнего и в глазах народа зависят от полученного результата. И пусть негодуют те, кто закрывает глаза из страха увидеть, что «король голый»!

Таким способом Никколо и сам освобождался от меланхолии. Пролог пьесы не оставляет сомнения в этом:

> И если легкомысленный сюжет
> украсит вряд ли имя
> того, кто мудрым бы считаться рад, —
> корить за легкость автора не след:
> затеями пустыми
> он скрасить хочет дней унылый ряд.
> Он обратил бы взгляд
> к серьезнейшим предметам,
> однако под запретом другие
> начинанья для него:
> за них ему не платят ничего[89].

В этих строках отзвук того, о чем он писал Веттори пять лет назад, подражая Петрарке:

> И если иногда пою я и смеюсь,
> То только потому, что не могу иначе
> Излить всю горечь слез моих.

В то время как в Виттенберге Лютер обнародовал свои девяносто пять тезисов и собирался сжечь буллу, отлучавшую его от Церкви, в Риме непристойные шутки, описание распущенного общества, продажного монаха и шпильки, отпускаемые в адрес Церкви автором, насмехавшимся над «грехом, смываемым святой водой», не только не возмутили Льва X, большого любителя театра, но так позабавили его, что он велел поставить пьесу в Ватикане.

В 1520 году Строцци получил от папы разрешение на печатание трактата Макиавелли «О военном искусстве». Этот труд заслужил похвалу Джованни Сальвиати, очень влиятельного кардинала, сына Лукреции Медичи, племянника папы: «Я благодарю вас за то, что вы напечатали эту книгу ко всеобщей пользе всех итальянцев. Если она и не создана для того, чтобы служить руководством к действию, она, по крайней мере, станет прекрасным свидетельством того, что в Италии в наш век был хотя бы один наблюдательный человек, который смог понять, каков наилучший способ ведения войны, и я немало вам признателен за то, что вы тотчас же мне ее послали и что я был в Риме первым, кто прочел столь прекрасный труд, воистину достойный вашего ума, опыта и мудрости. Я призываю вас продолжать обдумывать и сочинять подобные вещи и делать честь нашей родине вашим талантом». Настоящий образец для тех, кто испытывает затруднения при необходимости отвечать авторам присланных в дар книг! Правда, кардинал не предложил автору ничего, кроме фимиама.

Однако ветер переменился настолько, что для решения спорных вопросов флорентийцы снова решили прибегнуть к опыту Никколо Макиавелли. Старейшины корпорации торговцев шерстью посылают его в Геную, а затем в Лукку. Юный влюбленный из «Мандрагоры» говорил правду: «Вообще-то положения, из которого не было бы решительно никакого выхода, на свете нет. И пока теплится хоть малейшая надежда, человек не должен впадать в отчаянье»[90].

Письмо от Баттисты делла Палла, полученное весной 1520 года, и стало для Никколо такой надеждой: «В частной беседе я говорил с папой обо всем, что имело к вам касательство, и по всем признакам он весьма к вам расположен… Папа поручил мне передать кардиналу Медичи сразу по моем возвращении, что Его Святейшество был бы очень рад, если бы добрая воля Его Преподобной Светлости привела к какому-нибудь результату для вас; я уверен, что скажу ему об этом достаточно убедительно и сумею его уговорить, дабы наши усилия добиться для вас жалованья и должности писателя или какой-либо другой

должности, как мы о том говорили, не пропали втуне; вот об этом я и говорил так долго с папой, и это он мне и поручил».

Никколо горячо благодарил своих друзей и старался скрыть разочарование: писателем он стал главным образом по необходимости. Вот если бы его писания могли вновь открыть для него двери в большую политику! Но Медичи упорно держали их закрытыми. Однако ничего нет плохого в том, чтобы покрасоваться, распустить хвост и попытаться убедить их в том, о чем писал он в главе двадцатой «Государя»: «Нередко государи, особенно новые, со временем убеждаются в том, что более преданные и полезные для них люди — это те, кому они поначалу не доверяли (государю. — *К. Ж.)*… всегда гораздо легче приобрести дружбу тех, кто был доволен прежней властью и потому враждебно встретил нового государя, нежели сохранить дружбу тех, кто был недоволен прежней властью и потому содействовал перевороту»[91]. Рассуждение, согласимся, на первый взгляд весьма справедливое, но эта защитительная речь *pro domo*[92] не привлекла ни малейшего внимания ни к автору, ни к его докладу о государственных учреждениях Лукки, составленному им по собственной инициативе во время его полуофициальной миссии.

Он привез из Лукки и тридцать наскоро исписанных страничек, которые сыграли в его судьбе более важную роль, чем многое из того, что он до сих пор сочинил ценой стольких мук и трудов. Все, что писал, он представлял затем на суд своих «послеполуденных друзей», ища их похвал и критических замечаний. В садах Ручеллаи, если верить письму Дзаноби Буондельмонти к «своему достойнейшему другу Никколо Макиавелли, секретарю в Лукке», на них не скупились.

«Мы получили ваше письмо от 29 августа одновременно с вашей „Жизнью Каструччо Кастракани“, которая нам очень понравилась потому, что это вещь приятная сама по себе, и потому, что вы там неоднократно вспоминаете своих друзей; мы читали и изучали ее вместе: Луиджи, Гвидетто, Диаччетино, Антонфранческо и я, — и пришли к заключению, что она хороша и хорошо написана. Конечно, некоторые места, уже и без того весьма хорошие, можно было бы улучшить, среди прочего последнюю часть, содержащую остроумные высказывания и колкости героя: они выиграли бы, если бы вы их сократили, этих острот слишком много и среди них много таких, которые можно приписать другим персонажам, как древним, так и новым; некоторым из них не хватает живости и силы, приличествующих столь важным героям… труд ваш видели и читали Якопо Нарди и Баттиста делла Палла… а также Пьерфранческо Портинари и

Алессандро… он был удостоен похвалы и в целом, и в частностях, ибо каждый в свою очередь задумывался, обсуждал и останавливал свое внимание как на сути, так и на форме выражения ваших чувств и мыслей».

В этом небольшом труде безо всякой заботы об исторической правде описывался жизненный путь одного «государя и кондотьера» из Лукки эпохи Треченто[93] — героя, каких любил придумывать Никколо, то есть вырвавшегося на свет из тьмы неизвестности благодаря своей мудрости, доблести и умению поймать удачу за хвост. Но то, что мы сейчас снисходительно называем историческим романом или выдуманной биографией, неожиданно принесло ему признание как историку. «Все сошлись во мнении, что вы должны поспешить написать историю, о которой идет речь», — сообщает ему Буондельмонти в том же письме. История, «о которой идет речь», — это история Флоренции.

* * *

Не зная, как использовать Макиавелли, о котором ему прожужжали все уши, кардинал Медичи решил наконец поручить ему написать историю Республики. Для чего? Может быть, для того, чтобы от него избавиться или чтобы еще раз опорочить! В любом случае для Никколо это был более захватывающий труд, чем жизнеописание Александра, которое через Филиппо Нерли поручила ему переработать Лукреция, сестра Льва X. К счастью, одновременно с этим не слишком заманчивым предложением, а именно 8 ноября, ему доставили контракт: предложение за два года «написать анналы, или историю деяний государства и города Флоренции, начиная с того времени, которое ему покажется наиболее подходящим, и на том языке, на котором он захочет, то есть на латинском или на тосканском», и назначили жалованье в шестьдесят пять флоринов в год.

Пора перестать «прятаться», писал ему все тот же Филиппо Нерли, призывая скорее возвратиться из Лукки: «Вам довольно известно, насколько мало к вам расположены, и судите сами, стоит ли предоставлять свободу действий вашим соперникам и конкурентам. Чтобы исправить положение, не стоит ждать, чтобы лекарства стало невозможно найти. Скорее, скорее!»

Никколо был счастлив. Он ухватил жирный кусок: ведь во Флоренции было достаточно ученых людей, которые мечтали о таком заказе!

В «республиканских» же кругах это вызвало глубокое

замешательство. Пьеро Содерини, ради того чтобы заставить Макиавелли отказаться от контракта, который опасно связывал его с Медичи, предлагает ему пост секретаря маленькой республики в Рагузе. Получив отказ, который он, может быть, приписал нежеланию Макиавелли отправиться в изгнание, экс-гонфалоньер предлагает Никколо поступить на службу к Просперо Колонна, известному римскому патрицию, враждебному к Медичи, с жалованьем, достигавшим двухсот дукатов в год на всем готовом. Но возможность заняться делами Колонна не так льстила самолюбию Макиавелли, как звание официального историка, к тому же он питал надежду воспользоваться заказом кардинала, чтобы довести до него свою критику флорентийских учреждений и нравов. Сделал ли Никколо «правильный выбор»? Во всяком случае, он думал, что да.

На какую каторгу он себя обрек! Три года спустя он все еще обливался потом и кровью, пытаясь в «Истории Флоренции» обойти все рифы. «Я боюсь вызвать слишком много недовольства и если слишком возвеличу, и если умалю значение события», — жалуется он Франческо Гвиччардини. Если бы друг мог ему помочь! «Что ж, я последую собственному совету, — заключает Никколо, — и приложу все усилия к тому, чтобы сказать правду и чтобы не дать никому повода для неудовольствия».

Однако игра, которую он вел, была весьма опасна: «Я расскажу о событиях, случившихся после того, как Козимо пришел к власти; но умолчу о том, какими способами он ее достиг. Тот же, кто захочет понять это, должен будет принять к сведению то, что я вложу в уста его противников, ибо то, о чем я не хочу говорить сам, я вложу в уста его противников».

Когда меценат и государь суть одно и то же лицо, самоубийство требовать даже малейшей свободы слова. Интеллектуал не может обходиться без маски. Макиавелли не избежал этого, как и любой другой придворный писатель, будь то в Риме, Ферраре или во Флоренции… «Уже давно я не говорю то, что действительно думаю, и не думаю так, как говорю, и если у меня вырываются иногда обрывки истины, я прячу их под таким слоем лжи, что их трудно бывает отыскать», — не без самодовольства признается он Гвиччардини. Имеющий уши да слышит! Вот что, если не принимать во внимание провокационный характер этого высказывания, может весьма обескуражить того, кто думает открыть для себя «истинного Макиавелли», основываясь лишь на том, что выходило из-под его пера.

«ИСТОРИК, КОМИК…»

18 ноября 1523 года кардинал Джулио Медичи воссел наконец на престол святого Петра. Официальный историограф Флоренции, вынужденный теперь соблюдать особую осторожность, мог снова надеяться на лучшее.

Кардинал Джулио рассчитывал унаследовать тиару прямо от своего кузена Льва X, но в конклаве, открывшемся вскоре после того как папские войска под его, Джулио Медичи, командованием при поддержке армии Карла V захватили Милан, царило величайшее смятение. Император поддерживал кандидатуру флорентийца, но Франциск I предупредил, что, «если человек, послуживший причиной войны, станет папой, и он сам, и все его королевство откажутся подчиниться Церкви». Колонна, движимые ненавистью к Медичи и честолюбием — один из членов их семейства, кардинал Помпео, также мечтал о тиаре, — делали все, дабы лишить Джулио последних шансов на успех.

9 января 1522 года изнемогающий конклав, о котором посол императора писал, что даже в аду нет такой ненависти и такого количества чертей, сколько их собралось в лоне Священной коллегии, назвал имя Адриана Утрехтского — кардинала Тортозы и бывшего наставника Карла V. Римляне были в ярости: иностранец! варвар! чужак! Его даже не было в конклаве! «Святой человек», — смущенно оправдывались прелаты, сознававшие свой промах. «Годящийся скорее в монахи, чем в папы», — скажет Франческо Веттори.

Мечта Льва X об Италии, объединенной под властью папы, так и осталась мечтой. А Макиавелли в своей деревне пришлось оставить грезы о сильном государстве под властью Медичи, частью которого стала бы Тоскана. Все рухнуло. В Урбино сторонники герцога делла Ровере, сосланного в Венецию, изгнали правителя, поставленного Львом X; в Ломбардии папские войска рассеялись вскоре после отъезда кардинала Джулио на конклав; в Милане правили не Медичи, а Сфорца и герцогский трон занимал Франческо, второй сын Лодовико Моро; в Ферраре Альфонсо д'Эсте повелел отчеканить медаль с девизом «Ex ore Leonis» («Из пасти Льва») и начал войну за возвращение себе городов, которые Лев X у него отнял. Флоренция замкнулась в себе.

К счастью, вредоносные испарения римского климата были гибельны для пап-иностранцев, и Адриан Утрехтский скончался уже в сентябре 1523 года. Он умирал с тяжелым чувством, что не смог ничего сделать: ни реформировать Церковь, которой угрожали лютеране, ни сохранить строгий нейтралитет, который

обязался соблюдать в начале своего правления, ни положить конец битвам, не дававшим христианскому миру объединиться для крестового похода против турок.

В день смерти Адриана VI французская армия, жаждавшая во что бы то ни стало вернуть Милан, оставленный Лотреком, вновь перешла через Альпы.

В то время как Бонниве, главнокомандующий Франциска I, уже стоял под стенами Милана — казалось, что на этот раз ничто уже не сможет противостоять натиску французов, — у дверей нового, но столь же бесконечно длящегося конклава опять заключались пари. Шансы кардинала Джулио Медичи, поначалу весьма ничтожные, росли с каждым днем; самые непримиримые его противники готовы были его поддержать. На это был готов даже кардинал Содерини, до того поклявшийся, как и кардиналы-французы, что никогда не отдаст ему свой голос. Дело кончилось тем, что все яростные противники позабыли о данных ранее клятвах, и 18 ноября Джулио Медичи был провозглашен папой «именем Святого Духа».

Имя Климент[94], избранное новым папой, оказалось как нельзя кстати: его понтификат начинался под знаком примирения. Медичи простили своим врагам, а папа обещал, что Церковь вскоре будет реформирована. Все ликовали. Римляне радовались окончанию сурового понтификата его предшественника. Медичи в Ватикане — это сулило новый золотой век, а «для искусства будет, верно, сделано много прекрасного», — писал Микеланджело. Флорентийские купцы потирали руки, предвкушая грядущие барыши, а те, кому нечего было продавать, толпой устремились в Рим в твердой уверенности, что лучшие должности будут отданы подданным папы-флорентийца.

Никколо никак не может решить: ехать в Рим или нет? Ему очень хотелось поехать и лично представить Клименту VII уже оконченные книги «Истории Флоренции», которую папа, будучи главой флорентийского университета, заказал ему три года назад. Макиавелли надеялся продлить свой контракт и получить прибавку к жалованью. Раздумывал он долго и весной 1525 года наконец решился. А что об этом думает Веттори? «Я не рискну советовать вам, следует или нет привозить вашу книгу, потому что времена не благоприятствуют ни чтению, ни щедрости», — ответил Франческо 8 марта. Святой отец, безусловно, весьма расположен к Никколо — «пусть приезжает», якобы сказал он, — но если говорить честно, у Рима хватает и других забот: Франциск I 25 февраля 1525 года попал в западню в Павии.

Молниеносное наступление Бонниве, начавшееся в 1523 году,

спустя год закончилось новым унизительным поражением французской армии. «Никогда еще не видели такого панического бегства артиллерии и пехоты, как в этот раз», — сообщал один из агентов императора, но даже он отдавал должное шевалье Байярду, погибшему в битве при Романьяно. А все дело было в том, что Бонниве лишился помощи Венеции. Она отказалась от союза с Францией и присоединилась к императорской Лиге, в которую вошли Англия, Милан, Флоренция, Генуя, Сиена и папа Адриан VI, возмущенный тем, что Франциск I отказывался заключить перемирие в тот момент, когда турки, захватившие Родос, угрожали уже всему христианскому миру. Французам противостояла коалиция, во главе армии которой стояли такие военачальники, как Просперо Колонна, маркиз де Пескара, испанец Антонио де Лейва, вице-король Неаполя Ланнуа и недавно перешедший на службу к императору коннетабль Карл де Бурбон[95]. И это делало сию армию особо опасной.

Карл де Бурбон, кузен Франциска I, сражался теперь против армии своего сюзерена. Он считал, что король унизил и обобрал его, и потому принял сторону итальянской родни. Через свою мать, Клариссу Гонзага, он состоял в родстве со всеми правителями Северной Италии, Мантуи, Феррары и Урбино. Однако главной причиной его решения стало обещание Карла V пожаловать ему титул главнокомандующего своими ландскнехтами и руку своей побочной дочери Маргариты.

Таким образом, в июне 1524 года Ломбардия вновь сменила хозяина. Однако Франциск I не желал от нее отказываться и лично возглавил армию. Напав осенью на Италию, он полагал, что летит к новому Мариньяно, а угодил прямиком в мадридскую тюрьму.

Климент VII дрожал от страха: в бумагах плененного короля Франции могли найти кое-какие письма, весьма его, Климента, компрометирующие. После своего избрания новый папа продолжил хитрую политику своего кузена, покойного Льва X. По характеру своему он питал отвращение к крайностям, а по убеждениям держался за нейтралитет, который, по его мнению, пристало соблюдать понтифику. Кроме того, папа находился под противоречивым влиянием двух своих советников: датария Гиберти, непримиримого франкофила, и епископа Капуи Шонберга, не менее яростного сторонника императора. И потому он буквально разрывался на части, тайно обещая одним то, что раньше в такой же тайне обещал другим. О нем говорили, что он сверяет курс своего корабля по двум компасам. Климент рассчитывал таким образом удержать на плаву лодку святого Петра, но шторм, поглотивший Францию, угрожал и его

суденышку.

Когда в декабре 1524 года папа по совету Гиберти, уверенного в победе французов, имел неосторожность заключить союз с Франциском I, Карл V пришел в ярость. «Я отправлюсь в Италию, — кричал он в присутствии флорентийского посла, — чтобы вернуть мои владения и отомстить тем, кто оскорбил меня, и особенно этому глупому папе! Быть может, именно Лютер и окажет мне в этом неоценимую помощь». И в самом деле, императорские войска, стоявшие в Лоди, куда их вынудил отойти король, не мешкая двинулись к Павии, осажденной французской армией. Известно, что за этим последовало: у короля Франции остались, как он сам написал своей матери из крепости Пиццигеттоне, куда его, пленного, отвезли на следующий день после сражения, только «честь и жизнь».

* * *

Можно было бы предположить, что Никколо был в отчаянии от того, что не стал свидетелем гнева Карла V — вспомним, как он противостоял ярости Людовика XII и Юлия II! — и дипломатической лихорадки, охватившей Европу после битвы при Павии. Но нет, он как будто бы подвел черту под этим периодом своей жизни и не желал более находиться на авансцене международной политики и быть свидетелем ее интриг и крутых поворотов. Его одолевали совсем другие заботы, а политика отошла на второй план, если не сказать за кулисы его собственного театра.

Не стоит также думать, что он все это время прозябал в своей деревне и что его заботило только то, как примет папа его «Историю Флоренции» и вознаграждение, на которое он мог бы рассчитывать. Весной 1525 года он ведет жизнь веселую и скандальную. Слухи о его эскападах дошли даже до Модены и привели в отчаяние Филиппо Нерли, который писал брату Мариетты: «Поскольку Макиа ваш родственник и друг, да и мой большой друг тоже, я не могу не сожалеть вместе с вами обо всех злых сплетнях на его счет, которые я ежедневно слышу: за время карнавала я получил на него жалоб больше, чем на все другие городские преступления, и если бы не важные, почти невероятные события, поразившие в эти дни нашу бедную провинцию и заставившие нас думать не о слухах, а о других вещах, я уверен, что все говорили бы только о нем: столь уважаемый отец семейства, такой достойный человек — и покровительствует не хочу даже говорить кому».

Неназванная в письме причина скандала — прекрасная Барбера Салютати, актриса и певица, — «гетера», как скажет о ней Гвиччардини, — вскружившая головы всем, включая, само собой разумеется, и Никколо. Для нее он написал, или, вернее, наспех состряпал новую пьесу «Клиция». Она была сыграна в начале года в доме одного мецената, богатого флорентийского купца, желавшего с блеском отпраздновать окончание своей ссылки в обществе всех влиятельных граждан города, среди которых был и юный Ипполит Медичи, поставленный папой во главе правительства Флоренции, в сопровождении своего наставника, кардинала Пассерини. Купец этот даже велел — верх щедрости — выровнять сад своей виллы, чтобы разместить там декорации.

Комедия была подражанием пьесе Плавта «Казина». Но выбор сюжета (любовные страдания старика!) был, по всей видимости, неслучаен — Никомако, несчастный и смешной герой, носил говорящее имя: *Ник*коло *Мак*иавелли. В этой вольной интерпретации латинской комедии — возврат к истокам! — Никколо смеялся над самим собой и над своей поздней любовью. Но любовь его не была безответной. Независимо от возраста автор, чьи произведения имеют успех у публики, без труда может добиться благосклонности молодых и красивых актрис. Барбера добилась, чтобы «ее автор» написал для нее и ее певцов новые канцоны к «Мандрагоре», которую Гвиччардини, бывший в то время правителем Модены, хотел представить в своем городе. Никколо был в восторге: отпраздновать карнавал 1526 года в Модене вместе с Барберой! Насладиться двойным триумфом!

Но ни любовь, ни успех его пьес не заставили Никколо Макиавелли забыть о том, что так его заботило, — о судьбе «Истории Флоренции». В мае 1525 года он потерял терпение и, несмотря на предостережения Веттори, уверенного в том, что от Никколо отделаются пустыми обещаниями, решил все же отправиться в Рим. Он встретился с папой, с жадностью выслушал комплименты… и предоставил Филиппо Строцци и кардиналу Содерини — людям, занимавшим более высокое положение, — говорить о деньгах, потому что ему самому хотелось большего: вернуться к активной политической жизни.

После битвы при Павии Климент VII заперся в Ватикане, и там царила тяжелая атмосфера. В городе начались кровавые стычки между Колонна — сторонниками императора — и Орсини, во все времена хранившими верность Франции. Все знали об угрозе, нависшей над Римом и всей Тосканой. Им угрожал и Карл V, едва сдерживавший свой гнев на папу-двурушника, и, что было еще более тревожным, орды императорских наемников,

которым их командиры уже не могли платить жалованье. Глаза этих людей блестели от жадности при одном упоминании городов и земель, о богатстве которых среди них ходили легенды.

Надо укреплять Флоренцию и набирать ополченцев в Романье, предлагает Никколо понтифику и его советникам. Он убедительно и красноречиво доказывает им теории, изложенные в его трактатах. Климент VII заинтересованно слушает и кивает. Он только что благословил действия канцлера герцога Миланского Мороне, который вознамерился избавить герцогство от испанского владычества. Дело в том, что после поражения французов Карл V вернул власть Сфорца, но, несмотря на присутствие юного герцога Франческо, истинными хозяевами в стране были испанцы, а миланцы не желали больше терпеть подобного порабощения. Да, папа хотел отнять Миланское герцогство у французов, но это вовсе не означало, что он желал отдать его испанцам. Более того, ни один папа никогда не потерпел бы, чтобы Милан и Неаполь находились в одних и тех же руках. Поэтому Климент VII благосклонно отнесся к плану Мороне. В нем была заинтересована и вся Италия, которую ныне приводило в бешенство могущество Карла V.

Венеция, Феррара, Генуя, Лукка, Сиена, Рим и Флоренция готовы были объединиться, чтобы при поддержке Луизы Савойской, французской королевы-регентши, изгнать испанцев из Италии. Император совершил большую оплошность, когда не только не отдал все лавры победителя в битве при Павии своему главнокомандующему маркизу де Пескара, показавшему себя гениальным полководцем, но даже не вознаградил его подобающим образом. Поговаривали, что Пескара был этим оскорблен и разъярен. Мороне, заранее прощупав почву, считал возможным уговорить его возглавить военные действия против его же собственной армии. В награду за услуги перебежчик мог бы получить инвеституру на Неаполитанское королевство, обещанную папой.

Таким образом, предложения Никколо Макиавелли пришлись весьма кстати, поскольку, если бы план Мороне начал действовать, следовало убедиться в надежности владений Церкви в Романье. Понтифик решил, что Никколо должен рассмотреть вопрос об ополчении с главнокомандующим папскими войсками в Романье, ее правителем Франческо Гвиччардини.

Макиавелли отправился в Фаэнцу, радуясь, что будет работать рука об руку со своим другом и единомышленником. Они оба до сих пор любили вспоминать о шутке, которую четыре года назад сыграли с одним из именитых граждан Карпи, что в Эмилии, и как поживились за его счет. Это было одно из тех

«падений» Никколо, о которых так сожалели его друзья. А дело было так. Макиавелли было поручено уладить с капитулом братьев-францисканцев одно дело, в котором был заинтересован кардинал Медичи, бывший тогда архиепископом Флоренции, а также выбрать для высочайших консулов цеха торговцев шерстью проповедника на Великий пост. Гвиччардини смеялся: это все равно что доверить одному их общему знакомому, известному гомосексуалисту, «найти красивую и любезную женщину для друга»! Никколо не выполнил ни одного из поручений, но как следует развлекся и «обжирался, как шесть псов и трое волков», за счет своего домовладельца, пребывавшего в уверенности благодаря ручательству Гвиччардини, в то время правившего Моденой, что принимает у себя весьма важную персону, посвященную во все тайны начальства. На обратном пути Никколо задержался в Модене, радуясь возможности возобновить с Гвиччардини увлекательные беседы. Друг понимал его, сожалел о том, что его отстранили от дел, поощрял его в написании «Истории Флоренции», аплодировал «Мандрагоре» и с улыбкой слушал рассказы о его любовных приключениях… Короче, Франческо Гвиччардини любил Никколо, а тот, в свою очередь, любил Франческо Гвиччардини.

Это вовсе не значило, что они во всем были согласны друг с другом. Они отличались друг от друга не только по возрасту (Никколо был на четырнадцать лет старше), происхождению и социальному положению. Аристократ Гвиччардини — холодный, суровый, не веривший в древнеримский золотой век и в возможность его повторения в настоящем, — по своему темпераменту был полной противоположностью вспыльчивому фантазеру и прожектеру Макиавелли. Франческо первым догадался, что не следует понимать буквально и принимать на веру то, что придумывал Никколо, влюбленный во все новое и необычное, увлекавшийся, по мнению Франческо, «средствами крайними и чрезвычайными». Он неоднократно говорил об этом самому Никколо, а впоследствии повторил в своих «Суждениях».

Не было поэтому ничего удивительного в том, что Гвиччардини весьма прохладно отнесся к перспективе создания ополчения в Романье. Но он, в отличие от слишком пылкого и страстного Никколо, был хорошим дипломатом и, несмотря на то что идея ополчения соблазняла папу, нашел способ весьма умело обосновать свое несогласие с этим планом: план великолепен, но неосуществим, если принять во внимание, с одной стороны, строптивый характер населения провинции (что может создать опасность для понтифика, если тот потерпит поражение) и с другой — стоимость операции — слишком веский аргумент для

того, кто, подобно Клименту VII, вынужден был продавать священные сосуды, дабы заткнуть дыры в своей казне.

Реакция Гвиччардини разочаровала Никколо, но это нисколько не охладило их отношений, пока он ждал в Фаэнце решения папы, и не испортило ему удовольствия, которое он испытал в ласковых и нежных объятиях некоей Марискотты. Это было одно из многочисленных увлечений, которым походя предавался наш пылкий пятидесятилетний герой, по-прежнему влюбленный в Барберу.

* * *

Пока папа думал, план изгнания испанцев успел провалиться. Маркиз де Пескара герцог д'Авалос, принадлежавший к старинному неаполитанскому роду испанского происхождения, был сердцем и душой не столько итальянцем, сколько испанцем и — хотя и был супругом «божественной» поэтессы Виттории Колонна, той, что впоследствии станет мистической возлюбленной Микеланджело, — отказывался, как утверждали, даже говорить по-итальянски! По всей видимости — во всяком случае, по его словам, — Пескара примкнул к заговору только для того, чтобы выдать заговорщиков императору. Что он и сделал.

«Мороне сдался в плен, а герцогство Миланское предано огню», — бесстрастно констатировал Никколо. Пескара в самом деле захватил все крепости герцогства, чтобы предупредить любое восстание. Юный герцог Франческо Сфорца, обвиненный в предательстве, продолжал сопротивляться, удерживая осажденную миланскую цитадель. Но насколько могло хватить его сил? Император не скрывал своего намерения отобрать у него герцогство и либо оставить его себе, либо подарить коннетаблю Бурбонскому.

Карл V обезумел от ярости, и король Франции вполне мог погибнуть в мадридской тюрьме. Мир пошатнулся, все рушится, и, следовательно, «развлечения необходимы, как никогда», — заявлял Гвиччардини. Никколо разделял его точку зрения и думал только о подготовке к веселому карнавалу, гвоздем которого должно было стать представление «Мандрагоры» с новым, более веселым и понятным зрителям прологом, сочиненным по требованию Гвиччардини, и музыкальными номерами в исполнении Барберы. Гвиччардини взялся разместить всю труппу в Модене, а Барберу поселить в монастыре, «среди всех этих монахов, и будь я проклят, если они не потеряют от этого голову!» — восклицал Макиавелли.

«…И ТРАГИК»

По возвращении из Фаэнцы Никколо, смеясь над самим собой, так подписал одно из писем к Гвиччардини: *Никколо Макиавелли, историк, комик и трагик.* Историком он стал поневоле, и потому только, что папа не нуждался в милиции. «Он изливал свою желчь, понося государей, сделавших все для достижения своего высокого положения». Его комедии имели невиданный успех, однако он мечтал об известности совсем иного свойства. А истинным автором трагедии, по его мнению, могла стать только История.

В тот самый момент, когда Макиавелли после стольких лет, проведенных на «галерах», готовился ступить на берег, почва в Италии задрожала в преддверии нового землетрясения, которое могло поглотить и Рим. О том, что его восстановили в гражданских правах, Никколо узнал в Венеции, куда отправился опять-таки за счет цеха торговцев шерстью, чтобы добиться возмещения убытков молодым флорентийским купцам, ограбленным, избитым и изнасилованным по пути из Леванта. Поговаривали, что своим прощением он был обязан Барбере и ее влиянию в политических кругах. Те, кто были призваны отделять добрые зерна от медичейских плевел, закрыли глаза на его прошлое, и его имя вновь попало в «мошну», из которой жребий — под тщательным присмотром! — вынимал имена всех более или менее важных магистратов. Что до собственной мошны Никколо, то по Флоренции распространился слух, что она чудесным образом наполнилась полновесными дукатами, выигранными в венецианскую лотерею: большой куш. За одну ночь он получил больше, чем за тридцать лет, проведенных на службе в Канцелярии! Так это было или нет — неизвестно, но пока флорентийский свет развлекался подобными сплетнями, в Канцелярии говорили о другом: Карл V будто бы собирается освободить из плена Франциска I.

Никколо не мог этому поверить и в длинных письмах друзьям делился с ними своими сомнениями: «Если император желает стать *dominus rerum* (хозяином положения. — *К. Ж.),* он никогда не отпустит своего пленника». Договор, якобы в конце концов одобренный Франциском I, — согласно которому он отдаст императору Бургундию, откажется от Милана и Неаполя, женится на сестре императора и в довершение всего предоставит в качестве заложников двух своих сыновей, — был, по мнению Макиавелли, уловкой, к которой готов был прибегнуть Карл V, чтобы помешать сближению Италии и Франции, поскольку

недавняя смерть маркиза де Пескара придала храбрости участникам провалившегося заговора Мороне. Вывод Макиавелли был прост: договор этот никогда не будет подписан.

Тот факт, что 14 января 1526 года его все-таки готовили к подписанию в Мадриде, не заставил умолкнуть нашего пророка: «Бес его уже обуял». И хотя его мысли больше занимала Барбера, чем император, признавался он Гвиччардини, голова его все же была начинена самыми невероятными предположениями, которые он не мог носить в себе. Он охотно излагал их всем своим знакомым, впрочем, с одной оговоркой: весьма сдержанный в своих выводах с Филиппо Строцци, человеком, приближенным к папе, которому, как надеялся Никколо, прочтут его письмо, он совершенно искренен был с Гвиччардини, которому писал, что «король не будет отпущен на свободу». Это стало, по собственному признанию Никколо, его навязчивой идеей.

Глубокое убеждение в своей правоте не мешало ему тем не менее в письмах к Гвиччардини и Строцци рассматривать и другие варианты развития событий. Предположим, император отпускает пленника: выполнит король свои обещания или нет? Если он их не выполнит, то станет «клятвопреступником и чуть ли не сыноубийцей» и будет вынужден «разорить и без того обескровленное королевство, пустить кровь дворянству, отправив его воевать в Италию, и сам нести тяготы войны». И все это ради того, чтобы «услужить сомнительным и непостоянным союзникам». Это невозможно. Выполнить их — значит отдаться на милость императора с риском потерять не только Италию, но и собственное королевство — «пугающая перспектива» для любого другого, но не для Франциска I, неколебимо уверенного в себе и в будущем. Вывод: «Или король останется пленником, или, если окажется на свободе, сдержит свое слово».

Если только не… Никколо грезит наяву, и пусть его мечты кажутся Гвиччардини полным безумием, «но времена таковы, что требуют решений смелых, необычайных, странных», — говорит он; и неважно, добавим мы, если его мечты идут вразрез с его убеждениями… Если только Италия не проснется, не соберет всю свою кавалерию и всю свою пехоту и не поставит их под знамена сына Катарины Сфорца Джованни Медичи, юного предводителя Черных отрядов, Великого Дьявола, которого обожают солдаты и до небес превозносит народ и которому, «хотя он глуп и переменчив, не раз случалось говорить то, что следовало делать». Тогда король Франции, видя, что ему готовы помочь не только словами, но и делами, изменит свое решение, расторгнет договор и избавит итальянцев от «чумы».

Строцци, как на то и надеялся Никколо, показал его письмо

папе. «Для человека, не владеющего секретной информацией, он рассуждает довольно здраво», — сказал понтифик, «веривший» в освобождение короля. Это было своеобразное пари, поскольку Климент VII, даже будучи папой, знал не больше, чем стратеги из ближайшей таверны. Верить не значит знать.

Остальные, кажется, были уверены в том, что Франциск I будет соблюдать условия договора по «легкомыслию» (убийственное слово!), и следствием этого будут величайшие беды. Так говорили в Ватикане, где пришли к подобным же выводам прежде Макиавелли.

«Лекарство», предложенное Макиавелли, заставило всех грустно улыбнуться его наивности. «Венецианцы в союзе с Феррарой и флорентийцами не смогут стать достаточным препятствием на пути Цезаря (императора. — *В. Б.),* если король будет соблюдать нейтралитет», — сказал папа. Что же до привлечения на свою сторону Джованни делле Банде Нере, то, несмотря на знаменитость этого кондотьера, идея не понравилась ни Гвиччардини, ни Строцци, поскольку «действовать таким образом — значит разоблачить Святого Отца». А Климент VII и сам не знал, какую маску он носил или должен был носить!

* * *

«Я продолжаю думать, что король или останется пленником, или сдержит слово», — писал Никколо 15 марта 1525 года. А 17 марта следующего года на реке Бидассоа корабль с королем Франции разминулся с судном, на котором плыли его сыновья, чтобы занять место отца в испанской темнице. Не сбылось и другое предсказание Макиавелли: 10 мая перед лицом Ланнуа, вице-короля Неаполитанского и одного из посредников на переговорах в Мадриде, напомнившего Франциску о его обязательствах, французский король заявил, что не уступит императору ни пяди своей земли.

Посланцы короля Англии, Венецианской республики и папы всячески подталкивали Франциска I к тому, чтобы нарушить договор, вырванный у него силой, но этого и не требовалось, поскольку король и сам решился на это. Никколо Макиавелли, утверждавший в XVII главе «Рассуждений…», что нет ничего постыдного в том, чтобы нарушить обещания, вырванные силой, и можно, не опасаясь бесчестья, расторгать договоры, затрагивающие судьбы народов, всякий раз, когда сила, которая вынудила заключить их, прекращает свое существование, был вправе добавить: «История дает тому множество примеров, и

каждый день к ним прибавляются новые». Он утверждал это, да, — но не восхвалял, а просто констатировал!

Один только Карл V был возмущен тем, что король Франции не сдержал слова. Остальная Европа облегченно вздохнула и начала готовиться к новой войне.

Столкновение действительно было неизбежно, и не только потому, что, как однажды с иронией написал Макиавелли, «кто живет войною, как эти солдаты, будет дураком, если станет хвалить мир», и не потому, что, как он говорил в январе 1525 года Гвиччардини, «во все времена, так давно, насколько я могу вспомнить, или воюют, или говорят о войне; сейчас о ней говорят, а очень скоро ее начнут, а когда она закончится, снова станут о ней говорить».

Война была неизбежна, потому что Карл V не мог оставить безнаказанным клятвопреступление короля Франции и то, что он называл «двоедушием папы». А Климент VII, чью силу духа, скрывавшуюся за неуверенностью и медлительностью в принятии решений, никто тогда по достоинству не оценил, не мог попрать основные принципы политики Святого престола: установить мир между великими державами христианского мира, которому угрожал ислам, и поддерживать равновесие иноземных сил в Италии, равновесие, нарушенное амбициями какого-то Карла V, который царствовал в Неаполе, занял Ломбардию, нацелился на Тоскану и мечтает сделать папой своего капеллана. Император заявил, что оскорблен папой, но папа был оскорблен императором ничуть не меньше, поскольку Карл V весьма терпимо относился к деятельности Лютера в Германии и намеревался вскоре позволить сейму в Шпейере провозгласить религиозную свободу германских государств, дабы они держали ответ за то, какую религию исповедовать, только перед Богом и императором.

Макиавелли не видел ничего, кроме Италии, и выказывал удивительную недальновидность, обходя молчанием смысл этой средневековой духовной битвы, противопоставившей империю и папство, но он был абсолютно прав, когда говорил о фатальной неизбежности войны. Он от всей души желал ее, хотя и опасался. По его мнению, война была единственно возможным благоприятным выходом при условии, если начнется немедленно. Гвиччардини говорил об этом же в декабре 1525 года: «Мы все будем страдать от несчастий, которые принесет мир, если упустим возможность начать войну. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, видя, что приближается ненастье, не старался укрыться от него любым возможным способом, тогда как мы считаем, что лучше ожидать его посреди дороги и без

прикрытия».

Мнение Никколо не изменилось. Климент VII — глупец и плут, *«он* верит, что сможет выиграть время, и *он* дает время врагу… и *никто* никогда не будет в состоянии совершить хоть что-нибудь достойное и смелое для того, чтобы спастись или хотя бы умереть оправданным», — писал он в декабре 1525 года. *Он… никто* — то есть папа! После расторжения договора, когда начала вырисовываться перспектива союза Англии, Франции, Венеции, Рима и всех итальянских государств, направленного против Карла V, нетерпение Макиавелли возросло: «Я узнал о волнениях в Ломбардии, и все согласны с тем, что выставить из нашей страны этих разбойников будет легко. Ради бога, не упускайте случая…

Я словно вижу, как император, узнав о том, что король нарушил слово, расточает папе самые прекрасные в мире предложения, но вам следует заткнуть уши, если вы еще помните о его угрозах и несчастьях, причиной которых он был. В этот час Господь захотел, чтобы папа мог держать его на почтительном расстоянии, но не следует упускать такую возможность. Вы знаете, сколько возможностей было потеряно. Не теряйте эту. Не думайте, что все делается само собой, не полагайтесь ни на Фортуну, ни на время, потому что время не всегда ведет за собой одни и те же события, а Фортуна переменчива».

Гвиччардини, более спокойный и прозорливый, отвечал ему, что святой отец не изменил своих намерений и что, по его мнению, он не собирается отступать, но «любое дело, в котором должны принять участие многие могущественные государи, всегда затягивается гораздо больше, чем следовало бы».

* * *

Дело тянулось вплоть до 22 мая 1526 года, когда в Коньяке родилась Священная лига, создание которой вся Италия приветствовала как важнейшее событие и отметила пышными церемониями. Самые великолепные празднества прошли в Венеции. Официально коалиция была направлена против турок, но условия вступления в нее для императора были таковы, что выдвинуть их значило объявить ему войну. Нельзя же было предполагать, что Карл V возвратит Милан, уйдет из Ломбардии, откажется от Бургундии и согласится за простой выкуп освободить французского дофина и его брата!

Франциск I обещал послать экспедиционный корпус — Никколо, считавший необходимым, чтобы «итальянцы

постарались привлечь на свою сторону Францию», мог быть доволен. Но, не дожидаясь этого корпуса, Климент VII вступил в войну, о которой его ближайший советник франкофил Гиберти говорил, что она решит судьбу Италии: быть ей свободной или остаться рабой. Сам Юлий II действовал бы так же, хотя, быть может, более жестоко и яростно.

Сейчас речь шла только о том, чтобы освободить герцога Франческо Сфорца, по-прежнему осажденного в цитадели Милана, занятого испанцами, и вернуть Геную, дабы не допустить там высадки возможного подкрепления императорским войскам и чтобы принять французов.

Эта война, в исходе которой в Риме никто не сомневается («Потомки наши будут сожалеть о том, что не жили в наше время и не могли ни созерцать столь великое счастье, ни насладиться им», — говорил Гиберти), дала Никколо шанс вернуться к государственным делам. Папа чуть было не назначил его сопровождать кардинала Содерини в Испанию, дабы проповедовать императору всеобщий мир и борьбу с ересью, но все же предпочел послать туда Болдассаро Кастильоне, значительно более представительного и столь же опытного. Уже в апреле — прежде даже, чем был создан Совет пяти проведиторов крепостных стен, в обязанности которого входила забота об обороне города, — Макиавелли было поручено проинспектировать фортификационные сооружения Флоренции и наблюдать за работами, которые велись для того, чтобы укрепить их. Это было возвращением через «черный ход», но возвращением, а добравшись до места, можно питать любые надежды. Они у Никколо были относительно скромны: «Здесь думают, что, если строительство укреплений будет продолжено, мне доверят место проведитора и канцлера и я смогу взять себе в помощь одного из моих сыновей».

У Никколо, как и у любого другого человека, есть заботы и радости отца семейства. Здоровье младшего сына, Бернардо — «моего Бернардо», тревожит его, когда, возвратившись во Флоренцию, он находит его в горячке. Лодовико, задира и драчун, все время навлекает на себя неприятности в Леванте, где ведет торговлю. Гвидо, милый мальчик, прилежно изучает контрапункт, хорошо учится грамоте и обещает без ошибок прочитать наизусть «Метаморфозы» Овидия, в чем его всячески поощряет отец, дающий ему советы, которые любой из нас сначала получал, а затем и давал сам: «Коли ты хочешь доставить мне удовольствие, а себе добро и честь, хорошенько трудись, потому что, если ты сам себе поможешь, все тоже будут тебе помогать». Помимо еще одного сына, Пьеро (автора

благочестивого и скорбного уведомления о смерти отца — документа, подлинность которого вызывает сомнение, поскольку в нем смущает утверждение о том, что Макиавелли требовал присутствия священника у своего смертного одра), у Никколо есть дочь, и он так любит свою Баччину, что даже в самый разгар военных действий подумал о том, чтобы подарить ей цепочку.

Но ландскнехты еще не стоят у дверей Тосканы, а Баччина пока не любуется подаренной цепочкой. Сейчас у ее отца «голова так забита фортификациями, что в ней больше ничего не помещается», — извиняется он перед Гвиччардини. Во всяком случае, план, который ему необходимо составить вместе с архитектором Сангалло и военным инженером Пьетро Наварра, чтобы, по желанию папы, сделать город неприступным, — достаточный повод для того, чтобы отложить перо, поскольку история Флоренции после смерти Лоренцо Великолепного стала слишком трагичной.

Но планы, составленные под руководством Никколо, так и остались только планами, поскольку денег на их реализацию не было: слишком широко размахнулись. Кроме того, в Северной Италии дела шли не так хорошо, как все надеялись. После взятия Лоди и долгожданной встречи папских и венецианских армий Климент рассчитывал «за две недели» изгнать врага из Милана и Сиены — бунтовщицы, сдавшейся испанцам. Но армия Лиги, которой весьма вяло командовал герцог Урбинский, главнокомандующий венецианской армией, дала время коннетаблю Бурбонскому, главнокомандующему Карла V, тайно сесть на корабль в Барселоне и высадиться в Генуе, чтобы поспешить на помощь испанцам в герцогство Миланское. 24 июля Франческо Сфорца капитулировал. В свою очередь жители Сиены, которых рассчитывали проглотить разом, учитывая существовавшее неравенство сил, смогли обратить в бегство и армию папы, и армию Флоренции.

Климент VII потерпел поражение. Веттори — сплошной крик ярости: императору слишком везет! «Я считал бы лучшим известие о том, что Турок покорил Венгрию и идет на Вену, что Лютер торжествует во всей Германии, а Мавр, которого Цезарь хочет изгнать из Арагона, успешно ему сопротивляется и скоро перейдет в наступление. Коль скоро Лига ввела в бой все силы, желая спасти миланскую крепость, но вместо того, чтобы освободить ее, позволила ей капитулировать у себя на глазах, а король и папа снарядили флот, дабы преградить путь Бурбону, но он тем не менее прошел, коль скоро союзники захотели захватить Сиену, а их войска, отправленные за победой, были сами побеждены, я не могу поверить, что при таком невезении, и

потеряв всякое к себе уважение, мы могли бы преодолеть неудачу».

Это исполненное горечи письмо Веттори послал в лагерь Лиги в Миланском герцогстве, куда Синьория, встревоженная таким поворотом событий, направила Никколо, чтобы быть в курсе боевых действий. Без сомнения, этим первым настоящим поручением, похожим на предыдущие его задания, он обязан был тем, что Синьория делала ставку на всем известную дружбу Макиавелли и Франческо Гвиччардини, дабы тот как представитель папы в Лиге не оскорбился приездом «наблюдателя», и рассчитывала, что он расскажет Никколо Макиавелли больше, чем любому другому эмиссару.

Таким образом, с начала августа Никколо находился в Миланском герцогстве при Гвиччардини и Джованни делле Банде Нере. Папа в некотором смысле учел предложения Макиавелли и привлек на свою сторону этого гениального кондотьера и его людей.

* * *

Следует подробнее рассказать о последнем великом кондотьере Италии, персонаже, принадлежавшем также и истории Франции, ибо он был предком одной из ее королев — Марии Медичи, супруги Генриха IV и матери Людовика XIII.

Джованни, сын Катарины Сфорца и Джованни Пополано из младшей ветви рода Медичи, и характером, и внешностью больше походил на своих предков по материнской линии. Он унаследовал необузданный темперамент Катарины Сфорца, ее волю, мужество, смелость, и, казалось, в нем ожили Джакомо и Франческо Сфорца, его предки-авантюристы, прославившие себя на службе у Флоренции, Пизы, Людовика III Анжуйского, для которого Джакомо завоевал Неаполь. Ребенком Джованни проявил большую склонность к физическим упражнениям, чем к гуманитарным штудиям, столь дорогим старшим Медичи. Он не боялся ничего и никого и своим презрением к смерти ужасал Лукрецию Медичи, супругу Джакопо Сальвиати, которая после смерти Катарины заменила ему мать.

Восхождение на папский престол брата Лукреции стало его первой удачей. Лев X взял его с собой в Рим и поручил ему, несмотря на то что в то время Джованни едва достиг семнадцати лет, заботу о своей безопасности. Спустя год во главе сотни солдат тот уже сражался по приказу папы против герцогства Урбино. Своих людей он отбирал сам, руководствуясь лишь двумя

критериями — выносливостью и храбростью. Отныне у Медичи появился собственный кондотьер, что не мешало Джованни продавать свои услуги и другим. Его редко можно было видеть дома и после того, как он женился на своей кузине и подружке детства Марии Сальвиати, объединив таким образом в своем сыне Козимо обе ветви рода Медичи.

Когда в 1521 году Лев X решил выступить на стороне Карла V против Франциска I, именно Джованни захватил для императора Парму и Пьяченцу, перейдя вместе со своими двумястами всадниками бурные воды Адды. Этот подвиг вызвал восторг у Пьетро Аретино, его ближайшего друга. Циничного писателя-гуманиста и знаменитого воина, возможно, связывало общее презрение к роду человеческому, которое заставляло их бесстрашно и абсолютно бессовестно пренебрегать людьми, что один делал пером, а другой — шпагой.

После смерти Льва X Джованни Медичи в знак траура сменил цвета своих флагов, и из белых с фиолетовым они стали черными, откуда и появилось прозвище, под которым он вошел в историю: Джованни делле Банде Нере.

До прихода к власти следующего папы из рода Медичи он вел жизнь капитана-авантюриста, принимавшего участие в сведении счетов между государями, очень напоминавших разбой. Положение в Европе, все более ухудшавшееся, предоставляло ему новое поле деятельности. Правда, на этот раз, сменив лагерь, как и все Медичи, он служил королю Франции и был рядом с Франциском I в Павии, где поражение могло бы обернуться победой, если бы из-за ранения он не покинул поле битвы.

Таков был человек, при котором состоял Макиавелли в августе 1526 года.

* * *

В лагере Лиги не происходило ничего особенного. У Никколо была масса свободного времени, чтобы жаловаться на отсутствие известий от Барберы; казалось, что молодой женщине все же наскучил престарелый возлюбленный, хотя сама она всячески это отрицала. Зато там было с кем поговорить, выстраивать теории и планы, которые, правда, не имели успеха в Риме. Веттори не сообщал Никколо, что думают те, кто «знает толк в войне», о его предложении, например, оставить Милан и напасть на Александрию или броситься на Неаполь. Одним словом, автор трактата «О военном искусстве» не был признан ни как стратег, ни как военачальник, если верить Банделло, который в одной из

своих новелл рассказывает историю о том, как Макиавелли тщетно в течение двух часов пытался построить солдат под насмешливым взглядом Джованни делле Банде Нере.

10 сентября Гвиччардини послал Никколо в Кремону «сделать все, чтобы в течение пяти или шести дней город сдался». Спустя десять дней город капитулировал. Во Флоренции были благодарны Никколо за то, что он сумел этой победой поднять дух войска.

Но Климент VII позволил «обмануть себя, как ребенка», — негодовал Никколо. Посланнику Карла V в Риме Уго де Монкада, хитрому испанскому дипломату, удалось вызвать недовольство римлян, разочаровавшихся в понтификате, от которого они ожидали золотых гор, но были задавлены налогами и доведены до нищеты спекулянтами. Для Колонна это был удобный случай проявить себя, к чему его подталкивал Монкада, выполняя поручение своего хозяина. Кардинал Помпео Колонна, уже видевший себя папой, и его родичи и сторонники вошли в Рим во главе трех тысяч пехотинцев и восьмисот всадников. С криками: «Империя! Колонна! Свобода!» — они разграбили Борго и Ватикан, включая апартаменты папы, и разорили базилику святого Петра. Климент VII заперся в замке Святого Ангела. Положение стало критическим: как защищать крепость, не имея достаточного количества боеприпасов и продовольствия и не надеясь ни на чью помощь? Пришлось договариваться.

Климент VII заключил с Монкадой четырехмесячное перемирие на драконовских условиях: армия папы в течение недели должна вернуться из Ломбардии, галеры, бросившие якорь в Генуе, — вернуться в Чивитавеккья. Папа не будет беспокоить Сиену и отправит в Неаполь в качестве заложников Филиппо Строцци, Джакопо Сальвиати и его сына, кардинала Сальвиати.

Никколо был вне себя. Вернувшись во Флоренцию, он составляет перечень совершенных папой ошибок. Причин катастрофы несколько. Во-первых, это недостаточное число введенных в действие войск: «рисковать всем своим достоянием, не рискуя всеми силами» — значит нарушить золотое правило. Во-вторых — трусость герцога Урбинского и «всеобщее равнодушие». Однако Никколо делает исключение для Франческо Гвиччардини, который «единственный мог остановить всю эту неразбериху своими заботами и неистощимым рвением».

Положение было весьма серьезным, но не безнадежным. У Макиавелли рождается множество вариантов выхода из него: уступить Милан королю Франции, дабы побудить его принять на себя тяготы войны (поскольку до сего времени Франциск I не

выказал большой заинтересованности в деле), или же — Никколо настойчиво к этому возвращается — направить все силы на то, чтобы напасть на Неаполь. Операция не потребует от папы слишком больших расходов, ибо «контрибуция, полученная от городов, пойдет на оплату наемников, а богатые и неразграбленные — как в Ломбардии — деревни даже увеличат жалованье солдат».

Письмо Никколо осталось незаконченным, потому что по отсутствию реакции Веттори, первого его адресата, он понял, что не будет иметь успеха и у второго… Франческо Гвиччардини подал в отставку.

* * *

Начав переговоры, Климент VII хотел лишь выиграть время, встряхнуть своих союзников и, усвоив последний урок, укрепить замок Святого Ангела. Он приказал Гвиччардини оставить Ломбардию, дабы выполнить условия соглашения, но велел предварительно передать войска под командование Джованни делле Банде Нере, якобы состоявшего на службе у короля.

Перемирие было нарушено раньше оговоренного срока. 1 ноября 1526 года папская армия выступила в поход: около девяти тысяч человек швейцарцев, наемников всех мастей, под командованием Вителло Вителли, ранее преданно служившего Льву X.

Карл V, со своей стороны, понимая, что перемирие не может закончиться миром, вооружил новое войско — двенадцать или тринадцать тысяч человек: баварцы, франконцы, тирольцы и швабы, готовые войти в Италию. Ими командовал Георг фон Фрундсберг, непримиримый лютеранин, решивший покончить с папой и папством. «Пусть говорят, что Фрундсберг отправляется воевать с турками; мы знаем, о каких турках идет речь», — якобы сказал император.

Когда солдаты императора подошли к Брешии, все сомнения — если они и существовали — рассеялись, так же как и надежда на быстрое и действенное вмешательство короля Франции и согласие среди членов коалиции. Герцог Мантуанский, сын Изабеллы д'Эсте, превратившейся из ярой франкофилки в «bona imperiale»[96], вел двойную игру и указал Фрундсбергу место для лагеря между реками По и Минчио, а герцог Феррарский предоставил ему понтонный мост, чтобы тот смог перейти через реку. Альфонсо д'Эсте открыто покинул папу, который заставил его слишком дорого заплатить за Модену, и Францию,

бездействие которой заранее обрекало его на репрессии со стороны императора.

Казалось, никто больше не верил в победу Лиги и, что еще хуже, никто как будто бы ее и не желал, если судить по выжидательной позиции, занятой ее главой, герцогом Урбинским. У Франческо-Мария делла Ровере не было никакого резона умирать за Медичи, которые прежде столько сделали для его погибели. Более того, будучи зятем Изабеллы д'Эсте, он испытывал на себе ее влияние. А она весьма успешно предпринимала меры для того, чтобы привести всех своих родственников в стан императора. Короче, как написал 2 декабря Никколо, призывая к последнему броску прежде, чем Фрундсберг и Карл де Бурбон сумеют объединиться, «если все и далее будут так разделены, не смогут договориться и будут пребывать во власти взаимного недоверия, надеяться не на что».

Однако Макиавелли не считал, что глухота и паралич главарей Лиги неизлечимы. По его мнению, для того чтобы остановить орду оголодавших босяков, достаточно было проявить хоть каплю мужества и заставить папу развязать кошелек. В противном случае наемники, соединившись с испанцами, нападут на какой-нибудь город, принадлежащий Венеции или папе, или же заполонят всю Тоскану. Он был плохо информирован и не знал, что вся драма именно в этом: папский кошель был пуст. Обремененный финансовыми трудностями Климент VII тешил себя иллюзиями: он хотел верить, что соединение Бурбона и Фрундсберга неосуществимо — мощь его собственной армии должна сделать его невозможным. Он был бы прав, если бы в дело не вмешались людские страсти и судьбы людей, от которых зависели судьбы народов.

В декабре удача отвернулась от Джованни делле Банде Нере. Раненный при защите одного из мостов через Минчио выстрелом из фальконета (герцог Феррарский предоставил в распоряжение Фрундсберга артиллерию), он умер шесть дней спустя в Мантуе, куда его перенесли под покровом снежной бури. «Любите меня, когда я умру…» — якобы сказал он маркизу Мантуанскому, который в отчаянии умолял его высказать последнее желание: вот парадокс тех войн, когда нынешний враг с состраданием склоняется над вчерашним другом в момент его агонии. Как коннетабль де Бурбон оплакивал гибель Байярда, так Фредерико Гонзага — гибель Джованни делле Банде Нере. Вместе с этим двадцативосьмилетним капитаном, последним великим кондотьером эпохи, умерла и надежда Италии. Сообщение о его смерти, пришедшее одновременно с известием о наступлении армии, вызвало в Риме панику.

Во Флоренции тоже дрожали от страха. Уже 30 ноября Синьория отправила Никколо к Гвиччардини (который вернулся на службу), чтобы узнать, какие меры предприняты им для защиты Тосканы, и, в случае необходимости, «использовать все возможные средства, дабы заключить мир». Франческо Гвиччардини старался остановить панику, и Никколо несколько дней спустя возвращается и успокаивает правительство: война уходит от Флоренции в сторону Пармы и Пьяченцы! Но, видимо, он был недостаточно убедителен, ибо его вновь спешно отправляют к Гвиччардини, который на этот раз находится в Парме вместе с герцогом Урбинским. Макиавелли прибыл туда в тот самый день, когда армии Фрундсберга и Карла де Бурбона соединились под Пьяченцей.

Что же будет дальше? Куда направятся эти триста тысяч человек — не только самое большое войско, каким когда-либо располагал император в Италии, но и самое нищее. «Один Бог знает, что они предпримут, поскольку скорее всего они и сами этого не знают, — говорит Никколо, который не поддается пораженческим настроениям и повторяет неустанно: — Не стоит слишком их бояться, поскольку спасти их может только наша разобщенность, а все здешние военные эксперты считают, что у нас есть шанс добиться победы, а помешать нам победить могут только плохое командование и нехватка денег. Здесь достаточно сил для ведения войны, стоит только избавиться от этих двух недостатков… и не дать папе бросить все».

Герцог Урбинский первым прекратил борьбу. Он воспользовался случившимся весьма кстати приступом подагры, чтобы 16 февраля покинуть действующую армию на носилках. Императорской армии, измученной, увязшей в снегу и грязи, с пустым животом и кошельком, — этой орде, решившейся во что бы то ни стало перейти Апеннины и возместить все свои страдания за счет «несметных богатств» Рима и Тосканы, — позволили беспрепятственно сменить направление и вместо Пармы двинуться к Болонье.

Климент VII «являет собой судно без руля в бурю», — пишут маркизу Мантуанскому. А между тем папские войска самостоятельно отразили в начале февраля попытку Ланнуа, ставшего после смерти Пескары вице-королем Неаполитанским, захватить Лациум. Это была прекрасная победа, вынудившая понтифика взять на себя инициативу и начать наступление на Неаполитанское королевство, — предложение Никколо Макиавелли не было, следовательно, таким уж абсурдным, коль скоро это был план, за который ратовали и король Англии, и Франциск I, считавший возможным использовать его в качестве

разменной монеты для освобождения сыновей. Правда, наступление окончилось неудачей из-за недостаточной скоординированности действий и, как всегда, нехватки денег, однако оно побудило Ланнуа, знавшего о трудном положении Бурбона и Фрундсберга, начать переговоры о перемирии на условиях, более приемлемых для папы.

25 марта Ланнуа явился в Рим под проливным дождем — дурное предзнаменование, решили римляне. Прошел слух, что в окно, у которого стоял вице-король, попала молния (стрела с неба!). Это не помешало Клименту VII поставить свою подпись под предложением отвести войска из Неаполитанского королевства, если Бурбон, в свою очередь, отступит в Ломбардию в обмен на шестьдесят тысяч дукатов. К нему спешно отправили гонца, чтобы уговорить его присоединиться к договору. Гонец вез с собой часть денег, обещанных в обмен на отступление. Деньги дали флорентийцы, чувствовавшие, что они первые под угрозой.

Отступление! Новость вызвала волнения в лагере. Испанцы искали коннетабля, чтобы убить предателя, согласившегося возвратить их, изможденных и обманутых, в Милан. Он едва успел добраться до лагеря ландскнехтов и спрятаться в конюшне. Но германцы Фрундсберга хотели мира не больше, чем испанцы. Может быть, даже еще меньше, потому что они сражались не только за золото Рима, но и ради уничтожения папства. Фрундсберг решил восстановить спокойствие, обратившись с речью к войскам, но, выйдя к солдатам, упал, сраженный апоплексическим ударом.

Никколо, находившийся в Болонье, сообщил радостную новость Синьории. Они с Гвиччардини были убеждены, что лишившиеся своего командира ландскнехты разбредутся кто куда и вернутся обратно в горы. Что касается коннетабля, то «он весьма расположен к перемирию», — писал Никколо во Флоренцию 23 марта.

* * *

29 марта прозвучало еще одно тревожное предупреждение: Карл де Бурбон требовал денег — сколько, никто не знал, чтобы удовлетворить своих солдат, которых с таким трудом убедил согласиться на перемирие; в противном случае его армия выступит уже завтра. «Короче говоря, — пишет Никколо, докладывая о приезде в лагерь гонца, привезшего новые требования коннетабля, — перемирие не состоялось и остается только думать о войне… Если вы хотите заставить этих обжор

согласиться на перемирие, надо было бы иметь в вашей мошне, не считая жалованья нашим собственным пехотинцам, по меньшей мере сто тысяч флоринов; поскольку это невозможно, безумно терять время на торг, по которому мы не могли бы уплатить за неимением денег. В[аши. — *К. Ж.*] С[иятельства. — *К. Ж.*] должны теперь, следовательно, думать только о войне, о том, чтобы снова привлечь на свою сторону венецианцев, поднять их дух настолько, чтобы их солдаты, уже перешедшие через По, пришли нам на помощь; подумайте, наконец, о том, что насколько это перемирие, если бы оно состоялось, послужило бы нашему спасению, настолько неопределенность служит нашему поражению».

Между тем Бурбон, парализованный снежной бурей, обрушившейся на Италию в ту ночь, не выполнил своей угрозы. Никколо в нетерпении: «Нет никакого сомнения, что, если бы мы смогли усугубить их трудности, они бы пропали, но нашей несчастной судьбе было угодно, чтобы мы сами были не в состоянии сделать хоть что-нибудь эффективное. Из этого следует, что командующий (Гвиччардини. — *К. Ж.)* пребывает в состоянии постоянной тревоги, реорганизуя и исправляя, насколько возможно, все, что он может реорганизовать и исправить, и да будет воля Божия на то, чтобы он смог справиться со своей работой!»

Слова! Действительности же надо смотреть в лицо: у папы больше не было ни денег, ни армии. Он распустил, в соответствии с условиями перемирия, большую часть своего войска, несмотря на то, что все предостерегали его от подобного шага. «Его Святейшество, кажется, уже сдался на милость победителя. В этом нет никакого сомнения, непреложная и безоговорочная воля Божия состоит в том, чтобы Церковь и ее глава были уничтожены», — писал мантуанский посол.

Что до Венеции, то она заботилась о собственных владениях и не могла ослабить свою оборону и отправиться воевать в Центральную Италию. Против коннетабля Карла де Бурбона мог выступить только герцог Урбинский, но даже если предположить, что он был в состоянии воспротивиться давлению своих мантуанских родственников, преданных империи (младший сын Изабеллы д'Эсте открыто явился в лагерь коннетабля, своего кузена), то никогда ничем не стал бы рисковать ради Медичи.

* * *

Макиавелли следует за Гвиччардини из Имолы в Форли, куда

тащится армия Лиги. Он встревожен, как и его друг. Враг обнаружил свой «зловещий замысел», но что предпримет папа? Может быть, он «преклонит голову на колена вице-короля и доверится судьбе»? И что случится тогда?

«Мы все познаем несчастья мира, если упустим возможность воевать», — говорил Гвиччардини в 1525 году. Ныне, независимо от решения папы, он «решил, что бы ни случилось, защищать Романью, если посчитает, что ее можно защитить, — пишет Никколо к Веттори 5 апреля, — а если защитить ее будет невозможно, оставить ее и сражаться со всеми итальянскими войсками, которыми он будет располагать, со всеми деньгами, которые у него останутся при нашем денежном голоде, и испробовать все средства для того, чтобы спасти Флоренцию и наши государства».

Спустя несколько дней, уже в Форли, флорентийцы смогли вздохнуть с облегчением: гроза разразится не над ними! Макиавелли направляет Синьории успокаивающее сообщение: «Императорская армия приблизилась к нашим укреплениям на расстояние пушечного выстрела, а затем свернула налево и двинулась нижней дорогой на Равенну, так что в настоящий момент мы здесь уверены, что они не войдут в Тоскану. И мы почти уверены, что они не смогут захватить ни одной крепости в Романье… и если только не случится чего-нибудь экстраординарного, мы можем считать себя в безопасности».

Впрочем, атмосфера в лагере была отвратительная. Среди солдат царило неповиновение, а среди командиров — разногласия. Никколо полон возмущения и угнетен. «…Нам надобно или менять тут все до основания, — пишет он Синьории, — или заключать мир, от которого теперь, когда мы находимся в такой дурной компании, не стоит отказываться, если только условия его будут достаточно приемлемыми. Если же мы продолжим войну, не перегруппировав армию, не удовлетворив ее командиров, и если венецианцы и король не покажут себя лучшими товарищами, а папа не проявит большего терпения, мы рискуем попасть в непоправимую катастрофу».

Снова стали «тайно готовить» перемирие, опасаясь, что ландскнехты («свирепые звери, в которых нет ничего человеческого, кроме лица и голоса», — как писал по-латыни Никколо в письме к Гвиччардини), не имея что грабить по эту сторону Апеннин, перейдут через горы тем же путем, которым когда-то прошел Чезаре Борджа. Никколо сомневался, что это будет хорошее перемирие, ясное и понятное. Скорее, оно будет из тех, что «подписывают в Риме и нарушают в Ломбардии». В него никто не поверит, кроме, быть может, простаков, которые

довершат собственное разорение, стараясь соблюдать его финансовые пункты, лишатся армии и не смогут защититься от тех, кто его нарушит.

Это было безумием, но папа полностью доверился Ланнуа. Вице-король Неаполитанский согласился отправиться в лагерь Бурбона для переговоров о мире. Он проехал через Флоренцию, которая возлагала на него все свои надежды и готовилась продавать городское имущество, церковные украшения и даже священные сосуды, чтобы удовлетворить увеличивавшиеся с каждым днем аппетиты коннетабля.

Встреча Ланнуа и Карла де Бурбона должна была состояться 17 августа у подножия Апеннинских гор. А накануне Никколо дал волю своим чувствам в эмоциональном письме к Веттори: «Завтрашний день решит нашу судьбу. Здесь решено, что, если только он (Бурбон. — *К. Ж.)* двинется, нужно думать исключительно о войне, и чтобы ни один волос не помышлял о мире… пусть все союзники идут вперед без оглядки, потому что теперь надо не ковылять, а мчаться очертя голову. Ибо отчаяние часто находит лекарство, которого не умеет отыскать свободный выбор… Я люблю Франческо Гвиччардини. Я люблю свою родину больше, чем душу. И говорю вам то, что подсказывает мне опыт моих шестидесяти лет. Я думаю, что никогда не приходилось ломать голову над такой задачей, как сейчас, когда мир необходим, а с войною не развязаться…»[97]

КОНЕЦ ЭПОХИ

Климента VII обманули. Коннетабль Карл де Бурбон перешел Апеннины и уже по другую их сторону, севернее Ареццо, дожидаясь выплаты обещанных ста пятидесяти тысяч, получил из рук Ланнуа семьдесят тысяч дукатов от Флоренции. Но к приезду Ланнуа цены выросли, и коннетабль требовал уже двести сорок тысяч. В противном случае, говорил он, ему придется продолжить наступление. Как за считаные недели собрать такую сумму? Папа такого не сможет, и Карлу де Бурбону это было прекрасно известно.

Все были в недоумении. Что движет коннетаблем? Ненависть? Надежда выкроить княжество для себя? Может быть, он просто выполняет волю императора? Или же он и вправду вынужден был против своего желания довести дело до того, к чему стремились испанцы и немцы, которыми он вроде бы командовал, — до грабежей? Нет ни одного документа, который мог бы подтвердить или опровергнуть многочисленные предположения современников и историков.

Не дожидаясь ответа из Рима, коннетабль Карл де Бурбон переходит Арно и направляется к Сиене.

Флоренция трепещет. Там роют рвы и возводят бастионы и башни. «Нашествие — это бедствие, которое давно предвидели, — успокаивает Макиавелли. — Ваши Светлости не должны испытывать никаких опасений… наши отряды так удачно размещены, перед ними открыто столько дорог, что они будут на месте прежде них… До сих пор Ваши Светлости и город Флоренция защищали и спасали Ломбардию и Романью; в этот час вы спасете самих себя…» Однако сам он принял меры предосторожности: последний урожай собран, масло и вино надежно спрятаны. Никколо успокаивает семью: «Что бы ни услышала Мариетта, она не должна тревожиться, потому что я буду рядом прежде, чем случится хоть малейшая неприятность». И все же он составил новое завещание[98].

Не в обиду Макиавелли будет сказано, но Флоренцию спасла вовсе не «непобедимая доблесть» ее граждан, которую он восхвалял в том же письме к Синьории, а стратегия коннетабля. Обойдя Флоренцию, которая была слишком хорошо укреплена для того, чтобы атаковать ее силами столь недисциплинированной армии или, что еще неразумнее, начать ее осаду в тот момент, когда вышедшая из оцепенения армия Лиги двигалась навстречу, он бросился на Рим.

«Странная война», длившаяся многие месяцы, когда враги

только наблюдали друг за другом и всячески друг друга избегали, словно их предводители равно переживали приступ малодушия, сменилась «войной молниеносной», невероятно быстрым и жестоким нашествием: 1 мая форсированным маршем коннетабль де Бурбон вошел во владения Церкви; 2 мая занял Витербо, что в пяти днях пути от Рима; 4 мая был уже в двадцати километрах от его стен и вечером следующего дня, стоя на холме Монте-Марио, обозревал распростершийся у его ног Вечный город.

В какие игры играл в это время герцог Урбинский? 2 мая армия Лиги прошла парадом через Флоренцию, которая только-только начала приходить в себя после «пятничного бунта». В пятницу, 26 апреля, неправильно истолковав уход из города кардинала Пассерини и молодых Медичи, направившихся навстречу герцогу, флорентийцы решили, что те спасаются бегством, и бросились в Палаццо Веккьо. Выкрикивая проклятия в адрес Медичи, они захватили дворец и с его балкона провозгласили восстановление свободы. Гвиччардини при поддержке армии без труда восстановил порядок и охладил горячие головы. В этот час нельзя было перепутать врага! О чем думал тогда Никколо? Молча, как то были вынуждены делать все сторонники республики, сожалел об упущенной возможности или же посчитал эту авантюру преждевременной? А может быть, он присоединился к Гвиччардини, своему другу и брату, который, позволяя себе высказывать едкую критику в адрес понтифика, был предан папе и готов был идти с ним даже в ад?

Ад — это Рим.

* * *

Говорить о том, что осталось в Истории как трагедия века, — это не только детально описывать бесчисленные ужасы, которые сопровождали разграбление города сорвавшейся с цепи солдатней, пожары, разрушения, убийства, резню, пытки, насилие; не только живописать потоки крови, уничтожение «шести тысяч человек», по воспоминаниям одного из ландскнехтов, вопли ненависти и скорби, боли и отчаяния — мир слышал с тех пор так много не менее ужасного, что все это, даже изложенное самым пылким образом, звучит, увы, банально. Говорить о том, что на всех языках называют «разграблением Рима», — это вспомнить о тьме, внезапно обрушившейся на весь христианский мир 6 мая 1527 года, вспомнить молчание мертвого города, колокола которого замолкли на долгие месяцы, вспомнить о пропасти, что разверзлась и навеки поглотила часть

памяти человечества, поглотила так же, как это уже случилось однажды, когда сгорела библиотека в Александрии[99]. Частные и публичные библиотеки Рима были опустошены, архивы изорваны, сожжены и втоптаны в грязь, редчайшие манускрипты были развеяны по ветру или служили подстилкой лошадям. Безумное и непоправимое уничтожение источников знания потрясло гуманистов больше, чем уничтожение произведений искусства. Даже люди, сочувствовавшие Реформации, считали это чудовищным позором.

Страшным надругательством, ужасным святотатством, преступлением не только против папства, Церкви и ее ценностей, но и против самого Духа и Разума — вот чем было разграбление Рима. Концом целой эпохи, целого мира, да, но и рождением мира нового. Коннетабль де Бурбон, поведший 6 мая свои войска на штурм, был сражен выстрелом из аркебузы — Бенвенуто Челлини хвастался, что это был его выстрел, — и умер, так и не увидев всего того ужаса, что затеял и не сумел (или не смог) предвидеть и предотвратить. Его смерть не обескуражила наступавших, не заставила их в смятении отступить, на что в какой-то момент понадеялись в Ватикане, но только еще больше их разъярила.

* * *

Армия Лиги, которую по-прежнему сопровождал Макиавелли, бездельничала на берегах Тразименского озера, когда 7 мая прискакал во весь опор запыхавшийся гонец с письмом от епископа Мотулы: «Сиятельные Синьоры, капитаны Лиги, Ваши Светлости не должны терять ни минуты. Борго[100] взят. Монсеньор де Бурбон убит. Три тысячи врагов погибло. Пусть Ваши Светлости поторопятся воспользоваться неразберихой, царящей в императорской армии. Скорее, скорее, не теряйте времени!» Весь Рим охвачен огнем, папа осажден в замке Святого Ангела и призывает на помощь. Но герцог Урбинский остановился в десяти километрах от Перуджи, ссылаясь на то, что не может ничего предпринять, пока не получит подкрепление.

Что об этом думал Макиавелли, можно предположить, зная, что думал Гвиччардини, который писал: «Папа предоставлен своей судьбе. Нет нужды говорить, кто в этом виноват… Я не военачальник. Я ничего не смыслю в военном искусстве, но я могу повторить вам то, что говорят все: если бы мы, получив известие о взятии Рима, тотчас же бросились на спасение Кастелло (замка Святого Ангела. — *К. Ж.),* мы освободили бы

папу и кардиналов и, быть может, разбили бы врага и спасли несчастный город. Но все знают, как мы спешили!.. Как будто речь шла не об освобождении злополучного понтифика, от которого все мы зависим, и не о спасении гибнущего великого города, а о деле малозначительном. Вот почему папа все еще в Кастелло и умоляет о помощи так горячо, что его мольбы могли бы смягчить и камни, и пребывает там в такой отчаянной нищете, что даже турки испытывают к нему жалость!»

Однако Франческо Гвиччардини не смирился. Речь шла о его чести, его утраченной чести, как он напишет несколько месяцев спустя, удалившись в Финоккьето — загородное имение, которое подыскал ему Макиавелли, когда его друг, назначенный правителем Романьи, выразил желание обзавестись подходящим домом в Тоскане. Он просит Никколо убедить Андреа Дориа, генуэзского адмирала, командовавшего папским флотом, стоявшим на якоре в Чивитавеккья, помочь освободить папу: надо высадить небольшой отряд в условленном месте. Дориа не выразил особого энтузиазма. Он хочет удостовериться, что в распоряжении Гвиччардини имеется больше сил, чем у врага; в противном случае акцию можно заранее считать проигранной.

Никколо поехал в Чивитавеккью из дружеских чувств к Гвиччардини, но, главное, ради Филиппо Строцци, жене которого удалось организовать его побег из Неаполя, где, напомним, он находился в заложниках у Карла V. Строцци необходим был корабль, чтобы как можно скорее вернуться во Флоренцию и взять в свои руки бразды правления назавтра после падения правительства Медичи. Будучи их родственником и доверенным лицом, он всегда оставался верен республиканским ценностям. Его самоубийство в тюрьме, куда те его бросят после своего возвращения в город «в обозе армии императора», служит тому доказательством.

* * *

В мае 1527 года ход Истории ускорился, что повлекло за собой быстрое ослабление власти Медичи и ее полный распад. 11 мая потрясенные флорентийцы узнали о трагедии Рима; 16 мая они восстановили Большой совет и отправились во дворец Лунгарно, что напротив моста Санта-Тринита, за одним из Каппони, чтобы провозгласить того гонфалоньером. Одно имя Каппони означало свободу! В 1494 году, когда Карл VIII вошел во Флоренцию, гонфалоньер Пьеро Каппони решительно отказал королю Франции в праве объявить себя ее сувереном. «Я велю

протрубить в трубы и начну сражение», — пригрозил Карл. «А я велю бить во все колокола», — с достоинством ответил Пьеро Каппони. Король Франции уступил и покинул город. Позднее другой Каппони заплатил своей жизнью за провал заговора против Медичи. Избрание Никколо Каппони символизировало возвращение республики — последней «демократии», которую будет знать Флоренция. По воле Карла V, который сделает Алессандро Медичи герцогом, а затем и своим зятем, они вернутся еще более сильными, чем когда-либо. Но 16 мая 1527 года молодые Медичи, которых никто не гонит и которым никто не угрожает, в спешке покинули город. Несмотря на опасения, революция прошла гладко, как нечто само собой разумеющееся.

Никколо вернулся во Флоренцию. Может быть, на той же пришедшей из Ливорно бригантине, которую Андреа Дориа согласился предоставить в распоряжение Филиппо Строцци, или на одной из трех галер, ушедших из Чивитавеккья. 19 мая они доставили туда из Рима Изабеллу д'Эсте, нескольких ее протеже и груз, состоявший из античных мраморных статуй, картин, драгоценных камней, а также вытканных в Брюсселе по картонам Рафаэля знаменитых папских гобеленов, которые маркизе удалось выкупить у грабителей. Благодаря защите своего сына Ферранте, капитана императорской армии, Изабелла смогла не только спасти свои коллекции, но и приютить тысячи беженцев во дворце Санти Апостоли на холме Джаниколо, предоставленном ей семейством Колонна, — единственном дворце, который к моменту ее отъезда из Рима неделю спустя после той страшной ночи еще не был разрушен.

Можно представить себе, о чем думал Макиавелли. Его спутники слышали, как он сокрушался о «простодушии папы». Наверное, он пытался изменить ход Истории с помощью «если бы только…» или «надо было лишь…». Признавался ли он самому себе в том, что беспрестанно ошибался? Заблуждаясь относительно политики Медичи и Святого престола, он считал возможным создать в Италии национальное государство — это означало сознательное игнорирование политического, социального и культурного своеобразия итальянских государств. Гвиччардини, критикуя Макиавелли, стремился сохранить это своеобразие как величайшее богатство. Никколо верил, что Лев X и Климент VII могли бы стать теми ниспосланными Провидением правителями, которые крепкой рукой правили бы Вечным городом, дабы подготовить его к тому, чтобы в один прекрасный день тот мог стать городом свободным. Гвиччардини, напротив, так ясно предвидел окончательную гибель республики, что даже не вернулся во Флоренцию; он и похоронит республику, оказав

поддержку Клименту VII в Болонье в августе 1529 года во время примирения Святого престола и императора; и именно он убедит Карла V, когда город сдастся императорской армии, отдать власть Алессандро Медичи; и наконец, в 1532 году, будучи вместе с Веттори членом комиссии, уничтожившей все старые властные институты, он сделает Алессандро герцогом Флорентийским, абсолютным владыкой, главой царствующего дома.

Никколо Макиавелли, поддавшись своим мечтам, ошибся в своем видении будущего, как слишком часто ошибался в прошлом, отказываясь смотреть в лицо реальности, питая необоснованные иллюзии и обманываясь в людях.

Понимал ли он, возвращаясь домой, когда в его сердце боролись надежда и тревога, что не менее неудачно он вел по жизни и собственное суденышко? Флоренция — о счастье! — вновь обрела свои свободы, но он, Никколо Макиавелли, сумеет ли он вернуть себе место в Канцелярии или окажется вдали от дел? Конечно, ему поставят в вину службу у Медичи; простят ли ему, что он посвятил свою «Историю Флоренции» Клименту VII, который, как говорилось в посвящении, «милостиво поддержал и обласкал» его; простят ли ему, что он «описал добросердечие Джованни (де Биччи[101]. — *К. Ж.),* мудрость Козимо, гуманность Пьеро, великолепие и предусмотрительность Лоренцо»? Но сколько людей, кричащих теперь: «Да здравствует республика!» — пресмыкалось перед властью Медичи! Никколо же никогда не был одним из них, иначе почему Медичи столько лет держали его в нищете? В конце концов он официально поступил на службу к Медичи только весной этого страшного года и только для того, чтобы в час опасности послужить Флоренции! Вчерашние изгнанники должны помнить, как ревностно и компетентно он выполнял все поручения Республики. Луиджи Аламанни и все его друзья из садов Ручеллаи знали его душу, горящую стремлением ревностно служить родине. Наверняка его поддержат!

* * *

10 июня Никколо предложил свою кандидатуру, но ему предпочли некоего Таруджи. Его отвергли: кто с ненавистью, кто от безразличия. Кому есть дело до Никколо Макиавелли? К тому же ему почти шестьдесят: не слишком ли он стар?

Его отстранили даже от строительства укреплений. Республика бросила вызов Медичи и империи. Она должна готовиться дать отпор. Но ей не нужно, чтобы о ее обороне заботился Никколо Макиавелли, — у нее есть Микеланджело.

Никто не вспоминает об отце флорентийской милиции, хотя, набирая ополченцев из числа потомственных флорентийцев, осуществляют на деле его мечту о городе, защищающемся собственными силами.

Это было уже слишком. Слишком много разочарований. Слишком много мерзостей. «И если в повествованиях о событиях, случившихся в столь разложившемся обществе, не придется говорить ни о храбрости воина, ни о доблести полководца, ни о любви к отечеству гражданина, то во всяком случае можно будет показать, к какому коварству, к каким ловким ухищрениям прибегали и государи, и солдаты, и вожди республик, чтобы сохранить уважение, которого они никак не заслуживали»[102], — написал он в «Истории Флоренции».

Никколо Макиавелли устал от мира. Он слег 21 июня: его внутренности сводило от боли. Он лечит свой живот и свое нежелание жить пилюлями, состав которых бросает вызов нам, варварам, поглощающим химические молекулы: алоэ, шафран, мирра, синеголовик и армянская глина. Быть может, он принял их слишком много? Он умер 22 июня 1527 года.

МИФ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Знает ли тот, кто приходит в Санта-Кроче помолиться на могиле Макиавелли, что он преклоняет колени перед пустой гробницей? 22 июня 1527 года могильщик, как это следует из записи в церковной книге, действительно похоронил Никколо в часовне семьи Макиавелли, но что сталось с его прахом — неизвестно.

Кенотаф[103] принадлежит, увы, уже другой эпохе. Этим, будем откровенны, уродливым памятником мы обязаны одному австрийскому великому герцогу и одному английскому лорду, по заказу которых его установили два столетия спустя…

Каким был Макиавелли в юности, мы знаем от Мариетты, которая считала его красивым, хотя он был черен и волосат — воплощение дьявола для некоторых! Но никто не может сказать, как он выглядел в зрелые годы. Бюст, стоящий на третьем этаже Палаццо Веккьо, там, где в 1510 году располагалась Канцелярия, — творение одного тосканского скульптора, который не являлся современником Макиавелли. То же можно сказать и о портрете Макиавелли, подписанном Санти ди Тито[104]. Этот портрет висит напротив окна, откуда открывается великолепный вид на крыши Флоренции, которым Никколо любовался два последних года своей службы. Все портреты, на протяжении веков иллюстрировавшие издания его трудов и его биографии, суть плод воображения, фантазии и представлений художников или их заказчиков, которые, быть может, Макиавелли даже не читали.

От такого обилия непохожих портретов начинает кружиться голова: а существовал ли Макиавелли на самом деле? Может, быть, он всего лишь миф?

Путешествуя по официальной и частной переписке Никколо Макиавелли, по переписке его друзей и врагов, мы не встретили ни «Старого Ника», дьявола во плоти, наводившего ужас и на иезуитов, и на гугенотов; ни бога, которому поклонялись Кромвель, Наполеон, Муссолини и, как говорят, Сталин… Мы встретили человека из плоти и крови, полного противоречий, как и большинство людей, и нарочито двойственного, словно он испытывал удовольствие от того, что запутывал следы. «Тот, кому случится прочесть наши письма, досточтимый собрат, и увидеть их разнообразие, — писал Никколо к Веттори, — подумает, что мы с тобой люди серьезные, полностью преданные великим делам, что в наших сердцах нет места ни одной мысли, которая не была бы о чести и величии. Но, перевернув страницу, те же люди покажутся ему легкомысленными, непостоянными,

похотливыми и преклоняющимися перед вещами суетными. Хотя некоторым такой способ существования и кажется недостойным, но я нахожу его весьма похвальным, потому что мы подражаем переменчивой природе, а тот, кто подражает природе, не достоин осуждения…»

Таким образом, каждый может, искренне или злонамеренно, выбрать себе «своего» Макиавелли. Но нам кажется более приемлемым объединить их, как того хотел бы, наверное, сам Макиавелли — холодный и страстный; реалист и идеалист; человек чувствительный и циничный, который презирал людей и верил в человека; антиклерикал и друг кардиналов; скептик, мечтавший о чистой Церкви и взывавший к Богу, находясь в нужде, и тот, кто считал Церковь всего лишь политическим институтом; нераскаявшийся игрок и мудрый управитель семейных владений; безрассудно смелый и робкий; храбрец и нытик; простак и хитрец… на словах, потому что Небесам было угодно, чтобы он играл по тем правилам, которые не сам придумал, но лишь вывел из происходящего на его глазах.

Бедный, милый Никколо! Мечтая о кресле советника государя, он вынужден был освободить свой жалкий табурет секретаря и отказаться от возможности служить Республике; он писал плохие стихи, которые нравились, и серьезные трактаты, которые не выходили за пределы круга его близких друзей. Когда наконец, уже посмертно, был напечатан «Государь», это произошло в самый разгар Контрреформации, и один английский кардинал начал против него войну, став первым, кто демонизировал Макиавелли. За ним последовали португальский епископ и итальянский епископ из тех, что были центральными фигурами на Тридентском соборе, и их стараниями автор и его произведения были включены в «Индекс»[105].

С тех пор война вокруг имени, ставшего воплощением зла, не прекращается, потому что легче персонифицировать зло, поверить в то, что оно воплотилось в конкретном человеке, чем допустить, что оно, безымянное, правит миром. Что за схватка! Читают, перечитывают, комментируют, оскорбляют автора и друг друга для того, чтобы уже в XVII веке признать, правда не без колебаний, что нельзя править с четками в руках, что эффективная политика неизбежно разводит мораль — религиозную или светскую — и правильно понятые интересы государства. Однако авторство основных законов этой политической акробатики продолжают приписывать Макиавелли, не зная, как правило, что его звали Никколо и что он только описывал то, что видел.

Короче, наблюдения секретаря флорентийской Канцелярии,

который был человеком рассудительным и не мог не видеть очевидного, превратились в универсальные теории; именно им он и обязан ныне званием основателя политической науки, и именно они составили ему репутацию лицемера, обманщика и подлеца. Нам, теперь знакомым с ним, он мог бы со своей обычной иронией ответить, пародируя Расина, что не «заслужил ни этих почестей, ни этого позора!»

После смерти Макиавелли на протяжении веков имел лишь врагов, о существовании которых вряд ли догадывался. При жизни же он не испытывал недостатка в друзьях: некоторые из них пошли бы ради него в огонь, а другие, на которых он больше всего рассчитывал, оставляли его тонуть. У него были весьма посредственные дети, любовницы, не принадлежавшие к высшему обществу, и даже достойная и преданная супруга, из тех, что, вздыхая, работают иглой и шлют посылки своим далеким мужьям. В посылке, отправленной однажды Никколо, лежали «две рубашки, три пары чулок и четыре носовых платка». Обыкновенный человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Геополитическое положение Италии на заре XVI века

Папское государство

«В состав Папского государства входили древний Лациум, Марке и Романья. Наверное, это самое необыкновенное из всех государств Италии. В этой длинной, неровной и разнородной ленте нет ничего, хотя бы отчасти напоминающего страну: Апеннинские горы разрезают ее на две части и изолируют Рим. В конце XV века ее северная часть принадлежала папам лишь номинально, а на самом деле была поделена между венецианцами и несколькими могущественными семействами, такими, как Бентивольо, Малатеста, Монтефельтро, типичными кондотьерами. Даже в самом Риме и его окрестностях доминировали семейства Колонна и Орсини, которые занимали в столице укрепленные районы».

Тоскана

«Она не была еще поглощена Флоренцией (самым маленьким из пяти основных итальянских государств), но все более склонялась к тому, чтобы перейти под ее власть. Хотя республиканская Сиена имела достаточно обширную территорию, а Лукка сохраняла независимость, расширение границ Флоренции и благоприятное местоположение последней на берегах Арно ясно указывали на то, где в скором времени будет центр этого политического региона».

Миланское государство

«Типично кондотьерское государство, будь то в правление Висконти или Сфорца», которые захватили власть в середине XV века. «К 1492 году герцогство Миланское простиралось от подножия Альп до реки По и от Сезии до Адды. В состав его входили даже Пьяченца и Парма; его аванпосты были выдвинуты к самому Понтремоли, который Сфорца оспаривали у флорентийцев. Вся жизнь и все могущество этого герцогства были основаны на военной силе и гении государя, настоящего

государя, в понимании Макиавелли. Столицей был не столько сам город Милан, но Миланский замок: дворец и крепость одновременно…»

Генуя

«Находясь во власти постоянных внутренних конфликтов, республика отдается всем по очереди. Франция, Милан, Пьемонт владеют ею, теряют и вновь ее завоевывают»[106].

Мелкие княжества

Их множество. На севере — маркграфство Салуццо, находящееся в вассальной зависимости от Франции, маркграфства Монферрат и Мантуя — относительно независимые вассалы империи; в центре — герцогство Феррара. Затем еще ряд карликовых образований: Урбино, принадлежавшее Монтефельтро; Римини и Фано, принадлежавшие Малатеста; Фаэнца и Имола, принадлежавшие Манфреди; Мирандола — Пико; Болонья — Бентиволью.

Империя и Италия

В Средние века вся политическая жизнь Италии, раздираемой враждой между гвельфами и гибеллинами, сторонниками папы и сторонниками императора, вращалась вокруг империи и папства. С тех пор как Людовик Баварский (1313–1347), коронованный римлянами на Капитолийском холме, потерпел поражение в войне с анжуйцами в Неаполитанском королевстве и возвратился в Германию, эта страница истории была перевернута. Империя отказывается от религиозной и политической гегемонии на полуострове и вне пределов германского государства является лишь величиной условной. Однако Милан, Мантуя, Модена, Парма и Верона номинально остаются вассалами императора.

Государственное устройство республики, которой служил секретарь Макиавелли

Народ

Граждане, пользовавшиеся политическими правами по принадлежности к одной из корпораций — Старшие («жирный народ») и Младшие цеха. К ним не принадлежали ни плебс, ни мелкие ремесленники, ни городская беднота. Платить налоги еще не значит иметь возможность участвовать в решении политических вопросов.

Правительство

1. Исполнительная власть

Синьория: гонфалоньер (с 1502 года избиравшийся пожизненно); восемь приоров, или синьоров (назначавшиеся по жребию сроком на два месяца); двенадцать «Добрых мужей» — Коллегия старейшин; Совет десяти (особый магистрат, состав которого регулярно обновлялся; его ведению подлежали военные вопросы, а также внешняя и внутренняя политика); Совет восьми (политическая и уголовная полиция).

2. Законодательная власть

Большой совет (верхняя палата): все флорентийцы старше двадцати девяти лет, если они сами или их родители занимали высшие должности, а также несколько десятков кооптируемых граждан, не отвечавших критериям возраста и знатности. Все они были разделены на три группы по пятьсот человек, которые поочередно заседали в Совете по шесть месяцев каждая.

Совет восьмидесяти (нижняя палата): обновлялся каждые шесть месяцев; его члены выбирались по жребию и кооптацией из числа членов Большого совета, не моложе сорока лет. Совместно с Синьорией Совет решал важнейшие дела, в частности назначал комиссаров в войска и послов.

Достаточно схематичное разделение властей на исполнительную и законодательную сделано историками из соображений удобства и не соответствует действительности, гораздо более сложной и запутанной. Синьория, которой помогали специальные комиссии (pratiche), имела право вносить законы, которые голосовались без обсуждения в Совете восьмидесяти и утверждались затем Большим советом.

«Во Флоренции не существовало пропасти между республиканской и тиранической формами правления… В любом случае власть является собственностью меньшинства, изолированного от народа и стремящегося обезопасить себя путем сохранения завоеванных позиций»[107].

Хроника Флоренции от восстановления республики

(1527) до ее окончательного падения (1531–1532)

Май 1527 года

Разграбление Рима.

Восстание во Флоренции; изгнание Медичи; возвращение республиканских институтов. Гонфалоньер Никколо Каппони, убежденный сторонник Савонаролы, дабы иметь возможность окончательно разгромить любую оппозицию, объявляет Христа правителем города.

Лето 1527 года

Жестокие сражения в Италии.

Французская армия под командованием Лотрека захватывает с помощью миланских и венецианских войск всю территорию Миланского герцогства, кроме самого Милана.

Адмирал Андреа Дориа возвращает Франции Геную.

Альфонсо д'Эсте присоединяется к Лиге. Рене Французская, дочь Людовика XII, выходит замуж за Эрколе д'Эсте, наследника герцогства Феррарского.

Мантуя изменяет императору.

Декабрь 1527 года

Климент VII бежит в Орвьето.

Февраль 1528 года

Лотрек идет в поход на Неаполитанское королевство; императорские войска покидают Рим и направляются на защиту Неаполя.

Весна 1528 года

На востоке Италии французы одерживают победу за победой, однако Неаполь и Гаэта не сдаются.

Лето 1528 года

Измена адмирала Андреа Дориа спасает Неаполь. Смерть Лотрека (август) довершает поражение французов; развал французской армии.

Лето — зима 1529 года

Новая неудача Франции в Ломбардии: «Это поражение французов заставило всю Италию сложить оружие».

Барселонское соглашение (29 июня): Карл V обещает восстановить власть Медичи во Флоренции, Климент VII — короновать императора и пожаловать ему Неаполитанское королевство; предполагаемый брак Алессандро Медичи и Маргариты, побочной дочери Карла V, еще больше укрепляет этот союз.

Камбрейский мир (3 августа), называемый «Дамским миром», переговоры о заключении которого вели Луиза Савойская и Маргарита, тетка Карла V: Франция отказывается от всех

территориальных претензий в Италии и покидает своих итальянских союзников — Венецию, Феррару и Флоренцию. От флорентийцев требуют «в течение четырех месяцев рассчитаться с императором».

Папа вступает в переговоры с гонфалоньером Никколо Каппони, однако флорентийцы, посчитав занятую им позицию соглашательской, низлагают Каппони и отражают первую атаку на город (11 ноября).

Торжественное примирение папы и императора в Болонье (декабрь). Карл V соглашается оставить Франческо Сфорца править Миланским герцогством, начать переговоры с Венецией и Альфонсо д'Эсте и не только простить Мантуе ее отступничество, но и сделать ее герцогством, однако отдает приказ о карательной экспедиции против непокорной Флоренции.

1530 год

Коронация Карла V 24 февраля, в годовщину битвы при Павии.

Десять тысяч ландскнехтов во главе с Антонио де Лейва, переданные в распоряжение принца Оранского, осаждают Флоренцию (апрель).

Сопротивление флорентийцев. «Ради защиты нашей свободы мы готовы на все; мы погибнем прежде, чем ее потеряем, а город будет разрушен настолько, что придется говорить не „там — Флоренция“, но: „там была Флоренция“» (из донесения дожа Никколо да Понте).

Малатеста Бальони, перуджинец, командует пятьюдесятью тысячами флорентийских ополченцев и еще несколькими тысячами человек, в большинстве своем бывших солдат Джованни делле Банде Нере. Микеланджело — генеральный комиссар по строительству укреплений. Франческо Ферруччи, в прошлом купец, возглавляет кучку *desperados*[108], совершающих успешные вылазки и диверсии в долине реки Арно.

Лето 1530 года

В битве при Гавинане, неподалеку от Пистойи, гибнут Франческо Ферруччи и принц Оранский (3 августа).

Малатеста Бальони при поддержке «партии капитулянтов» тайно пытается вести переговоры о перемирии, совершенно необходимом ввиду полного истощения сил защитников Флоренции, которых косят голод и болезни.

Флоренция сдается 12 августа. Командующий имперским войском Ферранте Гонзага доводит до сведения флорентийцев, что Карл V принимает их капитуляцию и оставляет за собой право установить в городе новый режим правления, не покушаясь, однако, на республиканские свободы.

Май 1531 года

Карл V своим эдиктом назначает Алессандро Медичи главой республики.

Жестокие чистки во Флоренции.

27 апреля 1532 года

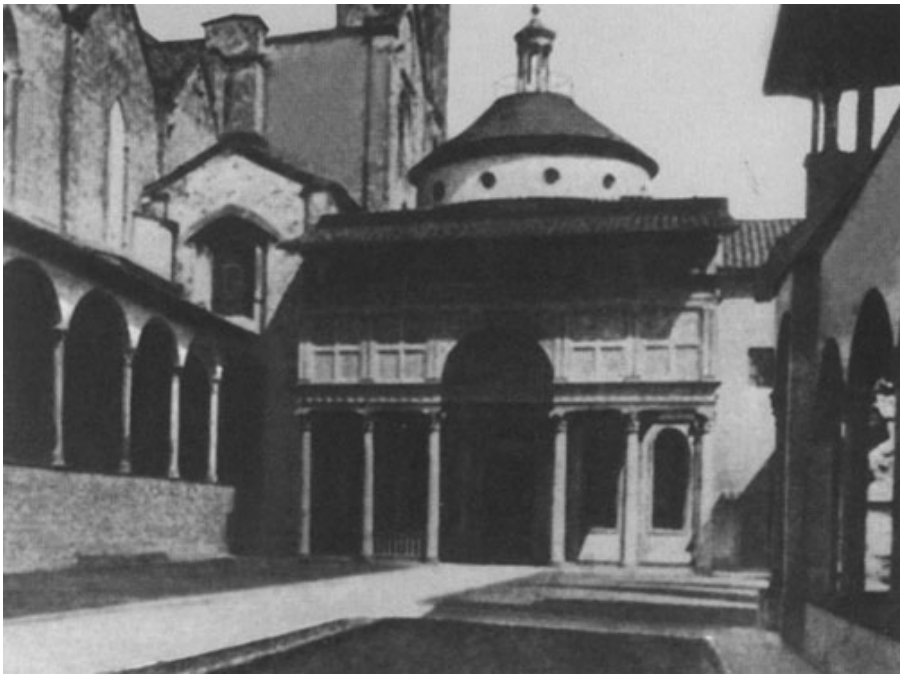
Комиссия из двенадцати членов, ранее входивших в состав балии, среди которых Франческо Гвиччардини, Роберто Аччайоли и Франческо Веттори, ликвидирует Синьорию и пост гонфалоньера и учреждает Коллегию, состоящую всего из четырех членов, которые переизбираются каждые три месяца, а также Совет из сорока сенаторов, в ведении которых находятся вопросы войны и мира. Для поддержания видимости демократии учреждается Совет двухсот.

Май 1532 года

Император пожаловал Алессандро Медичи герцогство Флоренцию в наследственное владение.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

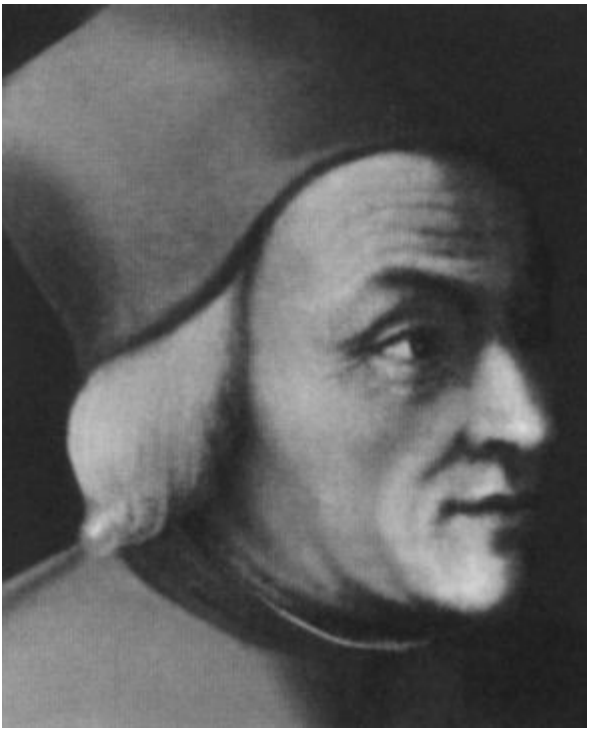
Флоренция. Палаццо Веккьо. Современное фото.



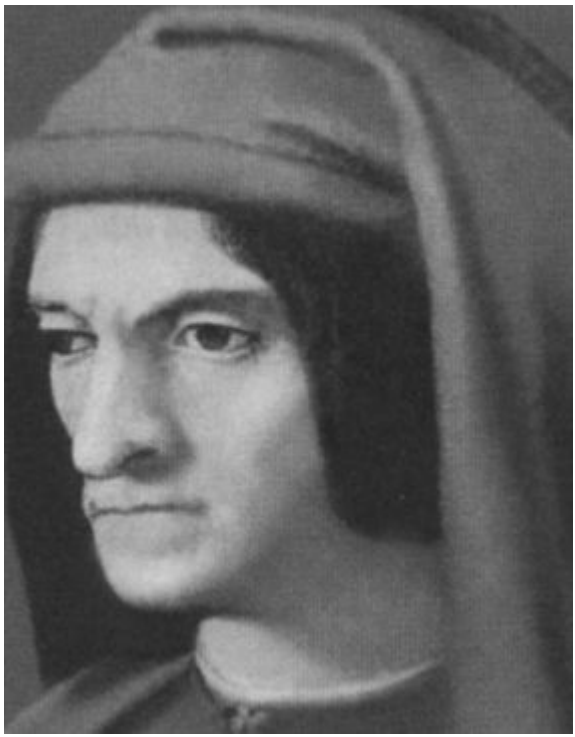
Флоренция. Капелла Пацци.

Флоренция. Палаццо Ручеллаи.

Флоренция. Собор Санта-Мария дель Фьоре. Современное фото.



Гонфалоньер Флоренции Пьеро Содерини (1502–1512).



Лоренцо Великолепный (1449–1492).

Кондотьер Флоренции Пинно Спано. Андреа дель Кастаньо. 1450.

Савонарола (1452–1498).

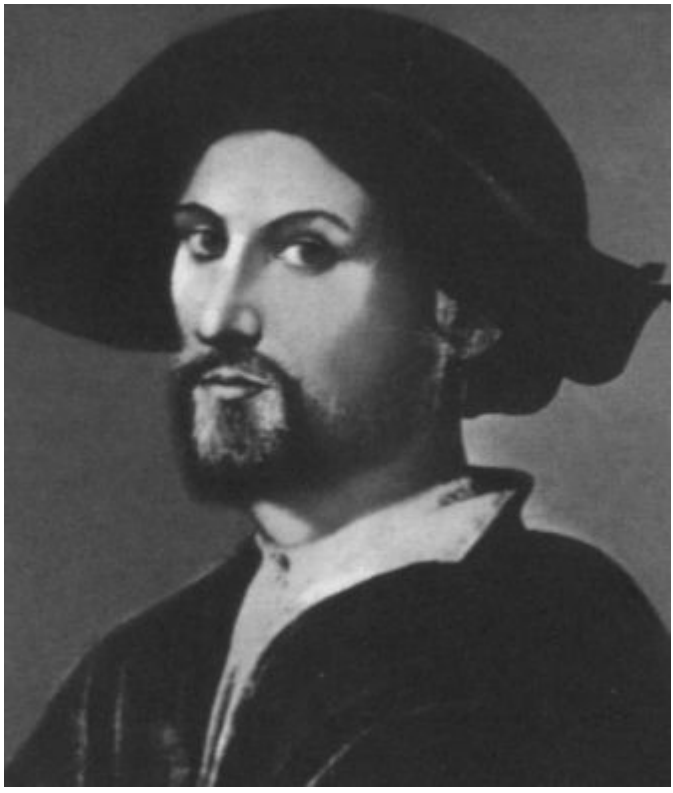
Казнь Савонаролы.

Франческо Гвиччардини (1482–1540).

Дом Макиавелли в Сан-Андреа.

Зал заседаний Совета пятисот.

Рабочий кабинет Макиавелли.



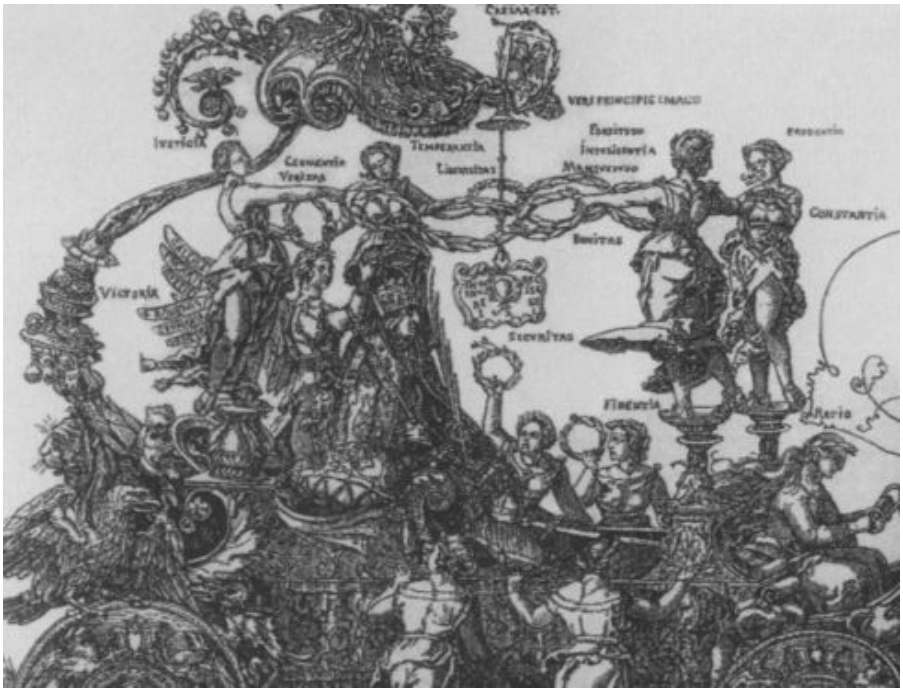
Чезаре Борджа (1475–1507).

Джулиано Медичи. Сандро Боттичелли. XV в.

Федерико да Монтефельтро. Пьеро дета Франческа. Ок. 1465 г.

Встреча Лодовико Гонзага с кардиналом Франческо Гонзага. Андреа Мантенья. 1474.

Максимилиан I — император Священной Римской империи (1493–1519).



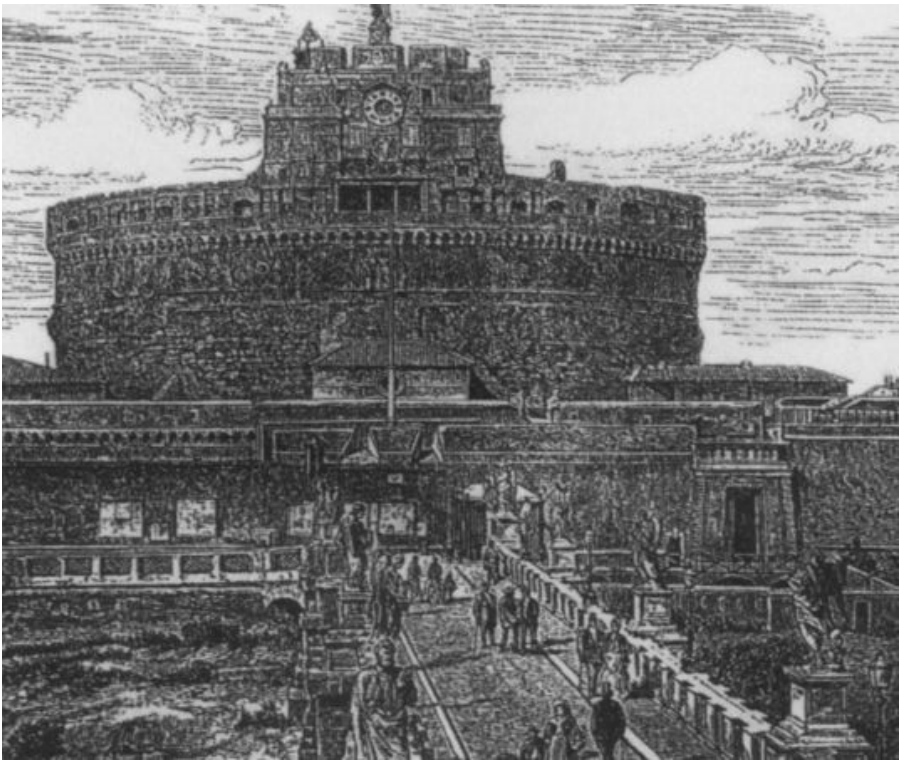
Император Максимилиан I на триумфальной колеснице, окруженный добродетелями. Гравюра Альбрехта Дюрера. XVI в.

Людовик XII — король Франции (1498–1515).

Папа Александр VI (1492–1503).

Папа Юлий II (1503–1513).

Папа Лев X (1513–1521).



Рим. Замок Святого Ангела.

Карл V — император Священной Римской империи (1519–1555).

Шествие Карла V и Климента VII после коронации. Гравюра Н. Гогенбурга. XVI в.

Джованни делле Банде Нере (1498–1521).

Карл де Бурбон (1490–1527).

Ландскнехты Карла V. Гравюра Шеффелина. XVI в.

Франциск I — король Франции (1519–1547).

Пленение Франциска I при Павии. Гравюра М. Мериана. XVI в.

Никколо Макиавелли. Бартолини. 1846.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

1469, 3 мая — Во Флоренции в семье Бернардо ди Никколо Макиавелли и Бартоломеи Нелли родился сын Никколо.

1476 — Начинает изучать латынь под руководством учителя Маттео.

1494 — Карл VIII, французский король, вступает в Италию. Режим Медичи во Флоренции сменяется савонаролианским.

1496 — Макиавелли посещает Рим по делам семьи (имущественная тяжба).

1498 — Казнь Савонаролы. Макиавелли избирается секретарем Второй канцелярии нового правительства, через месяц — секретарем Совета десяти.

1499 — Первые служебные поездки: к синьору Пьомбино и в Форли к Катарине Сфорца. В связи с осадой Пизы для Совета десяти написано рассуждение «О положении дел в Пизе».

1500 — Первое посольство во Францию.

1501 — Женитьба на Мариетте Корсини. «О природе галлов».

1502 — Две миссии к Чезаре Борджа (герцогу Валентино), расширявшему свои владения, угрожая Флоренции. Избрание Пьеро Содерини пожизненным гонфалоньером. «Обзор мероприятий Флорентийской республики по умиротворению партий в Пистойе».

1503 — Избрание папой кардинала Джулиано делла Ровере (Юлий II) и крушение Чезаре Борджа. «Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравины Орсини».

1504–1505 — Второе посольство во Францию. Поездки к синьорам Перуджи и Сиены. Поэма «Деченнале».

1506 — Макиавелли следует за свитой Юлия II; свои впечатления излагает в письме к Джованбаттисте Содерини, где впервые звучат мотивы «Государя» и «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия». Набор солдат для осады Пизы. Макиавелли назначен канцлером Комиссии девяти по организации ополчения.

1507 — После серии интриг, препятствовавших Макиавелли выступить в роли посланника к императору Максимилиану, он едет в Германию вместе с Франческо Веттори. «О положении дел в Германии».

1508 — Камбрейская лига Франции, папы, императора, Испании против Венеции.

1509 — Пиза сдается Флоренции.

1510 — Третье посольство во Францию. «О положении дел во Франции».

1511 — Священная лига папы, Испании, Венеции против Франции. Четвертая поездка Макиавелли во Францию и затем в Пизу, где собираются антипапски настроенные кардиналы для смягчения трений между папой и Францией.

1512 — Отступление французов, несмотря на их победу при Равенне. Испанцы захватывают Прато. Содерини вынужденно уходит в отставку. Возвращение к власти семейства Медичи. Макиавелли отстраняют от службы в Канцелярии и приговаривают к ссылке в пределах флорентийского контадо на один год.

1513–1514 — Обвинение Макиавелли в причастности к заговору против Медичи. Тюрьма и пытки. Освобождение по амнистии в связи с избранием папой Джованни Медичи (Лев X). Переписка с Франческо Веттори и обсуждение текущей политики. Попытки вернуться на службу. Начало работы над трактатом «Государь» и, возможно, над «Рассуждениями о первой декаде Тита Ливия».

1515–1517 — Макиавелли заканчивает работу над «Государем» и посвящает его Лоренцо Медичи. Никколо посещает сады Ручеллаи, где собираются флорентийские интеллектуалы. Работает над «Рассуждениями о первой декаде Тита Ливия», диалогами «О военном искусстве», поэмой «Золотой осел».

1518–1520 — Основные сочинения этих лет: комедия «Мандрагора», «Диалог о нашем языке», сказка «Черт, который женился» («Бельфагор»), «О военном искусстве», историческая биография «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки». Флорентийский университет, возглавляемый кардиналом Джулио Медичи, заказывает Макиавелли «Историю Флоренции».

1521 — Миссия Макиавелли к францисканцам в Карпи. Знакомство с Франческо Гвиччардини, губернатором Модены.

1522–1523 — Заговор против Медичи во Флоренции. Избрание папой Джулио Медичи (Климент VII).

1525 — Разгром и пленение Франциска I при Павии. Макиавелли выполняет отдельные поручения папы и Республики. Увлечение Макиавелли Барберой Салютати. Пьеса «Клиция».

1526 — Организация Коньякской лиги папы, Милана, Венеции и французского короля против императора Карла V. Макиавелли занимается фортификационными сооружениями Флоренции, затем отправляется посланцем республики в лагерь Лиги.

1527 — Взятие и разграбление Рима. Уход Медичи из Флоренции и восстановление демократического режима в

республике. Макиавелли баллотируется на свою прежнюю должность, но безуспешно. Кончина Никколо Макиавелли (22 июня).

БИБЛИОГРАФИЯ

Произведения Никколо Макиавелли

«Андрия»

«Государь» (пер. Ф. Затлера, Н. Курочкина, Г. Муравьевой, С. Роговина, М. Фельдштейна)

«Деченнали» (вторая поэма не завершена)

«Диалог о нашем языке»

«Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки» (пер., под ред. А. Дживелегова)

«Золотой осел» (пер. Е. Кассировой)

«История Флоренции» (пер. Н. Рыковой)

«Капитоли» (пер. Е. Солоновича, частично)

«Карнавальные песни» (пер. Е. Солоновича, частично)

«Клиция» (пер. Н. Томашевского)

«Легация к герцогу Валентино»

«Легация к Римскому двору» (пер., под ред. А. Дживелегова)

«Мандрагора» (пер. А. Амфитеатрова, А. Габричевского, А. Дживелегова, А. Островского, В. Равкинт, Н. Томашевского)

«Обзор мероприятий Флорентийской республики по умиротворению партий в Пистойе»

«Об учреждении ополчения»

«О военном искусстве» (рус. пер. 1939)

«Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравины Орсини» (рус. пер., под ред. А. Дживелегова)

«О положении дел в Германии»

«О положении дел в Пизе»

«О положении дел во Франции» (рус. пер. К. Чекалова)

«О природе галлов»

«О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикьяны» (пер. под ред. А. Дживелегова)

«Рассуждение об организации военных сил Флоренции» «Рассуждение о реформе государственного устройства Флоренции» «Рассуждение о флорентийских делах после смерти Лоренцо» «Рассуждения о германских событиях»

«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (пер. Н. Курочкина, Р. Хлодовского и С. Прокоповича, частично)

«Речь об изыскании денег»

«Увещание о покаянии»

«Устав общества увеселения»

«Черт, который женился» («Бельфагор») (пер. П. Арапова; под ред. А. Дживелегова)

Издания произведений Никколо Макиавелли

Макиавелли Н. Сочинения. М.; Л., 1934.

Макиавелли Н. Избранное. М., 1999.

Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982.

Макиавелли Н. Государь. М., 1990.

Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве. М., 1996.

Макиавелли Н. Избранные письма // Средние века. М., 1997. Вып. 60.

Макиавелли Н. История Флоренции. Л., 1973.

Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1987.

Макиавелли Н. Мандрагора. Л.; М.; 1958.

Макиавелли Н. Мандрагора // Комедии итальянского Возрождения. М., 1965.

Макиавелли Н. О военном искусстве. М., 1939.

Machiavelli N. Legazioni. Commissarie. Scritti di govemo // A cure di F. Chiappelli. 4 vol. Bari, 1971–1985.

Machiavelli N. Lettere // A cura di F. Gaeta. Milano, 1961.

Machiavelli N. Opere scelte. Roma, 1969.

Machiavelli N. Tutte le opete // A cura di M. Martelli. Firenze, 1971.

Литература о Никколо Макиавелли

Алексеев А. С. Макиавелли как политический мыслитель. М., 1880.

Амфитеатров А. В. Никколо Макиавелли // Собр. соч. СПб., 1914. Т. XXIX.

Андреев М., Хлодовский Р. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.

Баткин Д. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.

Буркхардт. Культура Италии в эпоху Возрождения. СПб., 1905–1906. В 2 т.

Бурлацкий Ф. М. Загадка и урок Никколо Макиавелли. М., 1977.

Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая

историография. М.; Л., 1964.

Виллари П. Никколо Макиавелли и его время. СПб., 1914.

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. М., 1978.

Дживелегов А. К. Никколо Макиавелли // Макиавелли Н. Соч. М.; Л., 1934.

Долгов К. Ренессанс и политическая философия Макиавелли // Новый мир. 1981. № 7–8.

Проблемы культуры итальянского Возрождения. М., 1979.

Рассел Б. История западной философии. М., 1959.

Рутенбург В. И. Жизнь и творчество Макиавелли // Н. Макиавелли. История Флоренции. Л., 1973.

*Рутенбург В. И.*Титаны Возрождения. СПб., 1991.

Санктис Ф. де. История итальянской литературы. М., 1964.

Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1957.

Хлодовский Р. Кризис в ренессансной Италии и гуманизм Макиавелли: трагедия «Государя» // Из истории социальных движений и общественной мысли. М., 1981.

Хлодовский Р. О Никколо Макиавелли, секретаре Флорентийской республики, гуманисте, историке, авторе комедий, а также поэте трагическом // Макиавелли Н. Избранное. М., 1999.

Шаркова И. С. «Анти-Макьявелли» Фридриха II и его русские переводы // Проблемы культуры итальянского Возрождения. Л., 1979.

Юсим М. А. Макиавелли в России: Мораль и политика на протяжении пяти столетий. М., 1998.

Юсим М. А. Этика Макиавелли. М., 1990.

Barberi-Squarotti G. La forma tragica del Principe e altri saggi sul Machiavelli. Firenze, 1966.

Baron H. Machiavelli: the republican citizen and the author of the Prince // English historical review. 1961. Vol. 72.

Chabod F. Scritti su Machiavelli. Torino, 1964.

Chaste! A. Le Sac de Rome, 1527. Paris, 1977.

Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini: Politics and history in XVI-th century Florence. Prinseton, 1965.

Cloulas I. Laurent le Magnifique. Paris, 1982.

Grazia S. de Machiavelli in hell. Prinseton, 1989.

Lefort C. Le travail de l'œuvre Machiavel. Paris, 1972.

Lemmonier H. Les Guerres d'ltalie. La France sous Charles VIII, Louis XII et Francois I (1492–1547). Paris, 1903.

Meinecke F. Die Idee der Staatsräzon in der neueren Geschichte. München-Berlin, 1924.

Najemi J. M. Between friends: Discourses of power and desire in the Machiavelli — Vettori letters of 1513–1515. Prinseton, 1993.

Ridolfi R. Vita di Niccolò Machiavelli. Firenze, 1978.

Russo L. Machiavelli. Bari, 1945.

Sasso G. Niccolo Machiavelli: storia del suo pensiero politico. Napoli, 1958.

Tommasini O. La vita e gli scritti di N. Machiavelli. Roma, 1883–1911. 2 vol.

Villari P. Niccolò Machiavelli e i suoi tempi. Milano, 1912–1914. 3 vol.

notes

Примечания

1

После смерти *(лат.)*.

2

Агора — у древних греков народное собрание, а также площадь, где оно происходило. (Прим. ред.).

3

Шары (*ит.*).

4

Пер. Н. Рыковой.

5

Подеста — глава исполнительной и судебной власти. (Прим. ред.).

Пер. А. Венедиктова и А. Габричевского.

Принципат — режим единоличной власти. (Прим. ред.).

8

Учебник основ латинского языка. (Прим. ред.).

9

«Озлобленными» (рассерженными, разгневанными) называли противников Савонаролы. (Прим. ред.).

10

Пополанами — от слова «пополо» (народ) — назывались полноправные горожане, отличавшие себя от знати (нобилей) и черни (плебеев). (Прим. ред.).

11

Интердикт — временный запрет совершать на территории, подвергшейся наказанию, богослужения и религиозные обряды. (Прим. ред.).

Бреве — послание папы по частным вопросам. (Прим. ред.).

13

Пер. Г. Муравьевой.

14

Светлейшая Мадонна *(лат.)*.

15

Швейцарцы — наемники из отрядов кондотьера. (Прим. ред.).

16

От лат. *nepos* (племянник) — покровительство папы своим родственникам. (Прим. ред.).

17

Пер. Г. Муравьевой.

18

Ораторы — официальные представители, правительственные эмиссары, редко — полномочные послы. — *Прим. авт.*

19

Пер. Г. Муравьевой.

20

Пер. Г. Муравьевой.

21

Анконская Марка — область Италии на берегу Адриатического моря, принадлежавшая к папским владениям. (Прим. ред.).

22

Пер. Г. Муравьевой.

Маркетри — мозаичная инкрустация по дереву. (Прим. ред.).

24

Пер. И. Кригеля.

25

Комедиант… трагик (*ит.*).

Стали врагами *(лат.)*.

Невольно *(лат.)*.

28

Пьеро Медичи был женат на Альфонсине Орсини, дочери Роберто, графа Браччано. (Прим. ред.).

29

Копье — военная единица, состоявшая из тяжеловооруженного всадника, оруженосца и одного — трех арбалетчиков. (Прим. ред.).

30

От ит. *seronissima* (светлейшая) — титул Венецианской республики. (Прим. ред.).

Макиавелли Н. Сочинения. М.; Л., 1934. С. 163.

32

Там же.

Макиавелли Н. Сочинения. М.; Л., 1934. С. 163.

Макиавелли Н. Сочинения. М.; Л., 1934. С. 180.

Макиавелли Н. Сочинения. М.; Л., 1934. С. 182.

Там же. С. 184.

37

Дон Микелотто — Мигель де Корелья, доверенное лицо герцога. (Прим. ред.).

В свою защиту *(лат.)*.

39

Или Цезарем, или никем *(лат.)*.

Пер. Г. Муравьевой.

Крестильня Сан-Джованни во Флоренции. (Прим. ред.).

42

Дражайший (ит.).

43

Задним числом *(лат.)*.

Протазан — копье с плоским и длинным металлическим наконечником. (Прим. ред.).

45

Пер. Н. Рыковой.

46

Древние римляне открывали храм Марса на время войны. (Прим. ред.).

47

Фердинанд II Арагонский, Фердинанд Католик (1452–1516) — король Арагона и Сицилии в 1479–1516 годах, Неаполитанского королевства с 1504 года. Первый король объединенной Испании. Был ярым католиком. (Прим. ред.).

48

Гонзага Франческо — маркиз Мантуанский; кондотьер на службе у Венеции, затем капитан Лиги в войне против Карла VIII, полководец на службе у Людовика XII, гонфалоньер при Юлии II. Двор Гонзага был одним из центров итальянского Возрождения. (Прим. ред.).

49

Пер. Р. Хлодовского.

50

Автор книги, к сожалению, остается в неведении относительно произведенной в 1972 году итальянскими историками передатировки письма Макиавелли к Д. Содерини с 1513 на 1506 год. Черновик этого письма, составленный именно в дни пребывания Макиавелли в Перудже, при Юлии II (и непосредственно упоминающий о нем), содержит, в конспективной форме, некоторые центральные мысли «Государя» и «Рассуждений…». Таким образом, противоречие между письмами Макиавелли к Синьории и его трактатами оказывается мнимым. (Прим. ред.).

51

Пер. Р. Хлодовского.

52

Пер. Р. Хлодовского.

53

Кастильоне Бальдассарре (1478–1529) — итальянский писатель. Автор трактата «Придворный», лирических стихов, поэм, элегий, эпиграмм на латинском языке. (Прим. ред.).

В конце концов *(лат.)*.

55

Борьба империи с римскими папами привела во второй половине XIII века к утрате ею Италии и усилению отдельных германских княжеств. (Прим. ред.).

56

По Золотой булле (законодательному акту империи) император избирался коллегией из семи князей-курфюрстов. (Прим. ред.).

57

Кардинал Франческо Содерини, брат гонфалоньера Пьеро Содерини. (Прим. ред.).

58

Сальвиати Аламанно — глава демократической оппозиции во Флоренции, которому Макиавелли посвятил «Деченнали». (Прим. ред.).

59

Балия — Комиссия десяти по вопросам свободы и мира. (Прим. ред.).

Пер. Г. Муравьевой.

61

Минерва — в римской мифологии богиня мудрости и войны; *Евтерпа* — одна из девяти муз. (Прим. ред.).

62

Банделло Маттео (ок. 1485–1561) — итальянский писатель, новеллист и поэт. (Прим. ред.).

Напрямую *(лат.)*.

Повод к войне *(лат.)*.

65

Церковная юрисдикция.

Пер. Г. Муравьевой.

Интердикт — временное запрещение отправлять богослужения и обряды на определенной территории. (Прим. ред.).

Своими глазами (лат.).

69

Цитата из «Рассуждения об организации военных сил Флоренции», написанного Макиавелли в 1506 году. (Прим. ред.).

70

Сюжет из Библии о покушении сирийского вельможи Гелиодора на сокровища иерусалимского храма. (Прим. ред.).

71

На основании опыта (лат.).

72

При разграблении Прато было убито около 5600 жителей. (Прим. ред.).

73

Пер. Е. Солоновича.

Пер. Г. Муравьевой.

Имеется в виду народное собрание. (Прим. ред.).

Пер. Р. Хлодовского.

77

Строцци — флорентийский род, к которому принадлежали могущественные банкиры и блестящие гуманисты, то вступавшие в союз с Медичи, то пребывавшие в оппозиции к ним. *Строцци Филиппо* — купец, политический деятель, гуманист, переводчик Полибия и Плутарха; был женат на внучке Лоренцо Великолепного; «депозитарий» Апостольской камеры; советник Климента VII; яростный защитник республики; участник революции 1527 года; позже примкнул к Алессандро Медичи; после неудачного вооруженного выступления против герцога Козимо был посажен в тюрьму, где покончил жизнь самоубийством. (Прим. ред.).

Деньги внесли, согласно опубликованным в 1972 году данным, Франческо Веттори и Филиппо и Джованни Макиавелли. (Прим. ред.).

79

По некоторым сведениям, в тюрьме Стинке. (Прим. ред.).

Однако *(лат.)*.

81

Карл I (1500–1558) — в 1516–1556 годах испанский король, из Габсбургов; в 1519–1555 годах — император Священной Римской империи Карл V. (Прим. ред.).

82

Ручеллаи — богатый и знаменитый флорентийский род; гуманисты и меценаты. (Прим. ред.).

83

Радуйся, гость *(лат.)*.

84

Это название дано произведению уже в посмертной публикации. (Прим. ред.).

85

Пер. Р. Хлодовского.

«О военных делах» *(лат.)*.

Имеется в виду «Мандрагора». (Прим. ред.).

88

Казнен был Луиджи ди Томмадо, брат поэта и друга Макиавелли — Луиджи ди Пьеро Аламанни. Последний вскоре вернулся во Флоренцию (а не закончил свои дни во Франции). (Прим. ред.).

89

Пер. Н. Томашевского.

Пер. Н. Томашевского.

Пер. Г. Муравьевой.

В своих собственных интересах *(лат.)*.

От ит. *trecento* — XIV век. (Прим. ред.).

От лат. *clemens* — милосердный. (Прим. ред.).

95

Бурбон Карл де — коннетабль; сын Жильбера де Монпансье; кузен Луизы Савойской благодаря женитьбе на Сюзанне де Божё; по линии матери племянник маркизов Мантуанских. Спор о наследстве восстановил его против Франциска I и заставил перейти на сторону императора Карла V. (Прим. ред.).

Верная подданная императора (*ит.*).

Пер. А. Дживелегова.

Последнее завещание Макиавелли было составлено 27 ноября 1522 года. (Прим. ред.).

99

Крупнейшее хранилище античных рукописей в Александрии Египетской сгорело в 47 году до н. э. во время мятежа против Юлия Цезаря. (Прим. ред.).

100

Район в Риме близ Ватикана, в котором расположен замок Святого Ангела. (Прим. ред.).

101

Предок рода Медичи. (Прим. ред.).

102

Пер. Н. Рыковой.

Могила, не содержащая погребения. (Прим. ред.).

Предполагается, что ряд схожих изображений Макиавелли, среди которых и портрет Санти ди Тито, восходят к его посмертной маске. (Прим. ред.).

105

Первое издание «Государя» вышло в 1532 году; выступления Реджиналда Пола, Джироламо Озорио и Амбраджо Полити относятся к 1540–1550 годам, когда был составлен и первый «Индекс запрещенных книг» (1559). (Прим. ред.).

106

Цит. по: *Lemmonier H.* Les Guerres d'ltalie. Paris, 1903.

107

Цит. по: *Lefort C.* Le Travail de l’oeuvre de Machiavel. Paris, 1972.

Отчаянные *(исп.)*.